

Р2

А79

Иван Арамилев

В ЛЕСАХ
УРАЛА

С

ИВАН АРАМИЛЕВ

В ЛЕСАХ
УРАЛА

ПОВЕСТЬ



Советский писатель
Москва - 1954

Повесть в 1941 году была напечатана в журнале «Новый мир», во время Отечественной войны и позже выходила отдельными изданиями под названием «Юность Матвея».

Для настоящего издания повесть переработана: расширен социальный фон, сокращен городской этап биографии героя. Этим обстоятельством и вызвана необходимость замены названия повести.

А В Т О Р



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

За деревню, в небольшой овражек, укрытый со всех сторон березняком, вывезли спутанного ремнями, в наморднике, трехгодовалого медведя. Зверь был пойман маленьким в тайге, воспитывался в конюшне дяди Нифонта для притравы собак. Его уже «травили» в прошлом году. Он был молод, не опасен, и потому после притравы опять очутился в конюшне.

Мы с двоюродным братом Колюнькой, сыном дяди Нифонта, носили медвежонку разные кости, требуху, вареную картошку.

— Здорово, Мишутка! — кричали мы. — Здравствуй, Михайло Иваныч!

Он мотал головой, протягивал сквозь дверную решетку лапу, встречал нас тихим, ласковым ворчаньем. Казалось, он пенял: «Что ж вы, ребята, редко ходите? Скучно без вас!»

Осмелев, мы забирались в конюшню, хотя это было строго запрещено, садились на Мишутку верхом, гладили по голове, чесали бока. Он был совсем не злой. Я даже целовал его в верхнюю губу между ноздрями. Мы подставляли ему щеки, чуть-чуть намазанные медом, и он, сладко чмокая, облизывал нас шершавым языком. Это был ужасный сластена: любил мед, сахар, леденцы, кедровые орехи, распаренную свеклу.

Накануне травли мы обсуждали, как избавить Мишутку от беды. Я хотел ночью открыть конюшню,

выпустить зверя: когда проснутся охотники, он будет далеко в тайге. Колюнька вскинул на меня испуганные глаза.

— Что ты! Что ты! Нас обоих... — он не договорил, но я хорошо понял: если сделаем, придется отвечать боками.

Мы задумались.

— Ну и шут с ним, пускай травят! — сказал Колюнька. — Он, ишь, какой лешачина вырос, в дверь не пролезет. Нам другого из лесу приведут, маленького. Тятка знает, где их брать.

Я не стал спорить. Было ясно: Колюнька хочет оправдать взрослых. Мишутка смотрел на нас так доверчиво, так дружелюбно, что у меня ныло сердце.

Нам, пожалуй, совсем не следовало ходить на травлю, — я понял это позднее. Но мы, конечно, не удержались. Очень уж хотелось посмотреть, как Мишутка начнет драться с собаками. Правда, мы надеялись еще на чудо: может, зверь отобьется от лаек, убежит в тайгу. По рассказам взрослых мы знали — такое бывает.

Утро было холодное. Сосны в зыбком тумане казались легкими, словно плыли по воздуху. Вишневое солнце вставало над притихшею, задумчивою землей. Роса сверкала на оголенных кустах. У лосей начинались свадебные песни. Где-то вдали, у каменных отрогов, одиноко и протяжно вздыхал сохатый: звал на бой соперников или потерянную в тайге подругу. Голос у сохатого был хриплый, сердитый.

— Ишь, зевает, бродяга! — сказал Колюнька. — Погоди, выпадет снег, охотники тебе покажут! Зевает и зевает: я, мол, никого не боюсь...

Невдалеке от оврага начиналась тайга. На опушке затаились охотники с молодыми собаками. Были тут заядлые промысловики Тарас Кожин и Никита Шорнев, старший брат моего отца дядя Нифонт, были и не охотники, пришедшие поглазеть на забаву. В толпе стоял староста Семен Потапыч Бородулин — тучный мужик с окладистой рыжей бородой. Он охотой не занимался, но скупал пушнину и всегда ходил на травлю, приглядывался к собакам. При случае Боро-

дулин покупал хороших лаек, возил их продавать в город.

Среди мужчин, охотников и собачников, выделялась Зинаида Филева — коренастая, широкоплечая девушка лет двадцати. Отец и мать ее умерли давно, она жила с бабкой Аленой в старенькой, накренившейся избенке. На сходках, если мужики пытались навязать ей городьбу общественного прясла или рытье канавы, Зинаида звонко и плаксиво кричала: «Я — сирота! Вам не стыдно утеснять сироту?»

Она слишком часто прикрывалась сиротством, и ей дали прозвище: «Сирота». Рябая, большеотая, с бельмом на левом глазу, Сирота была самой некрасивой девкой в Кочетах. На замужество ей надеяться не приходилось, она собственной грудью пробивала себе дорогу в жизни: пахала, сеяла, косила, рубила дрова, ни в чем не уступая мужикам. Зимой ловила в капканы горностаев, лисиц, добывала ружьем белок и куниц. В прошлом году она даже взяла медведя на берлоге. В промысле Сироте везло, иные мужики завидовали ей, бабы называли Зинаиду за злой язык «бельмастой кикиморой». Кочетовский остряк Симон Пудовкин объяснял удачу Зинаиды просто: любой зверь, увидев Сироту, заболевает медвежьей болезнью и не может двинуться с места — хоть живьем бери!

Сирота привела на травлю молодого кобелька Пирата.

...Развязанный Мишутка, словно не веря тому, что пустили на волю, вразвалку шел к лесу. Остановился, забавно фыркнул, потянул ноздрями воздух, попробовал сорвать намордник. Ремни крепки. Он понял это и тем же спокойным шагом двинулся дальше.

Травлей распоряжался мой дед Спиридон, первый охотник деревни. Он взмахнул рукою, и собаки, спущенные со свор, кинулись навстречу зверю.

Я стиснул зубы, сердце часто-часто колотилось в груди. Чем-то все кончится? Кто кого одолеет?

Впереди несся Серко дяди Нифонта, статный кобель, похожий на волка, за ним — наша Урма: они уже имели дела с медведями на берлогах во время зимних охот. Их пустили с молодыми, чтобы они показывали,

как «сажать» зверя, как вести себя в этой нелегкой охоте.

Мишутка увидел собак, остановился. Может, он прикидывал: стоит ли связываться с остервенелой оравой? Нельзя ли миновать схватки?

Собаки приближались. Мишутка отрывисто рявкнул, огромными скачками побежал по пригорку. Тяжелый, неуклюжий, он уходил с непостижимой быстротой. Серко догнал его, с ходу рванул за гачи, заставил повернуться. Урма наскочила сзади.

Молодые лайки тоже дружно навалились на зверя. Азартнее всех «брал» Мишутку наш Пестря, сын Урмы, хотя ему не было еще и года. Кличку «Пестря» кобельку дали за белые пятна, густо рассыпанные по серой рубашке. С первых недель Пестря отталкивал от корыта своих братьев и сестер, пожирал весь корм и этим покорила деда: старик оставил Пестрю на племя в надежде, что из обжоры выйдет толк.

И сегодня Пестря оправдал себя. Лобастый, широкогрудый, с могучими лапами и волчьими клыками, он почти не уступал в свирепости Серку и Урме. Хорошо работал и Пират Зинаиды Сироты.

Лыско дяди Нифонта и Тузик Тараса Кожина вертелись и тявкали поодаль, не решаясь кинуться в свалку.

Охотники подзадоривали собак. Робких подталкивали ногами, хворостинами.

Я не узнавал себя. Во мне проснулось что-то непонятное. Трудно было дышать от горячих толчков сердца. Мы с Колюнькой тоже металась на поляне, покрикивали: «Ату его! Бери, бери!» Весь я горел, охваченный охотничьим пылом, как молодые собаки, впервые наскочившие на крупного, теперь свирепого и беспощадного зверя.

Я видел, как наганивали собак на лося, как травили волка и рысь, но теперь потускнело все виденное раньше. Медведь был окружен. Собаки не давали ему тронуться с места. Он яростно рюхал, старался схватить назойливых, менее осторожных и ловких. Белая сучонка Муська не увернулась от удара когтистой лапы, рухнула с перешибленным хребтом. Жалостно

крякнул хозяин Муськи Никита Шорнев. Еще одна собака — с вырванным боком — уползла в сторону.

Медведь расшвырнул собак, опять побежал к тайге. Лайки хватали его за гачи. Он бойко повертывался, брызгал слюной, взмахивал лапами. Как подхваченные ветром, собаки прыгали в стороны.

Травля удалась. Дед подал команду «кончай». Дядя Нифонт вскинул ружье, выстрелил медведю в ухо. Зверь упал. Большое тело его вздрагивало, задние лапы скребли землю. Он еще пробовал подняться. Встал на передние лапы, выпрямил шею и опять повалился на бок.

Конец! Жаль Мишутку... Но меня радует, что все слушаются деда: он тут вроде начальника, высокий и важный, в новой пестрядинной рубашке, в меховой жилетке. Как всегда осенью, он без шапки. Волосы на голове у него взъерошены, ветер треплет черную седеющую бороду.

У меня одно желание: поскорее стать взрослым, сделаться первым охотником, вот так же ловко и властно, как дед, распоряжаться притравой, всеми командовать.

С гор подул ветер. Низкие дымные облака поползли над лесом. День потемнел, и краски на земле потухли.

Соседи спорили, чей пес работал хуже, чей лучше. Хвалили Серка, и дядя Нифонт добродушно улыбался:

— Ничего, собачка ухватистая. Худых в доме не держу.

Хвалили Урму, Пестрю, Пирата. Семен Потапыч Бородулин подошел к деду и сказал:

— Продай Пестрю, Спиридон Демьяныч. Пятерку дам.

Дед покосился на старосту, сухо ответил:

— Себе дороже стоит. Да и кобелек заветный: внуку предназначаю.

Он кивнул на меня.

— Ну, гляди, — значительно проговорил Бородулин. — Пять рублей — деньги хорошие.

Лайки облизывали голову медведя. Шерсть дыбом стояла у них на спинах и загривках, злобно горели глаза.

Покалеченных медведем прикололи рогагиной. Лыска и Тузика дед застрелил. Это было просто ужасно! Они — веселые, ласковые собачонки — доставляли нам с Колюнькой много радости.

Сжав кулаки, я подбежал к деду.

— У, какой ты! За что их так?

— Как за что? — умные карие глаза его смотрели пытливо и грустно. — Нешто из ублюдков прок выйдет? Хороши собачки — боятся подойти к медведю!

Он деловито продувал ружье, шутил с мужиками, словно ничего особенного не случилось. Меня же трясло от злости, от ненависти к деду. Колюнька держал Серка на поводке и плакал: он тоже, как я, жалел Тузика и Лыска.

Все во мне перевернулось. Я теперь не завидовал деду, не хотел быть, как он, первым охотником. Каждый год придется самому казнить трусоватых собак. Нет, бог с ним, с почетом. Провались она, слава охотника!

И я не понимал деда. Казалось, до сегодняшнего дня он был другим. У него тяжелая фузея кустарной работы. Соседи, экономя припасы, покупают легкие ружья, при охоте на мелкого зверя и птицу кладут крохотные заряды. Дед насыпает дробь и порох горстями.

— Как пальну, душа возрадуется, — смеется он, поглаживая граненый ствол фузеи.

Мужики, услышав его выстрел в лесу, говорят:

— Спиридон кого-то жарехнул.

Зимой старик подкармливал на гумне голодных серых куропаток и отпускал на волю. Соседи высмеивали причуды старика, говорили, что он выжил из ума. Я не верил. Нежадный и мудрый, дед казался мне лесным владыкой.

Осенью я ходил с ним в окрестных угодьях.

Фузея сильно отдавала. Правое плечо у деда всегда было в багрово-синих кровоподтеках, на щеке и на шее — темные подпалины от прорыва газов в казенник.

Старик почти не знал промахов. Поднимается из папоротника глухарь — дед нацелится, спустит курок.

Выстрела нет, глухарь бьет могучим крылом над лесом, дедушкин ствол передвигается за ним. Птица ушла далеко — не достать. Наконец гремит выстрел, и глухарь падает.

— От меня не уйдешь, божья тварь! — бормочет довольный старик, а я вприпрыжку бегу поднимать добычу.

Дед не гонял по насту лосей, потому что считал такую охоту злодейством, не стрелял маток глухаря и тетерева, хотя соседи не давали спуска ни одной птице.

Однажды мы шли по лесу. Я невзначай наступил на муравьиную тропу, придавил ползавших по ней муравьев. Как возмутился дед!

— Ты слепой или что? — закричал он. — Гляди под ноги! Зачем топтать мурашей? Всякая тварь жить любит.

Я вспомнил это и думал: «Мурашей жалеет, собак застрелил! Да что же он за человек?»

Дядя Нифонт снимал с медведя шкуру. Дед помогал ему. Мы с Колюнькой пошли домой. Я шагал как в тумане. Все кругом стало чужое, непонятное: и земля и люди, голоса которых звучали на поляне за моей спиной. Я ненавидел колючую траву под ногами, серые облака над лесом и солнечный блеск в пойме реки. Никогда еще горе не хватало так за сердце. Что же со мной происходило? То, наверно, кончилось милое невозвратное детство и наступила преждевременная юность.

Бабушка — невысокая, худенькая, круглолицая, всегда хлопотливая и добрая старушка — встретила меня у крыльца.

— Что, Матвеюшко, невесел? — спросила она. — Обидел кто?

Я рассказал все и не мог сдержаться: слезы хлынули из глаз.

— Ну, не плачь, — утешала бабушка, вытирая фартуком мои щеки. — Я деда отчитаю. Ишь, разошелся, злыдень! Выпей-ко молочка да послушай: бы-вальщины сказывать стану.

Она дала мне кружку парного молока, села на

лавку, сощурилась, будто вспоминая что-то, тряхнула седеющей головой.

— Я ведь не здесь родилась, — голос ее звучал удивительно мягко и нежно, — дед привез меня с Белых Ключей. Там народ на золоте помешанный. Есть землепашцы, рыбаки, охотники, а больше металлом промышляют. Ну, он редко дается кому, металл. Потому все в Белых Ключах — голь перекатная. Грибом да ягодой круглый год питаются. Дед как-то шатался с ружьем, забрел к нам отдохнуть. Молодой, красивый собою, могучий, усмешливый. Девки с него глаз не сводят, а он все ко мне льнет. Приглянулась я ему. Поговорили о том, о сем. С того дня зачастил, потом сватать стал. «Поедем, говорит, Наталья Денисовна, в Кочеты — в соболях будешь ходить».

Она вздохнула.

— Вот и улестил, греховодник. Девку долго ли уговорить? Родители благословили, улетела я, как птаха, из одного урмана в другой. В девках всяких страстей нагляделась. Иду как-то по ягоды. Далеко в раменье забралась. Вдруг, откуда ни возьмись, белый волк. Большущий-пребольшущий! С быка, чать, ростом. Я лукошко с брусникой выронила. Он стоит, смотрит. Пасть открыл. Зубы — как долота! Из ушей дым столбом.

Я вздрагиваю. Бабушка улыбается.

— Не пугайся, — говорит она. — Другая на моем месте пропала бы, а я смышленная была: меня бог спас. Подняла еловую шишку, сотворила молитву, швырнула в него. Шишка ему в лоб стукнула. Он заплясал, заплясал, потом лег на брюхо, на глазах стал худеть и худеть. Гляжу — батюшки! Человеком обернулся! Но на башке рога, хвост длиннющий. Воззрился и шипит: «Не на ту, видать, напал». И вмиг скрылся в можжевельнике. А в лесу загудело, будто ветер низом прошел. Подхватила я лукошко — и домой!

— Страшно было?

— Да ничего, — усмехнулась она лукаво. — А то еще случай был. Заплутала осенью в тайге. Дело к вечеру. Неужто, думаю, в лесу ночевать доведется?

У меня, как на грех, даже спичек с собой нет, костерок развести нельзя. Без огня же какое спанье? Звери заедят ночью. Повстречался тут старик. Толстый, высокий, борода белая. На святого угодника похож. «Пойдем, говорит, деваха, на тропу выведу». Обрадовалась я живому человеку, иду вслед. Молчим оба. Завел в такую гущеру, где и звери не ходят. Екнуло мое сердце-вещун. Я возьми да и перекрести ему спину. Он заверещал, как поросенок, обернулся барсуком — и наутек. Я из тех мест едва выбралась.

— Кто же это был?

Она отвернулась к окну.

— Известно кто... Он «сам» и был.

Бабушка увлеклась прошлым, рассказывает один случай страшнее другого. Лес, по ее словам, кишит нечистой силой. Человеку в тайге шагу нельзя ступить без молитвы. Но я знаю, что дед ходит по самым глухим, диким местам, и никто его не трогает. Как же так?

Мать крикнула что-то в огороде. Бабушка спохватилась, зашептала скороговоркой:

— Ложись-ко, дитенок, сосни маленько. Пойду картошку рыть. Мать зовет на помощь.

Я залез на полати, накрылся одеялом и вскоре уснул. Снились тяжелые сны: белый волк пожирал Тузика и Лыска. Я хотел ударить волка хворостиной, а она как железный лом — не поднимешь. Просыпался от собственного крика и вновь засыпал.

Вечером мать разбудила меня, позвала ужинать. За столом сидел дед, ненависть к нему опять ожгла мое сердце, и я отказался от еды.

— Иди, иди, чудачок, — приглашала бабушка. — Медвежий окорок поджарили. Пальцы оближешь!

— Не пойду! — упрямо сказал я.

Дед поднялся на полати. Дружески улыбнулся, как равный равному.

— Что? Все еще сердишься? Нехорошо, брат.

Я молчал.

— Экой глупыш! — сказал дед. — Думаешь, легко стрелять собаку? А как быть? Начнем жалеть, так жалость шибко отольется. Наши лайки по всему

Уралу славятся. Зверя берут, боровую дичь подлаивают, уток с воды подают, стада от волков охраняют, зимою в упряжке ходят. Безотказные собачки! А почему? Сотни годов блюдем породу в чистоте: истребляем слабых, бесчутых, смирных, вислоухих. Ты думал об этом?

— Не буду охотником! — сказал я сердито. — Не буду и не буду!

Дед вздохнул, нахмурился. О чем он думал? Может, вспоминал свои детские годы, когда ему тоже надо было привыкать к тому, что приходится делать человеку в таежных краях...

— Не спеши зарок давать, — тихо проговорил он. — Там видно будет.

— Не хочу! — голос мой дрогнул.

Он покачал головой.

— Твое дело. Разве кто неволит? Сажай на усадьбе капусту, морковь, свеклу. Тоже ремесло. Бабьим помощником будешь. Или нанимайся в батраки к Зинаиде Сироте... Охотой другие займутся.

Он взял меня на руки, спустил с полатей, усадил за стол. Я проголодался, но медвежатина не шла в горло: это был окорок Мишутки, которого мы с Колюнькой любили не меньше, чем наших собак... Я жевал горячую картошку и думал мучительно, кем же быть: огородником или охотником?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я вырубал кустарник на запущенной кулиге. Дед собирался будущей весной вспахать это поле и засеять льном. Подошел дядя Ларион, поздоровался со мной, сел на межу возле порубленных осинок и косматого тальника.

Дяде было под сорок. Он, как дядя Нифонт, после женитьбы выделился из нашего хозяйства, жил своим домом. Большая лысина красовалась на его круглой, как арбуз, голове, лицо тоже было круглое, плутоватое, глаза быстрые, темнокарие, с горячим блеском.

Ларион закурил трубку с длинным изогнутым

чубуком и серебряной крышкой. В крышке были крохотные дырки, дым струился из них мутносиними ниточками, как сквозь сито. Кочетовские табачники, обладатели самодельных трубок из корня березы, завидовали дяде. Ларион хвастал, что трубка обкурена знатным генералом, кавалером орденов. Генерал будто бы помер, генеральша обеднела, начала продавать мужнино добро, вынесла на базар и диковинную трубку; тут-то ее и купил за десять фунтов топленого масла дядя Ларион.

Вот такая это была трубка!

Ларион молча курил, наблюдал за моей работой, потягивался на меже, как сытый кот, пригретый солнышком. Я подсел к нему передохнуть.

— Зряшное дело, Матвей, — сказал дядя. — Впустую маешься.

— Как зряшное? — возразил я. — Они ж, кусты, глушат посевы, дай только силу набрать — пахать негде будет.

— Суета сует! — убежденно сказал дядя. — Земля тощая, от нее проку мало. Роем песок да глину, едим одну мякину. Тут — сколь ни гни спину — не разбогатеешь. Давно это мужикам объясняю, да нешто толкуешь? Темнота кочетовская! Все на что-то надеются.

Я сказал, что разбогатеть, пожалуй, нельзя, но кормиться кое-как можно. Только ухаживай за полями: поработаешь, будет хлеб.

— Хлеб! — воскликнул дядя. — Что такое хлеб? В хлебе ли счастье?

Я не знал, в чем счастье, и смутился. Спорить с Ларионом было невозможно, — он забивал словами на сходке всех мужиков. Где уж мне-то переспорить его!

— Слушай, племянник, что скажу, — начал дядя, — поступай ко мне на службу письмоводителем. Большущее дело задумал, тысячами пахнет! Один замотаюсь. Бумаги придется посылать туда-сюда, то в Варшаву, то в Санкт-Петербург, а пишу я, что курица лапой. Учитель сказывал, ты пером строчишь, как по-печатному. Мне такого и надо помощника. Да и в город одному ездить нельзя. Прошлую зиму что

устроили со мной на постоялом дворе? Дал мерину овса, пошел на базар. Прихожу — лошадь обкорнали: хвост отрезан, нет ни шлеи, ни седелки. Жулья там — пруд пруди! Ладно, что хомут оставили, а то б домой не доехал.

Он принялся доказывать, как хорошо будет служить у него. Станем всюду ездить вдвоем, весною махнем на пароходе в Нижний Новгород.

— Всю коммерцию преподам, — обещал дядя. — Потрешься возле меня годок-два, в люди выйдешь. Тебе скоро исполнится пятнадцать лет, — пора на стезю становиться. А в земле ковыряются только глупые охломоны. С дедом за векшами по лесу ходить — тоже не мед! Для начала положу рубля три в месяц, на моих, понятно, харчах. Раздуем кадило — прибавлю.

Я молчал. Все это было заманчиво. Но дядя Ларион слыл человеком легкого, непонятного ума. Одни ему завидовали, другие потешались над ним. Он любил пофрантить, брил бороду, колечками подкручивал пышные смоляные усы, ходил на молодежные вечерки, любезничал с девками, вдовушками и тароватыми солдатками. Девки сторонились Лариона, обзывали старым хреном, лысым козлом, парни из ревности порой били его, и он же сам устраивал «мировую», поил всех водкой, угощал орехами, пряниками.

Иногда ночью на улице с песнями бродили загулявшие парни, надрывалась гармонь, и среди молодых, неокрепших голосов явственно выделялся густой, бабовитый голос дяди Лариона:

По деревне мы идем,
Не сердитесь, тетушки!
Дочерей ваших мы любим,
Спите без заботушки.

Бабушка подходила к окну, кричала во тьму:
— Не стыдно, Ларион, с холостяками глотку драть? У тебя уж дети большие. Нализался опять, чадо мое полоумное!

Гармонь смолкала.

— Ничего, мамаша! — доносилось из тьмы. —

Однаво живем, бог веселых любит. Иисус Христос на свадьбе до того разгулялся — воду обратил в вино, чтоб людям было веселее.

Парни ржали от шутки Лариона. Гармонь с придыхом наяривала «страданье», пьяная ватага шла дальше. Бабушка крестилась на образа.

— Царица небесная, вразуми сына моего Лариона и не дай погибнуть ему в беспутстве. Поверни его, владычица милосердная, на стезю праведную!

Дед посмеивался.

— Зря молишься, старуха, Ларион от бога давно откачулся, надо черта просить.

Бабушка сердилась.

— Что ты зубоскалишь? Он кто? Оба мы виноваты, что такого на свет произвели.

— Я всегда в лесу нахожусь, при своем деле, — отвечал дед. — Ты воспитывала сынов, тебе и отвечать.

— Я всех воспитывала одинаково, — спорила бабушка. — Нифонт вон какой мужик — степенный, хозяйственный, пьет в меру. А Ларион с Алексеем, не знаю, в кого уродились...

Дядя не пахал, не сеял, даже дров не готовил для своей избы. Всю мужскую работу по хозяйству вела тетка Палага. Она же сама поднимала и растила детей, к которым дядя был вполне равнодушен и словно не замечал их, как что-то постороннее и чужое в доме, появившееся без ведома хозяина. Тетка никогда не жаловалась на мужа, не судачила с бабами. Некрасивая, рано постаревшая, ловкая в труде, она любила дядю Лариона такой любовью, которая все забывает, все прощает: и мотовство, и волокитство, и сумасбродство, и лень в работе. Если кто смеялся над причудами дяди, Палага так яростно вступала в перебранку с обидчиком, что тот сразу прикусывал язык.

— Мой-то ненаглядный опять в город подался, — говорила она, заходя порою к нам в избу, и такая ласковая нежность слышалась в ее грубоватом голосе. — Уж так-то скучаю без него, так скучаю...

— Мой ненаглядный что-то занедужил, я прямо-

таки сама не своя. Вдруг помрет, — утешеньишко мое, как жить буду?

И это было просто удивительно. Ведь все же знали в Кочетах, что без Лариона Палаге жилось бы куда лучше!

Ларион был горазд на выдумки. Зимой рыскал по лесу, находил медвежью берлогу, делал затеси на деревьях вокруг логова, мчался в город, на «корню» продавал непойманного зверя. Приезжали охотники в расшитых оленьих малицах, с дорогими ружьями, револьверами и кинжалами на поясе. Ларион вел их в лес. За ним шли мужики с лестницами. Горожане, боясь медведя, взбирались по лестницам на деревья, садились где-нибудь в развилку или на толстый сук, оттуда стреляли. Чаще всего медведь убежал, и охотники уезжали без добычи. Они, наверно, довольны были и тем, что видели зверя, поугали его огнем из дустволок, шестизарядных бульдогов и смит-вессонов. Дядя Ларион получал щедрую мзду.

Дед никогда не участвовал в облавах с дядей Ларионом, потому что видел в этом баловство и безобразие, оскорбительное для настоящего лесовика.

— Хорош, сынок, — смеялся дед над Ларионом. — Одного медведя продаешь пять раз. Ничего не скажу — купец!

— А что? — горячился дядя. — Надо умом жить. Ты сразишь медведя, отдашь шкуру за десятку, и все. Мне за берлогу четвертную кладут, угощение — само собой, подарки да чаевые. Я в прибыли, и лес не в накладе: зверь убежал из берлоги без единой царапины!

— Медведей портите, — ворчал дед. — Зверь должен уважать охотника, трепетать перед ним. А к тебе ездят разные ахалы да пукалы, внушают медведю, что человек не страшен и ружье ничего не стоит. Этак медведи от рук отобьются, на человека ж кидаться начнут! Охотника из тебя не выйдет: брось шашни да примись за пашню.

— Мудруешь, тятенька, — бойко отвечал дядя Ларион. — Не всяк пашет, кто хлеб ест. Я проживу получше других.

Зайчатину есть почиталось у нас грехом, а кержаки даже медвежьего мяса в рот не брали. Заячья шкурка дешева, и настоящие охотники не промышляли ни русака, ни беляка. Дед называл зайца несамостоятельным зверем. Только мальчишки — от нечего делать — ловили русака в петли на капустных огородах, у стогов и кладей. Обидное невнимание человека было зайцу на пользу, он плодился и множился без помех.

Дядя Ларион вздумал поживиться и на зайцах. Осенью поехал в город, наговорил там, что зайчишек в Кочетах страшная сила, чуть что не миллион, соблазнил и привез охотников-богачей.

Нас, мальчишек, наняли в загонщики. Ларион ставил стрелков на опушках перелесков, на просеках или дорогах, подавал команду. Мы заходили в лес, колодили палками по ведрам, печным заслонкам, крутили деревянные трещотки, свистели, орали во всю мочь. Поднятые гамом зайцы выбегали на охотников. Лопухих полегло от выстрелов мало, но много было веселья, шумных возгласов. Облава запомнилась надолго, и дядя Ларион, кажется, порядочно заработал.

Ларион умел добывать деньги и почему-то всегда нуждался. Он ловко выигрывал на одном, тотчас прогорал на другом. Пытался наладить маслодельно-сыроваренный заводик и обогатиться — прогорел. Создал «бабью кооперацию» по заготовке клюквы, малины, брусники, морошки, грибов и дикого меда — прогорел. Каждый год его «осеяло» что-нибудь большое, пахнущее тысячами, но, поманив, ускользало из-под носа. То он становился агентом по продаже швейных машин известной компании Зингера, то навязывал мужикам в кредит американские жатки «Осборн-Колумбия», то брался гнать деготь, изготавливать какую-то особенную смолу, делать пихтовый клей.

Невозможно и припомнить все затеи Лариона. Как-то ухитрился он продать городскому подрядчику залежи мрамора на реке Полуденной, взял задаток. Сделка не состоялась, потому что земля — собственность графа Строганова, и Лариона чуть-чуть не упрятали в острог.

Любого человека эти неудачи могли свалить в гроб,

а дядя не унывал, верил в лучшие времена и постоянно, как он сам говорил, «осеялся затеями». У него был дар заражать своим затеями людей, тащить за собою старых и малых, и редко удавалось кому выстоять против сумасброда.

Он завел кожаный портфель с застешками, хранил в нем старые газеты, настольные календари, какие-то бумаги, письма из города, и его видали с портфелем даже в церкви.

— Что ж ты сумку не оставил дома? — насмешливо спрашивали соседи.

— Как это можно? — отвечал он. — А вдруг изба загорится? Портфель погибнет, и я пропал.

Летом по воскресеньям он выходил на улицу и появлялся на базаре в шляпе-котелке, козловых сапожках, шелковой рубаше, с часами в жилетном кармане.

«Ненаглядный» тетки Палаги ставил себя высоко, хотел чем-нибудь выделяться. В деревне все только ахнули, когда он съездил в город и надел на здоровый передний зуб золотую коронку.

— Теперь это модно, — говорил, поблескивая коронкой. — Все господа носят коронки. К такому человеку больше уважения и доверия в коммерческом деле.

В разговоре смешно оттопыривал нижнюю губу, чтоб показать людям красновато-золотистую коронку. Мужиков дядя называл охломонами, низшей расой. Его пытали, что значат эти неизвестные в деревне слова. Он язвительно усмехался.

— Вам не дано понять.

Любил он выпить, особенно даровой стаканчик. Без него в волости не обходились ни свадьбы, ни похороны, ни крестины. Являлся незваный, всех подкупал своим языком, и его радушно приглашали к столу, как гостя, без которого праздник не праздник.

И вот этот человек стоял передо мною, звал на службу. Как не задуматься!

Три рубля в месяц деньги небольшие, да ведь служба-то какая! Одни поездки в город, где я ни разу не был, чего стоят! Буду встречаться с разными людь-

ми, много увижу, услышу. И должность хороша: писмоводитель.

Я сказал дяде, что подумаю.

— Не мешкай долго, — предупредил он. — А то Колюньку Нифонтова прилажу, он малый шустрый, тебе ни в чем не уступит.

Когда я пришел домой, наши обедали. За столом сидел дядя Нифонт. Он завернул к нам отведать убитого на травле Мишутку.

Я подсел к столу и сказал:

— Последний раз обедаю дома.

— Вон как, — усмехнулся Нифонт. — В солдаты, что ли, берут?

— Буду служить у дяди Лариона писмоводителем, — три целковых в месяц на хозяйском харче.

Все переглянулись.

— Что ж, с богом! — сказала мать. — Только надо рядиться, чтоб он жалованье вперед платил, и я сама буду получать: у него денег-то страсть, да некуда класть.

— К прощельге на службу? — бабушка всплеснула руками, и такое негодование было в ее голосе, что я сразу поник головой. — Нашел хозяина, обучит из пустого в порожнее переливать.

— Нет, Ларион мужик справный, — насмешливо сказал дед. — Только для работы дня не выберет. У него: понедельник—похмельник, вторник—задорник, среда—перелом, четверг—оглядник, пятница—ябедница, суббота—потягота, воскресенье — недели поминовенье. Понятно уж, ему писмоводитель требуется.

Все засмеялись, стали меня вышучивать, особенно старался дядя Нифонт.

— Откажусь — он Колюньку возьмет, — сказал я, чтоб защититься от насмешек и досадить Нифонту.

— Моего Кольку? — вскипел дядя. — Пусть только придет смущать парня. Пусть покажется, ненаглядный черт, утешеньишко Палагино!

Долго еще перемывали косточки Лариона, и я не рад был, что затеял разговор.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я отправился к учителю Всеволоду Евгеньевичу Никольскому. Он не кривил душою, и я верил ему больше, чем своим. Пусть он скажет, стоит ли связываться с дядей Ларионом.

Земство арендовало под школу новую пятистенку старосты Семена Потапыча Бородулина. Староста — жадный на деньги — переселился с женою, сыном Павелком и батрачкой Секлетеей, по прозвищу Коровья смерть, в старый, кособокий двухэтажный дом.

В большой половине пятистенки был класс, в малой половине жил учитель — худощавый, сгорбленный, сидящий человек с добрыми глазами. Семьи у него не было. Он в шутку называл себя то Дон Кихотом (книгу о забавных приключениях рыцаря Дон Кихота он прочел нам вслух зимними вечерами), то запоздалым, выдохшимся народником, который остановился на развилке дорог, не знает, куда идти: направо или налево.

Когда-то, давным-давно, выслали его из Москвы на пять лет в Якутию. В Кочетах морозами, снегами да метелями тоже не бедствовали, но Всеволод Евгеньевич говорил, что якутская стужа куда злее уральской. Жена добровольно поехала за ним в ссылку, простудилась там, заболела и умерла. По окончании ссылки ему разрешили поселиться на Урале, и так вот очутился он в наших краях. Сперва учительствовал в Ивановке. Открылась школа в Кочетах — перевелся к нам, огляделся и сказал:

— Место дивное, последняя пристань моя, здесь и помирать буду.

Добрый, тихий, спокойный всегда и во всем, он любил детей. Мы тоже любили его. Правда, на первом уроке учитель напугал всех. Он сказал:

— Кое-кто из вас — я слышал вчера — на улице поет срамные частушки. Давайте кончим с этим. Хулиганов не пуцу на порог школы!

В первом классе были парни пятнадцати лет (в год открытия школы принимали перестарков), слова учи-

теля относились к ним, но и малыши притихли, потому что это немножко касалось всех.

Затем учитель сказал, что мы не знаем русского языка. Класс ахнул от удивления и обиды. Это мы да не знаем!

— Не знаете! — подтвердил он. — Говорите на местном жаргоне, я же буду учить вас языку всероссийскому.

Оказалось: вместо чё надо говорить — что, вместо лопотина — одежда, вместо робил — работал, вместо колды — когда, вместо надысь — недавно, вместо пошто — зачем или почему. Он привел еще множество слов, к которым привыкли мы с детства, и все это были захолустные, не настоящие слова, нам запрещалось их произносить. Мы опешили. Как теперь быть? Надо не только одолевать письмо и чтение, но еще заново изучать разговорный русский язык. Вот задача! Все — малыши и переростки — чувствовали себя несчастными.

— Я знаю, — сказал учитель, — не легко отвыкать от жаргона, он въелся в плоть и кровь, им наполнены песни, частушки. Ведь здесь поют:

Паря, чё да, паря, чё?
Паря, сердисься ли чё?
Или люди чё сказали,
Или сам заметил чё?

Он пропел частушку вполголоса, с большим мастерством. Уральское «чё» выходило как «цё». Мы засмеялись. Он пропел еще:

Ты пошто меня не любишь?
Пошто я тебя люблю?
Ты пошто же меня губишь,
И пошто я все терплю?

Наше и не наше! Знакомое «пошто» в его передаче стало уродливым, неуклюжим, вызвало настоящий хохот в классе.

Первый урок прошел незаметно и весело.

На Урале исстари окают. Мы произносили слова,

как они пишутся: корова, пошел, молодой, вода. Учитель отметил, что произношение наше ужасно, заставил акать по-московски и петербургски: карова, пашел, моладой, вада. Мы подхватили аканье столь ретиво, что начали акать, где не надо, и звук «о» стал почти исчезать в нашей речи. Мы изо всех сил нажимали на «а»: маладая, халастой, палавик, балатинка. Учитель, смеясь, поправлял нас, говорил об ударных и неударных слогах, о законах и правилах ударения.

Как трудно было это запомнить!

Мы акали на улице, дома, в избах, приводили в смятение родных. В кержацких семьях открыто роптали:

— Табашник обучает детей никонианскому языку. Чем наш говор плох? Деды-прадеды говорили «корова», а теперь, вишь, «карова»!

Учитель, однако, не уступал, ропот постепенно затих, кержаки смирились.

У Всеволода Евгеньевича была чахотка и еще какая-то хворь с непонятым названием. Порою он задыхался от кашля, два-три дня не вставал с постели. Мы топили ему печь, подметали пол, стирали пыль на подоконниках, приносили кто что мог: картошку, яйца, хлеб, молоко, творог; в сезон охоты — рябчиков, уток, тетерок, глухарей, добытых отцами, дедами, старшими братьями. По ночам дежурили у больного, подавали лекарства, кипятили самовар, чтоб напоить его чаем с малиной, наполнить кипятком грелки, которые он прикладывал к ногам. Даже ставили на грудь и на спину банки, — этому научил нас ивановский фельдшер Нил Михайлович, добрейший старик, пьянчуга.

Заботы трогали учителя.

— Славный вы народ, милые мои! — говорил он. — Ах, какие молодцы! А подрастете — не узнаешь. Будете пьянствовать, сквернословить, бить смертным боем жен, детей своих... Даже девушки вот... Пока лента в косе, веет от них чистотой, поэзией, красотой молодости: любишь, как на дивные цветы земли, ждешь чего-то необыкновенного, хочется верить в чудо. А выйдут замуж — вянет душа, опускаются, грубеют, становятся сварливы, истеричны, ходят в трапезном виде, в голове насекомые, под ногтями ве-

ковая грязь. Боже, как это ужасно! Среда всех заедает и вас тоже заест...

Мы знали, что среда — один из постных дней недели, и нельзя было понять, как она всех «заест». Однако класс дружно ответил:

— Не заест, Всеволод Евгеньевич! Не поддадимся! Лицо его стало серьезным и строгим.

— Дети, поклянитесь, что каждый из вас будет человеком.

Мы — два десятка мальчиков и девочек — поднялись с парт, хором ответили:

— Клянусь быть человеком!

Всеволод Евгеньевич вытер платком глаза и целый урок объяснял, что значит быть человеком. Какой это был урок! Мы сидели не шелохнувшись, боясь дохнуть, пропустить слово. В тот день выходили из школы притихшие, не толкались и даже не кидали снежки.

— Буду человеком! — шептал я, и так светло, радостно было на душе, словно поднялся на высокую гору, оглянулся кругом, увидел что-то скрытое дотоле от взора, и вот замерло сердце: хорошо!

Раньше мы обращались друг к другу запросто: «Эй, ты, поди сюда!» или Сенька, подь сюда!» С того дня стали говорить: «Эй, человек, подойди, пожалуйста, сюда!» — и весело смеялись.

Если кто-нибудь из драчунов нападал на слабенького или обижал девчонку, осуждающе кричали: «Человек, что делаешь? Опомнись!» И забияка, виновато моргая, опускал руки.

Как все дети, мы были жестоки к животным и птицам. Весной разоряли гнезда галок, ворон, домашних голубей. Желторотых галчат, не способных еще летать, усаживали на крыше, пускали в них стрелы из лука, бросали камнями. Старые галки носились в воздухе, орали истошно, пытались даже клевать нас тупыми, ничуть не страшными клювами.

Всеволод Евгеньевич пресек эти забавы.

— Человек убивает в лесу глухаря, чтоб приготовить жаркое к обеду, — тому есть оправдание, — говорил он. — А зачем вы терзаете галчат и воронят? В

чем смысл? Где оправдание злодейства? Жестокие дикари — вот вы кто!

Он много рассказывал о жизни птиц, и мы узнали, что даже вредные, по нашим деревенским понятиям, птицы бывают чем-то полезны человеку, — без них природа осиротеет, станет беднее.

Однажды Павелко Бородулин, сын старосты, самый озорной мальчишка в деревне, начал стрелять из рогатки молодых скворцов. Теперь-то мы знали, что это дурно, и пытались остановить Павелку могучим словом «человек». Он отмахнулся.

— Ну вас... Человек, человек! Надоело, как горький хрен! Что хочу, то и буду делать.

— Ах, так! — воскликнули мы и ринулись на него скопом.

Павелко был опрокинут на лопатки. Его нещадно тузили со всех сторон, приговаривали:

— Будь человеком! Будь человеком! Будешь человеком или нет?

Он скоро сдался.

— Ладно, ребята! Я ж пошутил, пустите.

Он сломал рогатку, потер намятые бока.

— Черти этакие! Силком в рай тянете! А я, может, грешником хочу быть. Тогда как?

— Не смей! — твердо сказали мы. — Человеком будь!

Учитель узнал об этом, перед уроком похвалил нас, но то, что мы делали с Павелком, назвал непедагогичным приемом и добавил строго:

— Кулаками воспитывать нельзя!

Он был, наверно, прав. Мы же не знали других «приемов», чтоб образумить товарища, и большой вины за собой не чувствовали. Все же Павелко перестал баловать: значит, не так-то плох был наш прием.

Мысль о том, каким должен быть человек, всегда занимала учителя, и он часто возвращался к ней. Ему хотелось, чтоб мы вышли из школы с твердым понятием о правах и обязанностях человека на земле.

Помню, он прочел нам страшный рассказ об умирающем богаче. Перед смертью старик миллионщик позвал ближних и дальних родственников. Радостные,

они сбежались к нему: думали — поделит наследство, никого не обидит. Сидят в столовой, ждут. Кто-то говорит, что старик посылал в банк обменять золото на бумажные деньги для того, чтоб «нам легче нести», и все хвалят богача: какой добрый!

А тем временем старик затопил в спальне камин, бросил на горящие поленья банковые билеты, плеснул из лампы керосину, чтоб веселей пылали, открыл дверь и сказал родственникам: «Пожалуйте, господа!»

Наследники остолбенели от обиды, от злости. А старик ворочал клюкой в камине и хохотал. Он был доволен!

— Хорош человек? — спросил учитель.

— Не больно хорош! — ответил класс.

Не согласился лишь тот же Павелко Бородулин. Он сказал, что родственников жалеть нечего: старика-то вряд ли они любили; небось ждали его смерти, хотели попировать на чужие капиталы. Пусть сами наживают!

— Все равно старик дурной, — сказал Колюнька Нифонтов. — Отдал бы деньги земству на школы, а то жжет в печке, как сумасшедший! Я, мол, умираю, так пусть никому мое добро не достанется — гори! Пустая была голова.

— Правильно, Коля! — кивнул учитель и стал читать рассказ о другом старике, садившем яблони.

Старику говорят: «Зачем садишь? Тебе не дожидаться яблок». Он знает это, и все-таки сажает деревца, чтоб другие люди попользовались его плодами.

— Хороший старик! — закричали мы дружно, когда учитель закрыл книгу. — Вот человек!

— Да, человек, — сказал Всеволод Евгеньевич. — Если каждый из нас, как этот старик, хоть немножко сделает для других, жить будет легче, веселее. Человек, помышляющий только о своей выгоде, о своей утробе, о своем кармане, становится врагом человечества, торжествующей свиньей! Дети мои, когда подрастете и вас начнет одолевать бес жадности, кулацкого стяжания, вспоминайте старика, садившего яблони. Вспоминайте его чаще!

Мы любили такие уроки, такие разговоры с учителем. Не важно, что не росли у нас яблони, никто их

не сажал и нам нечего было сажать. Незрелым детским умом догадывались мы, что тут вовсе не в яблонях суть, а в чем-то ином, более широком и тонком, что надо понять. Не поймешь, ты — торжествующая свинья!

Я рассказал Всеволоду Евгеньевичу, как сватал меня в письмоводители дядя Ларион и как отнеслись к этому в семье.

— Дед и бабка правы, — ответил учитель. — Что такое дядя Ларион? Давно приглядываюсь к нему. Странный какой-то прыщ на здешней земле. О нем книгу написать можно в назидание потомству: вот как нравственно уродует патриархального крестьянина капитализм — глядите и возмущайтесь! Ларион худо кончит. Держись подальше от таких людей.

Он помолчал, пристально взглянул на меня.

— Голова у тебя светлая, память редкостная. Все на лету схватываешь — математику, русский, географию. Сорок лет учу крестьянских детей, второго, как ты, ученика вижу. Тебе в гимназию надо, потом в университет. Далеко шагнешь! Верь, я не ошибаюсь, нет!

— Это сколько же учиться? И сколько платить?

— Учиться лет двенадцать, милый мой. А платить тоже изрядно.

Двенадцать лет! От этой мысли похолодела спина. Кто позволит? Чем буду жить? Кто будет платить?

— Не пустят, — сказал я. — В семье даже заикнуться об этом нельзя.

— Знаю, — кивнул учитель. — Я помог бы с радостью, но жалованье нищенское, самому не хватает. Надо газеты выписывать, журналы, табак вот легкий курю, как барин, — избаловался в глуши!

Он задумался, долго молчал, посмотрел на меня угрюмо.

— И в городе просить некого. Есть там, правда, купец-миллионщик, за бедных девушек в гимназию платит. Только выбирает смазливеньких, чтоб потом полюбовницами приспособить. Он же благодетель! Можно ли отказать? Ты не девушка, значит не подходишь.

Он опустил голову.

— Отец золота ищет в горах, — сказал я. — Если пофартит, разбогатеет... Меня тогда, наверно, отпустят в гимназию.

Учитель усмехнулся.

— Не будь Ларионом! — наставительно сказал он. — Никогда не фантазируй. Здесь, на Урале, золота, конечно, много. Но взять его трудно. Требуется научная разведка земных недр, нужны машины, капиталы. Что могут сделать несчастные искатели, вооруженные кайлом, лопатой, бадейкой да бабушкиным ситом? Только чудо им поможет. А чудес не бывает! Почти не бывает, — поправился он. — Из тысячи старателей одному выпадет счастье найти самородок, и об этом шумят годы, сочиняют легенды. Так-то, милый мой человек. А от Лариона держись подальше.

Прямо из школы я заглянул к дяде Лариону, сказал, что наниматься не хочу и Колюньку дядя Нифонт не пускает — пусть ищет другого письмоводителя.

Ларион как будто не обиделся. Он только оттопырил губу, сверкнул золотым зубом, значительно сказал:

— Попомни мои слова: пожалеешь!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дед удачно порыбачил на Полуденной. Часть лещей и судаков продали, часть оставили себе. Бабушка послала меня в село Ивановку за солью и лавровым листом для рыбных пирогов. Я взял в лавке горсть листа, пудовик соли, двинулся обратно. Круглый и твердый мешок нести было тяжело и неудобно: он выскальзывал из подмышек. Измученный, я присел на гребень канавы отдохнуть.

День на редкость солнечный, теплый. Осень будто одумалась, что рано пришла, и отступила, зацвело благодатное бабье лето. Я поглядывал в небо — не видать ли пролетных птиц. В вышине было чисто, светло и тихо. Должно быть, утки и гуси, радуясь хорошей погоде, отдыхали на озерах, не спешили к югу.

С горы, от Ивановки, неторопливо спускались два

человека. Один растягивал гармонь. Медные угольники сияли на солнце. Ветер донес лихую, подковыристую песню:

Шел я лесом чертом-бесом,
Не боялся никого.
Черный заяц показался,
Испугался я его.

У меня захолонуло сердце. Возвращался отец! Он всегда в отлучке. Летом гоняет плоты, спускает в низовья купеческие баржи. Зимой рубит лес в дальних местах, добывает гранит в каменоломнях. Приходит домой только к праздникам, приносит гостинцы, оживление в дом.

Последние годы отец «завлекался» золотом. Накопит немного денег, снарядит летом ботник, уезжает куда-то искать «жилу» или пешком топают по горам и отрогам. Возвращается злой, голодный, оборванный. Золото не «выходит» на него. Каждая встреча с отцом оставляет след в моей душе. Он так умеет рассказывать о своем искательстве, что хочется побывать в тех краях, где плавал его верткий сосновый ботник, где ступала его натруженная нога.

Я встал, охваченный радостью, побежал навстречу. Отец звонко ахнул, положил гармонь на дорогу, протянул горячие твердые руки.

— Здорово, сынок! Милый ты мой!

Он прижал меня к груди, стал целовать. От него пахло вином и табаком. На нем были стоптанные сапоги, короткое пальто из бобрика, на голове помятый синий картуз. Высокий, широкоплечий, с подстриженной русой бородкой и загорелым лицом, он выглядел статным, красивым. Попутчик его, долговязый мужик в рваном чекмене, с котомкой за плечами, улыбался. Из котомки торчало зазубренное, выдавшее виды кайло.

— Как у нас? — спросил отец и разжал руки. — Живы-здоровы?

— Живы-здоровы.

— Ну и ладно. И я жив, иду попроведать. Как славно, что ты первый встретил меня!

Он достал из кармана связку баранок.

— На-ко пожуй, милоч, да не все уплетай. Матери с бабкой оставь.

Он подмигнул спутнику.

— Гляди, Данило, какой шиш растет! Весь в отца. Скулы, глаза, нос — все мое. Наследник! Люблю его, брат, пуще всего на свете. Кабы не он, и домой бы не тянуло. Ей-ей, не вру!

— Хороший малец, — ответил Данила хриплым голосом. — Старатель выйдет первый сорт. По глазам видно — бедовый!

Отец взял гармонию, заиграл «прохожую». Данила вскинул на плечо мой мешок с солью, запел частушку.

И так с песнею мы вошли во двор.

В избе отец поцеловался с матерью, бабушкой и дедом, снял пальто, сел в передний угол. Данила примостился на лавке у окна. Бабушка начала ставить самовар. Дед спрашивал отца, где он побывал, как работал, что видел. Мать обшарила карманы отцовского бобррика. Кроме бутылки водки, баранок и кисета с махоркою, там ничего не было. Лицо матери побагровело.

— Алексей, деньги где? — глухо спросила она. — Опять в карты просадил?

Отец виновато моргал.

— Деньги что? Не беспокойся, Степаха. Даст бог здоровья, деньги будут. Верно говорю. Мы с Данилой...

— Опять то же и оно же! — крикнула мать визгливо. — Ну муженек! Ну рабочийк! Ну...

— Молчать! — перебил отец. — Я тебе кто? Не твое дело...

— А, не мое дело! — еще злее и громче сказала мать. — Лето в отходе шатался, пришел зимовать с дырявым карманом, и ему слова не скажи. Это что такое?

Бабушка подошла к матери.

— Уймись-ко, Степанида, уймись. Мужуку с дороги отдохнуть надо. Завтра поговорим о делах. Уймись, желанная.

Мать не унималась. Ожесточась, она выговаривала отцу. Он из года в год ничего не приносит домой, — хо-

зайство держится на старике, дальше так жить невозможно.

Дед подсел к Даниле. Они курили трубки, о чем-то тихо, почти шепотом, беседовали. Семейные ссоры всегда неприятны. Я думал о том, как помирить отца с матерью, посадить рядом за стол, самому сесть между ними, вместе хлебать праздничные щи, слушать песни, веселые прибаутки.

Я ухватил мать за сарафан, потянул к лавке.

— Мамка! Да мамка же, перестань!

Она шлепнула меня ладонью по спине.

— Отойди прочь! Что понимаешь?

И опять, захлебываясь злостью, начала:

— Я ему вальком башку расколю! С гармонью ходит, как рекрут. Ох, стыдобушка моя! Ох, пропащая душа! Да зачем женился? Зачем сына произвел на свет? Хуже Лариона!

Отец, наверно, сознавал вину, многое мог стерпеть, но сравнение с дядей Ларионом вмиг ожесточило его. Он сорвался с лавки, ударил мать кулаком в подбородок, и она упала навзничь.

Данила схватил отца за руки. Мать, сидя на полу, бранилась.

— Вот что, Алексей, — сказал дед. — Я тебе жену бить не позволяю. Подлое это дело — баб увечить. Не позволяю! Понял?

— Ее словами образумишь? — горячился отец. — Ее ни в котле не вываришь, ни в ступе не истолчешь. Грозится еще — по голове вальком! Сама на кулак лезет, кликуша!

— Да и ты хорош! — вступилась бабушка. — Держи себя как следует, жена перечить не станет. Не на обновки денег просит. С таким-то мужем ангельское терпенье лопнет.

Мать, чувствуя защиту, выкрикивала злые, обидные слова. Отец опять рванулся к ней. Дед толкнул его в грудь, посадил на лавку.

— Остепенись, Алеха! Из дому выгоню!

— Меня? — закричал отец. — Меня из дому? Из-за бабы?

— Баба не человек? — гремел густой голос деда. — Ты как судишь?

Стало страшно. Я выскочил в сенцы, ушел в огород. В избе шумели. Шум то стихал, то вновь поднимался, как ветер в лесу. И так жаль было мать, отца, бабушку, деда. Все они родные, хорошие, а вот завели свару. Деньги! Разве нельзя без денег жить?

— Погодите, — шептал я, закрыв глаза, — вырасту большой, начну много-много зарабатывать, все отдам семье, и не будет ссор, драк.

Думы возносили меня высоко, и я чувствовал себя прямо-таки богатырем, способным добыть горы денег. Да и нужны ли горы? Ведь принеси отец хотя бы двадцать—тридцать рублей, мать была бы довольна.

Перебранка наконец-то затихла. Я вернулся в избу. Наши сидели за столом, очень мирно разговаривали. Мать успела переодеться в праздничное платье. На столе пыхтел самовар, дымилась вареная картошка.

Отец налил в рюмки. Все чокнулись.

— С прибытием, Алексей Спиридоныч! — сказал дед. — Первая колوم...

Налили по второй, по третьей. За столом стало шумно. Дед когда-то служил в солдатах. Там обучили его грамоте, принес он с царской службы много веселых и грустных песен, распевал их, будучи в ударе. Теперь он затянул свою любимую песню об уральских казаках.

Как на Черном ярке, как на Черном ярке
Ехали татары — сорок тысяч лошадей.

Отец и Данила подпевают:

И покрылся берег, и покрылся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей.

Раненый казак умирает. Горька его судьба:

Тело мое смуглое, кости мои белые
Вороны да волки вдоль по степи разнесут,
Очи мои карие, кудри мои русые
Ковылем-травкою да бурьяном прорастут.

От песни мороз по коже. Я слышал ее уже много раз, и меня всегда удивляет веселый припев:

Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом не приходится тужить.
Казаки! Эх, нечего тужить!

— Сильна песня! — сказал Данила. — Не хуже наших, старательских.

Я подсел к матери. Она ласково и нежно поглядывала на отца, угощала его и меня. Данила потешал всех рассказами о бродягах-золотоискателях, о нечистой силе, отводящей людей от скрытого в горах богатства.

Обед кончился. Отец взял гармонь, заиграл приисковский перепляс.

— Спьем, что ли? — спросил Данила. — Без плясу праздник не праздник. На том стоит матушка Русь. Эх, веселись, душа и тело, вся получка пролетела!

Мать пристукнула каблуками, выплыла на середину избы. Лицо ее потемнело, глаза оживились, губы сжаты. Данила сперва мелко семенил ногами, словно раскачивал свое длинное тело, потом волчком закрутился возле матери, пошел вприсядку.

Мать сняла с головы кашемировый платок, помахивала им, дразня Данилу. Движения ее были легки, красивые, задорны.

Дед похлопывал в ладоши, какими-то чудными вздохами — и эх! и эх! — подхлестывал плясунов и сам притопывал ногами. Бабушка стояла у печки, зардевшись от счастья. Она любила веселье и лад в семье, сама была когда-то мастерица плясать.

Гармонь пела в руках отца, будоражила всех, вызвала дрожь в сердце, и мне казалось — я не слышал еще такой игры, проникающей в душу, не видал такой пляски. Было что-то простое и прекрасное. Я с трепетом ждал: вот-вот лопнут голубые мехи, захлебнется гармонь, упадут, задохнувшись, плясуны. А отец играл, откинув голову, сощутив глаза. Гармонь пела все тоньше и тоньше, забористее, и плясуны вихрем носились по полу.

— Хватит, спасибо! — улыбнулась мать. — Тебя,

Данило, не перепляшешь. Ты двужильный какой-то, шалая головушка.

Она, тяжело дыша, села на лавку. Отец погладил ее по плечу, засмеялся.

— Разве худого человека в дом приведу?

Данила вышел во двор.

— Это чей мужик приволокся за тобой, Алеха? — спросил дед. — Веселый, шут его дери.

— Старатель, — сказал отец. — На пристани подружились. Пойдем в тайгу песок мыть. Отдохнем и двинемся. Данило места знает, не беспокойтесь. Сухарей вот надо побольше.

В избе стало тихо. Мать переглянулась с бабушкой. Дед выколачивал трубку. Слова «старатель», «старательство», «золото» всегда вызывали смятение в семье, жестокие споры, брань, и я подумал, что теперь опять все разладится, все станут непонятными, злыми.

Вошел Данила, кивнул отцу.

— Пора на боковую, Алексей. Завтра в поход. Время упускать нам никак нельзя.

Мать вздрогнула.

— Да куда вы, сердешные, на зиму глядя? — начала бабушка. — Охота горе мыкать по трущобам?

— Ерунда, мамаша! — хвастливо сказал отец. — Стужа нам нипочем. Главное что? Данило — человек практикованной! Нападем на жилу, обогатимся. Суши сухари да помалкивай!

— Верно, — поддержал Данила. — Самородки ныне по четыре с полтиной золотник принимают. Только давай. В фунте девяносто шесть золотников. Смекаете? Один фунтишко добыл — и кум королю! Только местечко найти. Уж мы с Алексеем Спиридонычем возьмем. Есть на примете ручеек один — соблазнительный!

У матери поблекло лицо. Казалось, слезы вот-вот брызнут из глаз, и она опять закричит, застонет либо кинется на отца с вальком, которым недавно ему грозила.

— Думать не смей, Алеха! — запальчиво сказал дед. — Не впервой слышим твою погудку. Обжегся на золоте раз, обжегся два. Хватит!

— Не тебе наставлять других, — возразил отец. —

Сам на охоте порой неделю попусту ходишь. Это ничего?

— Сравнил! — дед взмахнул рукой, словно отгоняя дурные мысли. — Птица да зверь для того и созданы, чтоб человек ими пользовался.

— А золото? — насмешливо спросил Данила.

— Золото от беса, — убежденно проговорила бабушка. — Бес его посеял в землю на соблазн, на лихоимство и распрю людскую. Песок мыть во сто раз хуже, чем в карты играть да водку пить безо времени.

Помолчали, каждый думал, наверно, о своем.

— Не согласен я с тобой, Наталья Денисовна, — сказал Данила. — Человеку все дозволено. Все для него на земле, в воде, под землей. Беса приплетать нечего. Кому фартнет — живо из грязи в князи. А фарт, он больно скользкий. Про себя скажу. Годов пяток назад бил я дудку — колодец по-вашему — на Пышме. Два месяца копал и копал. Земли на-гора выкидал уйму! Напарник мой, что ворот крутил, совершенно обессилел, ночью сбежал. И мне надоело маяться. Бросил. А после Игнат Максаков на том же месте россыпь открыл! Вот оно как! Встретились мы. Он говорит: «Ты, Данило, на одну сажень до счастья не докопался. Спустились в твою дудку, часок поковыряли, золото пошло». Одну сажень, поймите, люди добрые! Максакова ныне рукой не достать, в городе на рысаках ездит, а на мне халат дырявый. Вот она, сажень! Терпенья, понимаете ли, на чуточку не хватило. До сей поры волосы рву.

Рассказывая, Данила как-то резко изменился в лице. Восторг охватил бродягу. Казалось, он видит перед собой необъятные россыпи, тяжелые самородки, слышит звон добытого в дудке металла, и млеет, млеет его душа, тоскующая по богатству, довольству и сытой жизни.

Данила начал новую историю, где опять на «аршин» терпенья не достало. Голос у него дрожал, глаза расширились. Он взмахивал растопыренными руками, тряс головой, как помешанный. Велика же была над ним власть золота!

Дед подал Даниле шапку, мешок с кайлом и веревками, сухо сказал:

— Вольному воля: иди, куда хочешь, а других не смущай. Мой сын тебе не напарник, не попутчик! Лариона зови. Он давно таких шалопутов ждет.

Бродяга надел чекмень, простился и ушел ночевать к дяде Лариону.

В избе долго шумели, бранили отца.

— О семье тужу, — говорил он, разводя руки. — Мне-то много ли надо? Вас озолотить хочу. Пожили в бедности — довольно!

Он так разошелся, что пообещал — ежели фартнет — купить деду двуствольное ружье с золотой насечкой, с двумя парами стволов для стрельбы дробью и пулей: такую диковину мы видели у городского охотника, приезжавшего к дяде Лариону на берлогу.

Дед кивал матери, насмешливо бормотал:

— Вылитый Ларион!

Бабушка смеялась сквозь слезы. Мать сперва ядовито корила отца, потом сердце у нее отошло, и она сказала:

— Да пусть идет, коли пятки зудят. Хлеб обмолотим и дрова наготовим без'него. Осенью все равно делать нечего в хозяйстве. Может, и пофартит им где. Ведь вот Данило-то, слышь, на одну сажень был от золота.

Ох, уж эта «сажень»! Даже мать поверила...

Дед махнул рукой. Это значило: «Делайте что угодно, я в стороне».

Бабушка принесла из клетки корчагу сухарей, начала стряпать лепешки на дорогу отцу. Мать чинила ватные штаны, штопала носки, кроила портянки. Дед точил подпилком кайло, железную лопату с коротким черенком, плотницкий топор, вил из мочала и кудели веревку для ворота. До глубокой ночи собирали котомку золотоискателю. Отец весело похаживал по избе, целовал бабушку, мать, уверял, что им цены нет, что он счастлив жить в дружной и работающей семье, как наша, и он устроит им жизнь, какой они заслуживают.

На рассвете Данила постучал в окно. Рядом с Да-

нилой стоял дядя Ларион с котомкой на горбу, к котомке были привязаны железная бадья, поперечная пила, отточенный до блеска заступ и круглое решето из тончайшей медной проволоки.

— Боже мой, Ларион увязался! — воскликнула бабушка. — И его взбаламутили.

— Ох, сыны мои, сыны! — засмеялся дед. — Ну, теперь-то знаю — ни черта не выйдет. Где Ларион, там добра не жди!

Отец проворно собрался, вышел на крыльцо. Мы шли за ним.

— А ружье? — спросил Данила, здороваясь с отцом. — Ружьишко непременно взять надо, без него пропадем. От одних-то сухарей животы подведет в неделю. Будет ружье — глухаря, зайчишку подстрелим, лося завалить можем. С мясом веселее дело пойдет.

Отец сказал дяде Лариону, чтоб он сбежал за двустволкой. Ларион заартачился. Ружье у него дорогое. Разве сохранишь его в таком походе? Осень, дожди пойдут.

У нас, кроме дедовской фузеи, была берданка. Дед купил ее отцу. Охотника из отца не получилось, но ружье не продали, полагая, что со временем оно пригодится кому-то в нашей семье. Когда я родился, дед объявил в семье: «Берданку дарю внуку». Она так и считалась моей. Теперь дед вручил ее Даниле, насыпал в мешочек дробь, дал коробку пороху, десятка два пуль, бутылочку с пистонами, медные гильзы, приборы для зарядки патронов. Данила повеселел, шумно благодарил. Дед спросил, умеет ли Данила стрелять.

— Я-то? — приосанился бродяга. — Воробья на лету сшибаю! Лося между глаз шарахну — ляжет, ногой не брыкнет. Это мне ничего не стоит.

— Все-таки береги ружье, — сказал дед. — Оно Матвейке завещано.

— Матвейко не хочет быть охотником, — вмешалась мать.

— Что ты понимаешь? — осадил ее дед. — Сегодня не хочет, завтра передумает. У берданки бой отменный, сам проверял. Да и не тяжелая.

Урма и Пестря, увидев людей с котомками и ру-

жьем, радостно прыгали у ворот, повизгивали, порывались бежать за отцом. Данила намекнул, что не худо бы взять одну собаку, с ней безопаснее шататься по звериным тропам в незнакомых местах. Дед решительно отклонил домогательство.

— Нет уж, не проси, не приставай, — сказал он. — Чего-чего, а собаку ни свату, ни брату не дам.

— Жадный ты, видать, старик, — пошутил Данила.

— Не жадный, но и не глупый, — ответил дед. — Собака мне всего на свете дороже. И ни один охотник не даст. Разве мыслимо?

— Ну, нет так нет, — вздохнул Данила. — Пошли!

Золотоискателей проводили за околицу, пожелали доброго пути, всяких удач. Они ходко пошли берегом Полуденной и скрылись в тайге.

Мать загадочно улыбалась.

— Может, и найдут, — говорила она. — Находят ведь люди. Почему нашим не найти?

— Дай-то бог, — прошептала бабушка. — Дай, пресвятая дева Мария.

— Не найдут, — огорчил ее дед. — Лариона понапрасну взяли. С ним не токмо золота, еловых шишек в тайге не найдешь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Весна была ранняя, лето жаркое, и все — в полях и огородах — поспевало до срока. Мы сжали озимые и яровые недели на две раньше, чем обычно.

Наступила пора молотьбы. У старосты Семена Потапыча была молотилка с конным приводом, и прошлые годы он давал ее напрокат. За «мортизацию» Потапыч брал три рубля в день. Молотьба шла весело. Одна семья не может управиться с машиной. Надо подвозить, подавать, запускать в барабан снопы, отгребать в трое грабелей солому, носить ее в омет, веять зерно, возить мешки в амбар, погонять лошадей, запряженных в привод, — требуется пять-шесть лошадей, до двадцати молотильщиков. Соседи объединялись как бы в «артель»: сегодня молотили хлеб одного хозяина, завтра другого, послезавтра третьего.

Завтракали, обедали и ужинали у того, кому молотят, и каждая хозяйка старалась не ударить лицом в грязь, накормить молотильщиков на славу. Когда подходил наш черед, бабушка накануне начинала стряпню. Дед заготавливал рыбу, добывал глухарей, рябчиков. Пекли пироги, жарили дичь, варили корчаги две пива, кадушку браги. Меня посылали в Ивановку за водкой. Мать всегда ворчала, что много тратим, можно бы попроще, скромнее, но ее не слушали. Бабушка старалась делать так, чтоб молотильщики сказали: «Ну, Денисовна, у тебя харч лучше всех в деревне — напитала, год помнить будем!»

Пивом и брагой угощали молотильщиков весь день. Мать то и дело приносила на гумно туесы, наполненные шипучим, пенистым питьем. Водку подавали за ужином. Пили все — мужчины, женщины, старики, подростки. Даже непьющий человек не мог устоять против дарового стаканчика за артельным столом.

После ужина пели песни, плясали, расходились по домам за полночь.

Каждый хозяин хотел обмолотиться за сутки, — вставали рано, кончали поздно. Семен Потапыч ворчал: мужики бессовестные, растягивают день, как резину, не дают отдыха молотилке, а машина не в силах верещать круглые сутки — плаваются подшипники, нагревается донельзя барабан.

— Ничего, плата подходящая, — посмеивались мужики. — За такую цену и машине можно постараться: выдюжит!

Ныне Потапыч объявил, что дешевле пяти рублей в день молотилку напрокат не даст. Мужики потолковали и решили отказаться от машины:

— Цепы в каждом доме найдутся, обмолотим вручную.

Староста пошел на попятный.

— Ладно, — сказал он, — будь по-старому: трояк в день.

Мужики опять собрались на сходку, долго спорили. Никто не хотел брать машину и за трешницу. Жадность Потапыча всех возмутила.

— Поучить его, скопидома, — говорил дядя Нифонт. — Обойдемся без машины сей год. Пусть лобуется на свою молотилку.

— Правильно! — поддержала Зинаида Сирота. — Разошелся, пузатый идол! Незнамо что дерет.

Семен Потапыч пытался уломать мужиков.

— Простите, соседи! — сконфуженно говорил он. — Сам понимаю — перехватил малость, помраченье нашло. Молотите, бог с вами.

— Не желаем! — дружно кричали мужики. — Не же-ла-ем!

Потапыч вытирал пот на щеках, кланялся.

— Охота цепами-то махать? Охота спину трудить? Месяц вручную молотить доведется. А машина как зверь: только давай снопы, только подсовывай! Разлюбезное ж дело! Себя пожалейте. Мне что ваши трешницы? Я без них сыт, обут, одет. Об вас печалюсь, жен ваших оберегаю от труда непосильного. И веялку новую купил, за полтину в день сдаю. Берите, пожалуйста, не ерепеньтесь!

— Не желаем! — опять раздалось в ответ.

Мир был озлоблен на Потапыча. Уговоры не помогли.

Ночью дед разбудил меня топить овин. Подвезли на Буланке воз ржаных снопов из скирды, аккуратно, чтоб не мять колосьев, не осыпать зерно, посадили на колосники. Сбросили вязанку поленьев к теплине, спустились по лесенке в яму. Дед зажег фонарь, уложил дрова клеточкой в середине ямы, подсунул кусок бересты, чиркнул спичкой, береста ярко вспыхнула, сухие дрова загорелись ровным пламенем. Жар потянулся вверх, в пазы у стен, стал нагревать колосники.

Дед сидел на чурбаке, изредка поворачивал поленья ожогом. Я испек в золе картошку, и мы, обжигаясь, ели ее, посыпанную крупной солью. Подгорелые картофелины были на редкость вкусны. От сытости и тепла разморило, захотелось спать.

— Пойдем домой, — сказал я деду. — Дрова шибко горят, чего здесь торчать?

— Ишь ты, хозяин! — ответил дед. — Уйди попробуй! А искра порхнет на колосники, да сухие жерди

вспыхнут, — тогда что? Овина лишимся! Тут гляди да гляди. Вон кадушка с водой, ведро приготовлено. Ежели, грехово дело, я плесну, и нет ничего.

— Ладно, — я вытянулся на теплой земле и уснул.

Когда я проснулся, дрова начисто сгорели, переливались огнем крупные угли. Было жарко, как в бане. Сверху, из пазов, шел густой запах разогретой соломы и ржи.

Мы поднялись по лесенке, пошли в избу. Дед смастерил для меня легонький цеп с коротким черенком.

— Пока им будешь махать. Подрастешь, дам потяжелее, как полагается мужику.

На рассвете всей семьей двинулись на гумно. Разостлали подсушенные снопы на току в два ряда, колосьями к середине, встали у конца рядов. Дед ловко взмахнул цепом, брызнуло от удара золотистое зерно, и молотья началась.

Я старался изо всех сил, но никак не мог попасть в лад со старшими. Если молотят несколько человек, цепом нельзя бить как попало, надо строго соблюдать черед, иначе кто-то ударит по твоему цепу, и вся согласованность работы нарушится. Я опускал цеп то слишком рано, то запаздывал. На меня ворчали, шипели, поучали на ходу. Я все понимал, но не мог управиться с цепом. Прошли ряд. Спина моя взмокла, колени подгибались, гладкий черенок цепа выскальзывал из онемевших рук.

— Путаешь нас, — вздохнул дед. — Иди-ко с того конца один. Так будет лучше.

Обидно было, но я подчинился, перевернул снопы на своем конце, принялся ожесточенно молотить в одиночку.

К вечеру овин обмолотили. Дул несильный ветерок. Дед распахнул ворота с обеих сторон, устроил сквозняк. Начали веять: подбрасывали зерно деревянными лопатами почти к потолку. Ветер относил мякину и пустые колосья далеко в сторону, чистая рожь падала на ток. Потом ссыпали умолот в мешки, свезли в амбар.

Кончив с рожью, взялись за ячмень, овес и горох. За день до того уставали, что едва добирались до избы, ужинали молча, сразу ложились спать. Я спал

крепко, не видел снов, и утром бабушке стоило немалых трудов разбудить меня.

Мать ворчала, что напрасно отказались от машины. Прошлые годы молотья шла быстрее. За три рубля поту прольешь — не счесть!

— Ничего, — возражал дед. — Потапычу нос утерли. Двадцать дворов, три целковых со двора — шестьдесят рублей! Ему вон какой убыток! Вперед будет знать, как с миром ладить. Он думал, пропадем без машины. А люди молотят да молотят!

— Дураков работа любит, — сердито сказала мать.

Бабушка стала отчитывать мать.

— Молчи, Степанида! Не наше дело. Мужики решили, так тому и быть. Что же ему, злыдню, потакать? Пять рублей заломил!

Мать смолчала, но по глазам ее я понял, что она все-таки не согласна с дедом и бабушкой. Ей хотелось заменить цеп машиной, она не была ленива, но как-то равнодушна к тому, что делала. Ей не хватало огонька, которым всегда загоралась бабушка. У бабушки все кипело в руках, выходило складно и ловко, и даже, думается, бабушка уставала на любой работе меньше, чем другие.

В конце недели я овладел цепом. Правда, на руках появились мозоли, но цеп был послушен, падал, куда нужно и когда нужно. Дед поставил меня в общий ряд, и теперь я лишь изредка сбивался, путая взрослых. Бабушка хвалила:

— Молодец, Матвейко! Старайся, милый!

Не знаю, от души она хвалила или была тут старушечья хитрость, но хвала бодрила, прибавляла сил, хотелось еще крепче ударить по снопу, еще больше отличиться, чтоб услышать скупое и ласковое слово, и я старался, как мог. Наступали минуты, когда эта тяжкая и пыльная работа на гумне до того захватывала, наполняла сердце такой радостью, что я в душе благодарил мужиков за отказ от машины Потапыча. При молотье машиной мы с Колюнькой погоняли лошадей, подпряженных к толстым жердям привода. Ходишь по кругу целый день, помахиваешь березовым прутиком, и все. Там никто не замечал нашей работы,

нечем было щегольнуть, негде отличиться. А с цепом в руках я чувствовал себя настоящим работником.

В дальнем поле еще оставалась небольшая кладь яровой пшеницы, две клады овса. Дед сказал, что их обмолотим зимой. Он торопился кончить самые неотложные дела по хозяйству и заняться охотой. Бабушка согласилась.

— Только ты, Спиридон, уж, пожалуйста, съезди на мельницу, а то мука на исходе. Без тебя с мешками не управиться.

— Само собою, — ответил дед.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дед запряг Буланка в телегу на железном ходу, навалил мешки с рожью, ячменем и овсом, и мы поехали на мельницу. Бабушка дала нам туесок молока и ватрушек: если задержимся, было б чем пообедать.

Мельница стояла на Гаревой, впадающей в Полуденную. Хозяином ее был хромой старик Тимофей Харитоныч.

Мать наказывала деду не молоть «на ков» и — ежели что — уступить черед кому-нибудь другому, несмышленому в мельничных делах. Я спросил, что значит «на ков»? Дед усмехнулся.

— Вырастешь — поймешь. Харитоныч раз в неделю кует жернова: отбивает молотком кривые борозды и бугорки, — без этого не разотрешь зерно. Жернова-то круглые, а ящик, в коем они лежат, четырехугольный. Жернова крутятся, в углы набивается мучная пыль — бус. При поковке мельник снимает пуда два буса, откармливает им свиней. Больше всех теряет тот, кто мелет «на ков»: углы ящика пусты — туда так и тянет муку, так и тянет! А потом забьет пазы — ничего. Кто угодит в последние два дня перед ковкой, ни щепоти не потеряет.

— Чего ж Харитоныч не отдает бус помольцам?

— Так и не отдает. Его счастье. Не им заведен порядок. Мельники пользуются испокон веков.

Я задумался. Еще год назад все казалось простым и ясным. Теперь каждый день я узнавал что-нибудь

необычное, далеко не простое, и это не укладывалось в голову.

— Не будем молоть на ков, — сказал я деду. — Ни за что не будем!

— Как удастся, — ответил он. — Какой черед выйдет, а меняться дураков мало. Разве попадет пентюх вроде тебя.

Мельница была двухэтажная, ветхая и старенькая, как сам Харитоныч. Когда работали жернова, корпус ходил ходуном, бревна в стенах поскрипывали. Дед поставил мешки на втором этаже, обвязал их тоненькой бечевкой, чтоб не смешались с чужими, и мы пошли в избушку, стоявшую рядом с мельницей, ниже плотины. Избушка тоже была двухэтажная. Наверху жил Харитоныч со старухой, внизу ютились помольцы, ожидавшие очереди.

На нарах сидело пять-шесть мужиков. Двое у стола играли в шашки. Дед спросил, кто последний в череду, узнал, сколько у кого мешков, когда откованы жернова. Все было хорошо. Поковка сделана два дня назад, мешков у всех немного. Выходило так, что к вечеру обязательно смелем. В избушке было душно, накурено. Дед сказал рыжебородому мужику:

— Митрофан, как засыплешь свой мешок, кликни меня.

— Ладно, — ответил Митрофан. — Ступай, дрыхни, охотник.

Мы завалились в телегу и уснули. Кто-то разбудил нас перед закатом. Зерно Митрофана в ковше кончалось. Дед подтащил мешки, развязал завязки. Возле ковша очутился Харитоныч — сухонький, коренастый старичок с белой бородой, косматыми белыми бровями. Рубаха и штаны у него были осыпаны бусом. Я даже подумал, что и борода Харитоныча, может быть, поседела от буса.

На дне ковша оставалось несколько горстей Митрофанова зерна. Харитоныч глянул цепкими глазами, махнул рукою и зычно гаркнул:

— Засыпай, Спиридон!

Дед разом вытряхнул длинный мешок, потом второй. Ковш наполнился рожью почти до краев, и тот-

час жернова как-то чудно заскрежетали, завизжали. Митрофан быстро выгребал муку из ларя. Из-под верхнего жернова во все стороны летели ослепительные желтые искры. Харитоныч выругался и, ковыляя на согнутой ноге, побежал на плотину, закрыл ставень. Вода перестала бить в лопасти колеса, жернова остановились, мельничный шум смолк, наступила тишина.

Мы спустились к ларю. Митрофан, завязывая мешок, рассказывал, как напугался, когда посыпались искры.

— Страсть господня! — говорил он, пришепетывая. — Думал, глаза выжжет. Как полыхнет, полыхнет! С чего бы это?

— Сейчас узнаем, — сказал Харитоныч. Он кликнул помольцев на помощь. Мужики подняли вагами верхний жернов и ахнули: на нижнем жернове лежала стальная гайка, обтертая до блеска.

— Жернов испортил, черт полосатый! — крикнул Харитоныч Митрофану. — Откуда взялась гайка в твоём зерне? Оштрафую — будешь помнить!

Митрофан заморгал, развел руками.

— Ей-богу, ума не приложу. Откуда ж ей на самом деле взяться? Ни сном, ни духом! Разве что ребятишки сунули. Они же чистые зимогоры ¹! Они не токмо что, себе в рот иголку сунуть могут.

Мужики молчали.

— Ну народ! — вздыхал Харитоныч. — Никакого соображенья нет. На днях один дохлую крысу с ячменем засыпал, другой — бутылку из-под дегтя! Черт-те что в ковш валят. Пропадешь с вами!

Он повернулся к деду.

— Ложись спать, Спиридон. Видишь, рубцы гайкой стерло: ковать буду. Часок сосни, разбужу.

Взгляд Харитоныча остановился на мне.

— Ты, малый, если хочешь, возьми удочку, побросай в пруду. Вечером окунь славно берет. Червей достанешь возле избушки.

Мы пошли к телеге.

— Вот и не мели на ков, — подмигнул дед. — По-

¹ Зимогоры — зимующие в горах, надолго уходящие из деревни; переносно — люмпен-пролетариат, отпетые люди.

пробуй не молоть. И черед не уступишь, зерно-то в ковше. Провалиться бы Митрофану с его гайкой. Только знаешь что: не говори ни бабушке, ни матери. Узнают, икота обеих схватит. Бабы!

Он лег на телегу. Я взял под навесом рябиновое удилище с белой волосяной леской, накопал червей, уселся на плотине, стал забрасывать удочку. В Полу-денной окунь серьезный, клюет сильным рывком, без обману. Не прозеваешь поклевку, рыба всегда на крючке. Здесь, у Харитоныча, окуни были хитрые. Они, как ершики или плотва, слабо дергали наживку, откусывали конец червяка, не заглатывали крючок. Я стравил до десятка червей, не вытащил ни одной рыбины. Подошел дед, спросил, как дела. Я рассказал.

— Ну-ка, помогу, — живо отозвался он. — Поглядим, что тут за окунь водится. Ну, поглядим!

Он взял крючок, оторвал кусочек толстого червя, насадил так, что жало высунулось наружу, забросил подальше, передал мне удилище.

— Посмотрим, как сорвут. Только не зевай!

Поклевки долго не было. Солнце садилось за краем леса. Синева неба поблекла, будто затуманилась. Стало свежо. По воде пробегала мелкая рябь, шумно плескались щуки. Поплавок, похожий на перо, утерянное птицей, лениво качался на воде, было томительно и скучно сидеть. Я собирался поднять удилище и кончать ловлю, как вдруг поплавок встал торчмя, мгновенно исчез под водой. Я подсек и вытащил окуня-верзилу, каких до того не видывал. Окунь так яростно бился, колот нам руки спинными иглами, что мы едва сняли его с крючка. Я посадил добычу на кукуан, торопливо стал насаживать приманку, но ловить больше не пришлось. Харитоныч отковал жернов, мельница опять загудела, и мы пошли выгребать муку.

Пруд, устроенный в крутом овраге, был глубок, но вода в нем, как говорил Харитоныч, была «мертвая», стояла ниже шлюза. Лишь верхний слой стекал в шлюзовую деревянную трубу, чтоб двигать маховик. К ночи вода почему-то села, напор ослабел, и мельница часто останавливалась. Только к утру кончили помол, расплатились с Харитонычем и поехали домой.

— Что так долго? — спросила бабушка, встречая нас у двора. — Уж не на ков ли молотили?

Я открыл рот, чтоб сказать правду, но вспомнил наказ деда, и правда обернулась ложью.

— Нет, нет, что ты! Разве мы бы согласились? Харитонич на прошлой неделе ковал. А задержались — воды не было.

— Вот повезло нам, — обрадовалась мать. — Я-то думала: не едут и не едут, значит — Харитонич кует.

Бабушка ахала, что мы намаялись, не спали ночь, помогла выпрячь Буланка. Муку ссыпали в старые кадки, стоявшие в завозне: она была мелкая, сухая, душистая. Бабушка попробовала ее на язык, нагребла в дуплянку, пошла творить квашню. Ей хотелось поскорее накормить семью новым хлебом.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На краю деревни, у косогора, стояла приземистая, с прогнившей тесовой крышей изба Симона Пудовкина. Рыжий Симон был невысокого роста, узкогрудый, кривоногий, ленивый на работу, тащил из дому, что можно, и пропивал. Жена его Катерина отличалась дородностью, красотою и чуть не каждый год аккурратно рожала двойняшек: одни умирали, другие выживали, но в избе всегда было полно рыжих в отца, веснушчатых, крикливых симонят.

Соседи, глядя на богатый приплод Симонихи, качали головами.

— И откуда что берется? Мужичка твоего былинкой перешибить можно, а гляди, как горазд: все двойняшки да двойняшки.

— Сама дивлюсь, — говорила Катерина. — Передохнуть не дает! Только разгрузусь, опять понесла. Наказанье с таким гораздым!

В то утро, когда мы приехали с мельницы, Симон мучился похмельем, выпрашивал у жены четвертак на сороковку. Он знал, что деньги есть: накануне Катерина продала две сотни яиц. Однако в четвертаке ему было решительно отказано. Симониха отправилась

с двумя старшими девочками драть мох, чтоб проконопатить к зиме избу. Симон вздумал наказать непокорную жену. Он сбежал в деревню Никитята, продал по дешевке братьям Губиным баню на слом, получил деньги, уехал с Емельяном Мизгиревым пьянствовать в Ивановку.

Братья Губины — здоровенные мужики, сажень в плечах — вмиг раскатали баню, стали укладывать на телеги. Симониха вернулась домой и обомлела. Сперва она подумала, что видит разбой среди бела дня. Потом завопила на всю деревню: продавец не в своем уме, а покупщики — бессовестные злодеи. Симонята голосили:

— Дяденьки, вы куда нашу баню повезли?

Катерина сделала отчаянную попытку свалить с телеги бревна и доски. Братья Губины оттолкнули ее. На шум сбежались соседи. Но что можно сделать, если хозяин продал свое движимое имущество и при свидетелях получил деньги? Баню увезли.

Дед и бабушка осуждали Симона, жалели Катерину, ребятишек: «Как они без бани жить будут?» Мать говорила: таких запивох, как Симон, следует по решению схода сечь березовыми прутьями при всем народе. Дед объяснил: ныне сход не может никого пороть — не прежние времена.

— А ежели Пудовкин семью губит? — напирала мать. — И нет управы? Что же Симонихе делать?

— Терпеть, — сердито буркнул дед и тут же добавил: — Скажи Катерине: пусть топят нашу баню и моет своих двойняшек, когда нужно.

Продажа Симоном бани почему-то показалась мне смешной, захотелось написать веселые стихи. Я сел к столу, открыл старую ученическую тетрадь, где было много чистых страниц, и карандаш бойко забегал по графленой бумаге. Строчки рождались легко, будто давно созрели в голове и только ждали подходящего случая. Начиналась поэма о бане так:

Симон баню продает,
Симониха не дает.
Симонята все пищат,
Под гору баню тащат.

Я прочел написанное, остался доволен. Казалось, сочиненное мною не хуже того, что мы читали в школьной хрестоматии. Главное, мои стихи — чистая правда!

Рука раззудилась, голова горела, хотелось еще писать, но я не знал, за что взяться.

Бабушка пошла в огород, вернулась расстроенная. Ночью кто-то ободрал кору с липы. Дерево было особенное, заветное. Бабушка посадила его в день своей свадьбы и загадала: приживется липа, пойдет в рост, семейная жизнь будет счастливой. Она поливала деревцо, окапывала, уваживала кругом землю. Липа росла, крепла, стала могучим деревом с широчайшей кроной. Летом, в жаркие дни, мы выносили под липу стол, пили там чай, обедали. Теперь конец липе! Раздетая догола, она посохнет...

— Какому это разбойнику нужна кора? — говорила бабушка. — Ведь лес-то почти рядом, иди туда, хапай, сколько надо. Да скажи он, подлый, я бы сама пошла, надрала ему целую охапку. Так нет, лезет в чужой огород!

— Небось Емеле лыки на лапти понадобились, — намекнул дед. — Наверно, его работа. Безголовый человек!

— Он, он, — подтвердила мать. — Кто другой решится?

Емельян Мизгирев — коновал и пьянчуга — был под стать Симону Пудовкину. Он не имел ни сапог, ни валенок, зимою и летом ходил в лаптях, да еще доказывал, что лапоть куда лучше сапога: «Вода зайдет и сразу выйдет, а сапогом зачерпнешь — целый день хлюпает!»

Живо представилась мне картина: ивановский трактир, пьяный Емеля пляшет в новых лаптях. Входит бабушка, по запаху узнает, что лапти из лык ее липы, замертво падает на пол. И опять рука моя потянулась к карандашу: в тетрадке появились веселые стихи о лаптях.

Вечером бабушка натопила печь, испекла хлеб, дала мне румяный, пышный каравай, велела отнести учителю.

— Хоть не учишься больше, но Всеволода Евгенье-

вича забывать не след, — сказала она. — Пусть попробует хлебец нынешнего урожая.

Я понес горячий каравай учителю, захватил тетрадь со стихами. Всеволод Евгеньевич взял нож, отрезал горбушку, съел небольшой кусочек и нашел хлеб совершенно превосходным.

— Хлеб! — сказал он и задумался. — Я тоже, представь, мечтал когда-то возделывать поля своими руками, вкушать собственный хлеб. Давно было, годов тридцать назад, и не я один был помешан на этом. Интеллигенты-разночинцы толпами хлынули в народ, хотели опроститься, жить своим трудом, осваивали хлебопашество, кузнечное, столярное, портновское ремесло и многое иное. Мы не понимали, что это блажь и юродство. Если человек получает высшее образование и затем становится кузнецом, он — преступник перед народом, особенно в такой стране, как Россия, где мало интеллигенции. Не скучно слушать?

— Нет, нет, — сказал я торопливо. — Говорите, говорите!

— Конечно, мы шли в деревню не только для того, чтобы опроститься, сбежать из лагеря тунеядцев, от ликующих, праздно болтающих. Нет! Была и другая цель. Но и этой цели мы не достигли. Крестьянство оказалось не той общественной силой, которую мы искали. Мы ратовали за помощь бедняку, но разбогатевший бедняк становится деревенским кулаком, как ваш староста Семен Потапыч, а кулак может стать подрядчиком, фабрикантом, лавочником. Это закон жизни. Когда я понял это, меня охватил ужас. Ясно ли выражаюсь?

— Ясно, Всеволод Евгеньевич.

— И не я один смутился, наблюдая деревенскую жизнь, — продолжал учитель. — Вот жаль, нет под рукою Глеба Успенского, я дал бы почитать. Это был честнейший художник, влюбленный в деревню, в народ, и он написал страшный рассказ «Взбрело в башку». Герой, крестьянин Иван Алифанов, чуть-чуть разбогател в урожайный год. Что же получилось? Зимою у Алифанова завелся досуг, на досуге возникли разные мысли. Додумался пожилой человек до того,

что в молодости он допустил ошибку: женился не на той. И загрызла Ивана тоска, начал он пить, в пьяном виде обморозил руки. Погиб человек от временной зажиточности, от досуга! Мораль-то какова же? Не надо облегчать мужику жизнь. Чем хуже ему живется, тем лучше; власть земли давит народ, но в этом его счастье, спасение!

Учитель говорил взволнованно, слова были прозрачны, но теперь мысль его куда-то ускользала, словно окутывалась туманом. Я был мужицкий сын, чувствовал себя мужиком, знал твердо, что предстоит жить и работать в деревне, и обидно было слушать разговор о незадачливой мужицкой судьбе, которую невозможно изменить. Я смутно улавливал неправду в рассказе Успенского, в словах учителя, но в чем состоит неправда, выразить не мог.

— А если бы не затосковал, не запил Иван Алифанов?

— Чудак ты, — усмехнулся Всеволод Евгеньевич. — Как ему не тосковать, как не пить? Возьми свою деревню. Много трезвенников? Кто не пьет? Ну-ка, назови!

Что я мог ответить? Стало еще тяжелее от мысли, что мужик неисправим, нет ему спасения: либо в кулаки выйдет, либо сопьется.

— Водку запретить, и все! — сказал я, желая хоть немного поколебать и рассеять туман.

— Запретить нельзя, в малых дозах она полезна, — ответил учитель. — У нас пить не умеют. Пьянство надо чем-то вытеснить. Вопрос трудный. Почему Иван Алифанов очутился в кабаке? Почему ходят в казенку, к пивоваркам Симон Пудовкин, Емельян Мизгирев, твой отец? Некуда больше идти! Водку можно вытеснить культурой. Нужны книги, клубы, театры, возвышающая музыка, другой быт. А кто это даст деревне? Где такой благодетель?

— Что же делать?

Он встал, прошелся по комнате, посмотрел на меня в упор.

— Это я скажу позднее. Вот чуточку подрастешь — скажу.

Ждать не хотелось. Ведь он старик, больной чело-

век, может нынче-завтра умереть, не успев сказать самое главное. Кто откроет без него тайну?

Надо было добиваться ответа.

— Я же почти взрослый, Всеволод Евгеньевич!

Он улыбнулся.

— Да, вытягиваешься, растешь, а я старею. Жизнь идет, несмотря ни на что, идет, и ничем, ничем не остановишь. Ах, как хорошо, что жизнь все-таки идет!

Он умолк, задумался, и стало ясно: ответа не будет. Надо уходить. Я достал из кармана тетрадь.

— Вот сочинил стихи, посмотрите: все чистая правда.

— Стихи? Любопытно.

Он прочел оба стишка, посмотрел на меня чужим взглядом.

— Кто ты есть, Матвей?

— Человек.

— А стихи писал негодяй! Да, да! Шутовские стихи в плясовом ритме. Чудесная вещь — смех. Только ты смеешься над тем, что грешно осмеивать. Говоришь, чистая правда? Где же она? В том, что продана баня и дурным человеком содрана кора на заветной липе. Это факты, голые факты. Поэзия же — отбор, освещение фактов и мысль, навеянная фактами. И вот: правда, освещенная тобою, хуже всякой кривды. Ты потешаешься над чужою бедой, даже над тем, что Симониха рождает двойняшек. Дурное зубоскальство! Ужасные стихи!

Я еще никогда не видел учителя в таком возбуждении. Он ходил по комнате торопливыми шагами, выбрасывал гневные слова, щеки у него покрылись румянцем, губы дрожали.

— Это и моя вина, — сказал он. — Значит, худо наставлял. Ты знаешь, что такое поэзия, в чем призвание поэта? Слушай!

Он стал на память читать стихи. Это было не то, что мы слышали в классе, записывали в тетрадки, разучивали по школьной программе.

Учитель стоял у стены, слегка покачиваясь, разрубая руками воздух, голос гудел сильно и резко. Он всегда читал хорошо, но теперь, казалось, строчки

стихов огнем льются из его сердца, заполняют комнату. Петр Первый как божия гроза, раненый шведский король Карл в качалке, отважные солдаты Бородина, некрасовские мужики с котомками, пустившиеся на поиски счастливого человека, — все зримо вставало перед глазами, надвигалось, как живое, и у меня шевелились волосы на голове.

— Вот поэзия! — сказал учитель и неловко улыбнулся.

Он сел на кровать, закурил папиросу, сдержанно добавил:

— Поэзия есть благородство мысли, красота и сила чувства, ненависть ко всему гадкому и пакостному, любовь к страдающему, обиженному человеку. Чтоб стать поэтом, надо понюхать жизнь, самому пострадать, многое понять. Поэт прежде всего — большой, многогранный человек. Запомни, пожалуйста.

Я опустил голову. Было стыдно и больно. Как мог я, не подумавши, написать вздор, назвать его стихами, принести на суд учителю?

Всеволод Евгеньевич погладил меня по голове.

— За хлеб еще раз покорнейше благодарю, а стихи порицаю, писать не советую. Вообще способности у тебя заметны. Может, со временем напишешь что-то дельное. Но пока нет ни верных мыслей, ни языка, ни чувства ритма. Надо учиться, учиться и учиться. Талант без науки — все равно что необъезженный конь. Что в нем проку?

Он опять помолчал, что-то обдумывая, наморщив лоб.

— И надо еще семь раз примерить талант, — заговорил он спокойно и негромко. — Есть он вообще? Какого объема? Стоит ли его развивать? Один известный писатель, обращаясь к молодым собратам, говорит: «Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал». Я с этим положительно не могу согласиться. Что значит маленькая собачка в поэзии? Это — посредственность. Можно быть посредственным учителем, инженером, доктором, сапож-

ником, парикмахером, но посредственным писателем быть нельзя! Пиши только хорошо или складывай перо. Средненькие стихи, — а их печатается ныне тьматмущая — живут один день. Нужно ли писать однодневки? Я в молодости тоже кропал вирши. Получалось грамотно, гладко, кое-что было напечатано в журналах. Но скоро я понял, что не дано мне «глаголом жечь сердца людей», и бросил писать. Подумай обо всем, что говорю...

Я ушел подавленный, но не обиженный. Всеволод Евгеньевич прав.

С того дня не поднималась рука писать, хотя и подступали порою разные мысли, просились на бумагу. Я отгонял эти мысли, как наваждение.

Да и учиться было некогда: все больше и больше впрягали в работу по хозяйству.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дед сказал:

— Жать, косить, боронить, молотить умеешь, значит — пора учить пахать. На Кривой кулиге надо бы поднять зябь. Ты готов потрудиться над землей-матушкой?

Я согласился: пахать так пахать. Колюньку Нифонтова еще летом заставляли поднимать пары. Чем я хуже Колюньки?

Плуг на колесах имел только староста Семен Потапыч. Остальные кочетовцы ковыряли землю деревянными сохами или сабанами. У нас был сабан — улучшенная соха с железным лемехом и железным, сверкающим, как зеркало, отвалом.

Запрягли Буланка в сабан, выехали на поле. Дед показал, откуда начинать борозду. Я взялся за выгнутые деревянные держакки. Буланко ровно тянул постромки, лемех с хрустом резал и отваливал пласт жирного суглинка, проросшего белыми кореньями трав. Дед шагал сзади, следил за мною, покрикивал:

— Широко берешь! Узко! Огрех! Держи так! Молодец! Опять огрех!

Слова подхлестывали, сбивали с толку, горячили. Я нажимал на держак, встряхивал станину, хотел изменить ход. Нужна большая сноровка владеть сабаном. Он все время юлит: то выскакивает из борозды, то зарывается вглубь, то задирает нос лемеха кверху. Было какое-то злое непокорство в старом, обтертом сабане. Он казался живым и капризным.

— Врешь, одолею! — шептал я про себя. — Будет по-моему!

А он юлил да юлил по-своему. В конце борозды дед остановил Буланка, подтянул чересседельник, оглобли поднялись, лемех перестал резать подпахотный слой, и сабан сделался послушнее.

— Чересседельник всему голова, — наставлял дед. — Следи за ним. Мелко берешь — отпусти, глубоко — подтягивай. Не направишь, сам намаешься, да и вспашешь, как попов работник. Подзол снизу — боже упаси выворачивать! Сорняк забьет поле.

На поворотах приходилось поднимать сабан. Не хватало сил. Руки немели, тыкался в землю лемех. Дед подбегал, поддерживал станину.

— Неправильно делаешь, — сказал он, приглядевшись к моим разворотам у поперечной межи. — Силенок у тебя достаточно. Беда в том, что держишь сабан на весу. Этак и могучему человеку не справиться. Прижимайся вплотную, иди прямо, держак бери за кисти.

Он показывал, как это делать, и я скоро понял — надо брать не силой, умением. Все же работа была не легкая...

Когда допахивали полоску, я едва волочил ноги, дышал тяжело, рябило в глазах. Досталось и Буланку: он опустил голову, сбавил шаг.

— Земля крепкая, — успокаивал дед. — Скот утоптал, да и кореньев много. На других полосах будет легче, вот увидишь.

Дед был доволен моим первым выездом на пахоту. Он сказал, что к весеннему севу на меня можно будет положиться. Отец опять вряд ли останется дома. Деду же в апреле и мае надо заниматься охотой. Если я осилю вспашку, дед подработает на рыбе и пролетной птице.

Он разговаривал со мною ласково, как с равным, не приказывал, а будто советовался, прикидывал, как лучше устроить, чтоб семья жила в довольстве, и я ответил: так оно и будет — вспашу, бабушка посеет, он может охотиться сколько угодно.

— Об охоте не думаешь? — он пытливо посмотрел на меня. — Может, вдвоем станем промышлять? Пахоты да бороньбы на две недели, а охота по весне идет целый месяц.

Я опять вспомнил травлю Мишутки, убитых собак.

— Нет, нет! Уж лучше пахать и хозяйничать. Лесовать нисколько не тянет.

— Ну ладно, — с огорчением сказал дед. — Я так молвил, к слову пришлось.

Вечером я встретил на улице Всеволода Евгеньевича. Он увидел мои ладони в сплошных водяных мозолях, нахмурился.

— Боже, что у тебя с руками?

— Учился пахать сабаном.

Он покачал головой.

— Какой ужас! Это же каторга. Но твоё поколение, Матвей, отбывает каторгу последним. Факт весьма отрядный, утешительный.

Я спросил, почему он так думает.

— Не думаю, а совершенно убежден, — сказал учитель. — Россией правят чиновники-казнокрады, малограмотные купчишки, жандармы, промотавшиеся помещики, а над ними — серенький, глупый царь, какого не знала еще история. Не умеют вести государственный корабль. Все идет через пень-колоду, на тормозах. Власть о народе не заботится. Но через полсотни лет перевернется жизнь, люди сметут все, что мешает идти вперед. Чудесные машины, сделанные рабочими руками, придут на поля, вытеснят допотопные сохи, сабаны, даже конные плуги, заменят собою пахарей, таких, как ты. Машина будет пахать, сеять, боронить, косить траву, жать, молотить хлеб, дергать лен, корчевать пни. Настанет золотой век электричества. Внуки твои прочтут книжку о сабане, увидят деревянную соху в краеведческом музее и усомнятся: да было ли такое? Не дурная ли сказка?

Он помолчал, с сожалением произнес:

— Мне-то не дожить до этих времен. Ты доживешь, увидишь своими глазами. Завидую тебе, Матвей!

— Но зачем ждать полсотни лет? Нельзя ли перевернуть поскорее?

Всеволод Евгеньевич усмехнулся.

— Друг мой, история имеет свои законы, все приходит своим чередом, как весна и зима в природе. Созревание яблок в саду невозможно ускорить с помощью керосиновой лампы. Ты когда-нибудь поймешь эту премудрость. Будь здоров, пахарь, иди отдыхай!

Он ласково кивнул, зашагал к школе, покашливая на ходу и опираясь на суковатую палку. Я стоял и думал о жизни, которая наступит через пятьдесят лет. Хорошо! Но ведь я буду тогда стариком, как мой дед, только-только взгляну на прекрасную жизнь, и придется умирать. Как горько стало от этой мысли! Уж лучше помолчал бы Всеволод Евгеньевич.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всей семьей мы пошли резать валежник на дрова. Тайге в наших местах нет конца-краю, и охраны почти нет никакой, хотя считается все кругом вотчиной графа Строганова, однако исстари заведено беречь лес, и ни один разумный человек не свалит здоровую елку или березу на топливо.

Помню, я читал как-то дома вслух книгу, принесенную из школы. В книге было сказано, что на Волге мужики «роняют» двухсотлетний дуб, чтоб сделать оглоблю или ось.

Дед страшно возмутился.

— Нет мужиков таких на свете! — сказал он. — Ни за что не поверю. Брешет писатель!

И не стал дальше слушать чтение.

Летом временами налетал сильный ветер, старые деревья выворачивало с корнем. Много было валежника, если ураган приходил после затяжного ливня, — намокшая земля не держала корней.

Едва стихал ураган, мужики бросали всякие дела,

бежали в лес. В сенокос и страду пилить дрова некогда, валежины только пятнали топором. Пятно было все равно как столб, поставленный старателем на золотой россыпи. Каждая семья имела свое пятно: у дяди Нифонта — две прямые зарубки, у тетки Ларионихи — две косые, у нас — две косые, в середине прямая.

Случалось, хозяин забывал или не находил отмеченные им валежины, и они годами оставались никем не тронутые, гнили на земле.

В эти дни наших коров доила и выпускала на пастбище Палага Лариониха. Уходя со двора, мы оставляли собак на привязи. Урма видела, что дед идет куда-то без ружья, значит не на промысел, сидела спокойно. Пестря вопил, захлебывался, пытался порвать ошейник, бежать за нами. Дед одобрительно смеялся.

— Знатная собака выйдет из Пестри, — говорил он. — Ишь, какой непоседа; ишь, беснуется. Азарту — хоть отбавляй.

Бабушка работала на пару с матерью, я — с дедом. Сперва обрубали сучья, резали дерево на трехаршинные кряжи, снимали топорами кору, потом ставили кряжи к выворотню для просушки.

Валежины приходилось пилить внаклон, даже на коленях. Пилу часто зажимало, дергали ручки изо всех сил. К вечеру все уставали, болела поясница, сводило ноги.

Перед тем как начать разделку, дед обстукивал дерево обухом. Иногда звук был глухой или какой-то хрипло дребезжащий: внутри гнилье либо дупло. Дед сокрушенно качал головой, стесывал зарубки. Это означало — отказываемся от валежины, и все хорошие люди могут ею пользоваться, если у них нет выбора.

Попадались деревья-великаны, твердые, как кость. Зубья пилы отскакивали, звенели, скрежетали на поверхности. Дед, рассердившись, брался за топор, вырубал узкую щель. Пила надсадно повизгивала в бороздке, на землю сыпались опилки, похожие на ржаную муку.

Легче разделявать пихту: пила входила в нее свободно и просто, как в примятый лыжами снег. Но это

дерево горит с веселым треском, кидает в стороны множество искр, скоро сгорает, дает мало тепла.

Дед часто устраивал перекур. Мы тоже садились отдохнуть. Мать была то задумчива, то внезапно оживлялась, вспоминала отца.

— Где-то наш Алексей Спиридоныч? — говорила она, и сдержанная улыбка пробежала по ее лицу. — Может, короб золота несет, и мы теперь богачи, не надо ни дров, ни хлеба запасать — все будет готовенькое.

— Подарков накупил, гостинцев разных! — поддакивала бабушка. — В сундуках не вместится! А деду — ружье с золотой насечкой! Ах, боже ж мой, какая жизнь начнется!

Обе шутили, но в шутках матери было затаенное желание: «Пусть выйдет все, как я загадала». Очень ей хотелось разбогатеть.

Изредка доносились голоса лаек. Кто-то постреливал в лесу. Дед прислушивался, мрачнел, брови у него шевелились.

— Хапуги двинулись на промысел.

Он вскидывал на меня глаза, наставительно говорил:

— Станешь охотником — за хапугами не гонись. Белка еще не выкунела, у нее на хребте только-только серая ость пробивается, а они лесуют: хлоп да хлоп! Верно, возьмут по чернотропу много, да толку что? Шкурки за полцены пойдут. И все жадность. Скудный умом человечешка хочет пораньше тайгу облазить, захватить побольше, и невдогад ему, что и людям и себе вредит.

Я сказал, что не хочу быть охотником.

— Будешь иль не будешь — время покажет, — ответил дед. — А я должен учить загодя. Иные еще вот лисиц промышляют в феврале, когда у зверей баловство начинается. Становится охотник на лыжи, сослеживает лисью свадьбу. За самкой бегают два, три, а то и пять женихов. Самка — впереди. Охотник, не таясь, катит наперехват. Женихи видят человека, разбегаются кто куда. А он лису гонит дальше и дальше. Потом садится в укрытое место, ждет. Же-

нихи ворочаются на след подружки. Жадный человек всех до одного перебьет, а лиса останется без приплоду. Не охота — разбой! Надо же думать о людях, коим после жить доведется. Ничего не оставим — что про нас подумают? Запоминай все. Умру, некому учить будет.

Я напомнил деду, что слышал от него это много раз.

— Ну так что? — не смутился дед. — Путное слово можно повторить, чтоб лучше запомнилось, а глупое слово и один раз молвить грешно.

Он опять заговорил об охоте.

До чего же непонятный старик! Ведь знает — не собираюсь промышлять, а рассуждает так, словно дело решено и я завтра возьмусь за ружье.

Когда нарезали достаточно кряжей, собрались домой, я вспомнил про учителя. Мужики валят заботу о школе друг на друга или подвозят гнилой пихтач, водянистый осинник. Изба у Всеволода Евгеньевича холодная, зимою он мерзнет, а выругать ленивых мужиков не умеет.

Я намекнул, что не мешало бы распилить дерево для учителя.

Мать сразу взъелась.

— Это чего ради? У нас в школу теперь ходить некому. Чьи дети учатся, тот пусть дрова готовит.

— Одну-то валежину можно, — сказала бабушка. — Душевный он человек, Всеволод Евгеньевич. Матвейку нашего любит, уму-разуму наставляет. Давайте распилим бревешко, руки не отвалятся.

Дед согласился. Мать обозвала нас благодетелями, ушла домой. Глядя ей вслед, бабушка сказала:

— Сноха ничего, работающая, а понятия у ней мало, дальше носу не видит. Не артельный человек. Эх-ма!

— Без нее обойдемся, — сухо ответил дед.

Мы выбрали ель в обхват толщиной, нарезали восемь здоровенных кряжей. Я сделал топором особые метки на этих кряжах, и на душе стало светло. Радовала мысль, что учитель, может быть, вспомнит обо мне, когда сухие дрова запылают в его камельке в студеный зимний вечер. Обязательно вспомнит!

Дед присел покурить. Бабушка долго молчала, о чем-то задумавшись.

— А что, Демьяныч, не заготовить ли нам домовины? — сказала она тихо и просто, словно речь шла о каких-то пустяках.

Я вздрогнул. У кочетовских стариков и старух была привычка заранее готовить себе домовину — гроб. Мне никогда и в голову не приходило, что дед и бабушка могут умереть и что день этот, возможно, не так уж далек.

— Есть о чем думать, — небрежно сказал дед. — У нас три сына, внуки растут. Неужто похоронить не смогут? И не знаю, как ты, а я до ста годов проживу. Пока смерть меня найдет, домовину черви источат.

— Как хочешь, — кротко ответила бабушка. — Все под богом ходим, и я за себя не ручаюсь. Мирское твори, а к смерти гребь. Ты уважь, сделай милость.

Дед спорить больше не стал. Мы пошли искать для бабушки дерево. В лесу было много старых лип. Дед обстукивал их топором, долго выбирал и наконец остановился против толстой, совершенно сухой липы с гладким, прямым, как свеча, стволом.

Мы подрезали дерево пилою, и оно с гулким стуком рухнуло на поляну. Нутро у дерева было совершенно пустое, стенки же дупла — тонки, но прочны. Дед снял мерку с бабушки, по мерке отпилили кряж. Затем топором и деревянными клиньями раскололи дупло на две части; одна часть была лишняя, незачем тащить ее в деревню.

Домовина понравилась бабушке.

— Спасибо, Демьяныч, уважил, — сказала она. — Хорошо будет лежать в этой липке, тепло и сухо.

— Зря надумала, — сказал дед. — Еще в самом деле накаркаешь! На тот свет нечего спешить.

— Ничего не зря, Демьяныч, все так делают. От конца не спрячешься. Да и то молвить: кабы люди не мерли, земле бы не снести.

Она ласково взглянула на деда, улыбка скрасила ее сухое, утомленное лицо.

— А хорошо я прожила с тобой, Демьяныч. У дру-

гих баб косточки целой нет: мужьями биты-колочены, мордованы да увечены. У нас были лады и нелады — у кого их нет? Сколь я претерпела от твоей слабости к водке — один бог знает... Но ты берег меня, ни разу не побил, черным словом не обругал, и за то земной поклон тебе, супруг мой желанный!

Она низко поклонилась деду. Он смутился и заморгал.

— Да полно, старуха! Что ты? Вот накатило... Матвея насмешим.

— Ничего смешного нет, — сказала бабушка. — Пусть малый смотрит, слушает мои слова. Ему тоже доведется с женою жить. Я хочу, чтоб он с тебя пример взял.

На руках вынесли бабушкину домовину к дороге и поставили под большой сосной. Дед сказал, что завтра съездит за нею на телеге.

После слов, сказанных бабушкой в лесу, невозможно было разговаривать о мелких житейских делах, и мы до самой деревни шли молча. Дед время от времени как-то значительно кряхтел, будто нес на плечах тяжелую ношу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Кочетах не было пастуха, потому что человек не в силах смотреть за скотом в густой, едва проходимой тайге. Животные каждой семьи ходили маленьким стадом, паслись отдельно от других таких же стад. Телята-годовички, коровы-нетели, овцы, свиньи, жеребята выпускались на волю ранней весной, шатались в лесах до поздней осени. По первому снегу их загоняли домой. Иных гуляк находили далеко-далеко от деревни.

За лето молодняк подрастал, отъедался и до того дичал, что трудно было с ним управиться. Множество хлопот доставляли беспородные свиньи, остромордые и клыкастые, как всамделишные дикари. Случалось, пригнанные к деревенской околице, они вдруг поворачивали за своим вожаком — старой свиньей или матерым кабаном-секачом — и, свирепо хрюкая, мчались

ойтѣ в лѣс, и только с помощью умных собак удавалось загнать свиное семейство во двор на зимовку.

Дойные коровы отличались более тихим нравом, паслись невдалеке, утром сами шли в деревню на дойку и отдых. Бабы поили коров болтушкой, давали ломти хлеба, посыпанные крупной солью: самая скупая хозяйка становилась щедрой — иначе останешься без молока.

Иногда коровы тоже забывали дорогу домой. Крупным животным на шею привязывалось большое клепало — колокол, мелкоте надевали маленькие клепальца, или колокольчики, — певучий звон железа и меди с утра до вечера наполнял тайгу. По звону хозяйка находили своих коров.

Клепала и колокольца защищали скот от зверей: хищники редко нападают на животных с «музыкой». Отменные клепала изготовлял ивановский кузнец Никита Кудреватых. Брал он дорого, но славился мастерством. Каждое его клепало имело свой голос. Как этого достигал кузнец — тайна мастера.

У нас была Красуля — хитрая и жадная коровенка. Она всегда отбивалась от семейного стада, в поисках хорошей травы бродила далеко. Часто коровы приходили на дойку без Красули. Меня посылали на розыски. Я находил корову и быстро подгонял ее к дому. Дед хотел продать шатунью. Бабушка не соглашалась, потому что Красуля давала по ведру в сутки, молоко у нее было густое. Таких удоиных коров не было во всей деревне.

— Вырастим от Красули телушку, тогда и продадим, — говорила мать. — От нее поведем стадо.

А Красуля будто угадывала, что замышляют хозяйка, каждый год рожала бычков. Это всех огорчало.

— Статочное ли дело! — сетовала бабушка. — Заговоренная корова, что ли? Хоть бы один разок телку принесла.

В тот день мы пришли с заготовки дров рано. Тетка Пелагея сказала, что Красуля не была на дойке.

Я пошел на розыски. У меня был хороший слух, но я нигде не слышал знакомого звона клепала. Бывает, животные вязнут в трясинах. Я заглянул на топкое бо-

лото близ Полуденной. Красули не было и там. Я вернулся уже ночью. Бабушка забеспокоилась: не задрал ли ведерницу медведь? Звери чаще нападают на скот раннюю весной, когда, голодные, выходят из берлоги, и позднюю осенью, перед залеганием в берлогу, — нагуливают жир к зимней спячке.

Дед говорил, что к нашей Красуле с ее звонким клепалом подойдет лишь глухой зверь, а таких зверей мало. Значит, бояться нечего. Просто шалая корова поленилась идти в деревню.

Утром на розыски ушел дед. Он вернулся озабоченный и сердитый: Красулю в Крутом логу действительно задрал медведь.

— Всю съел? — спросила мать.

— В своем уме, Степанида? — дед презрительно фыркнул. — Можно ли слопать корову в один мах? Шею порвал, бок выел, а туша почти что вся цела.

— А ты — клепало, клепало! — поддразнила мать. — Испугался он твоего клепала.

Дед сказал, что клепала возле туши нет. Ремень почему-то оборвался, корова потеряла устрашающую зверя музыку и погибла.

Бабушке пришла мысль: остатки туши привезти домой, засолить на корм собакам, — чего ж пропадать добру?

— Не поедем! — решительно сказал дед. — Медведь еще придет на то место, и я его сказню. За такое потачки давать нельзя. У охотника скот резать! Шалишь, брат!

Старик зарядил фузею пульей, взял с собой доски, топор и ушел. Травля Мишутки, вызвавшая боль в моем сердце, не была охотой. Теперь предстояла настоящая охота. Дед один на один схватится с крупным зверем. Даже Урму не берет с собой, потому что в засаде собака — помеха. Это стоит посмотреть. Я крадучись потянулся за дедом. Он увидел на тропе впереди себя мою тень, оглянулся.

— Куда, малый?

— С тобой.

— Со мной? — усмехнулся он. — А кто говорил, что не хочет быть охотником?

— Я только поглядеть.

— Нельзя! — твердо сказал он. — Ужо в другой раз возьму. Вали домой!

Дед зашагал к лесу, больше не оглядываясь. Я смотрел ему вслед и желал одного: неудачи. Не взял меня с собою, — пусть не выстрелит фузея, пусть убежит раненый зверь, и он поймет, что нельзя обижать внука. Так вот я и помешал ему...

Ночью мы долго не спали. Бабушка вздыхала: не оплошал бы дед. Надо было взять на подмогу дядю Нифонта. Старик же упрям, хочет управиться один. А с медведем шутки плохи. Стрелять в темноте трудно. Долго ли до беды! Она встала перед божницей, молила богородицу и всех святых, чтоб помогли рабу божия Спиридону одолеть медведя. Смешно было слушать, как старуха доказывала угодникам, что медведь вредный, задрал самолучшую корову, и он должен понести кару.

Мать бранила деда. Старик пожалел хорошего ремня на ошейник Красуле или худо завязал концы. Его вина! Не оборвись проклятуший ремень, медведь не тронул бы корову. Дед вообще плохой хозяин, многое делает лениво, спустя рукава. И вот — потеряли корову, а ей цены нет! Такой ведерницы нам больше не видать.

Бабушке надоело ворчанье матери, и она сказала:

— Помолчи, Степаха! Думаешь, старик враг нашему дому? Грех да беда на кого не живет. Пере-терпим.

Дед не выходил из моей головы. Представлялось, что зверь подмял и терзает старика. Дед зовет на помощь, никто его не слышит, а я сижу в избе...

Вот когда пожалел я берданку, подаренную Даниле. Я бы зарядил свое ружье, помчался на выручку деда, и кто знает — может, поспел бы еще во-время!

Утром дед пришел невеселый. Медведь не явился доедать корову. То ли запах человека учуял, то ли сыт, где-нибудь дрыхнет в чашобе. Бабушка опять заговорила о том, чтоб съездить за тушей: солонины собакам на всю зиму хватит. А так что же — мясо растащат лисицы да волки.

— Молчать! — крикнул дед. — Как мною сказано, так будет. Не меньше понимаю. Три ночи просижу в Крутом логу, а свое достигну!

Я понял — он снова пойдет в засаду. Нет, его нельзя пускать одного! Мало ли что. Вечером я потихоньку выскользнул из избы, достал из-под навеса рогатину, с которой дед раньше ходил на берлогу, и ушел в Крутой лог. Труп Красули лежал на примятой траве. Рядом, на ветвистой елке, были полати, устроенные дедом.

Я по сучьям взобрался на полати, прислонил рогатину к стволу, глянул по сторонам. На увалах светло и мягко желтели кустарники. Кое-где между елок стояли рябины, похожие на огненные шатры. Тихо было в лесу. Дерево, на котором я сидел, было старое. От легкого ветерка оно покачивалось, скрипело, сыпало хвою.

На ближнюю рябину слетелся выводок рябчиков. Птицы бойко клевали, крошили спелые ягоды. Я кашлянул. Самка тревожно засвистела. Молодые, с красными бровками, наклонили головы, прижали крылья. Все смотрели, слушали. Должно быть, самка увидела меня, опять тихонько пискнула, и выводок снялся. Рябки расселись невдалеке. Я слышал возню на деревьях, где-то посвистывали старые петушки, молодые отзывались отрывисто и тонко, словно пробовали голос.

Дед пришел перед закатом. Фузея была у него за плечами, на поясе — топор. Старик, тяжело пыхтя, поднялся на полати.

— Ты? — сказал он злым шепотом. — Зачем тебя принесло? Да еще рогатину принес, охотник.

Я молчал.

— Слазы! Чтоб духу не было!

— Дедушка, я...

Он взял меня за шиворот и, наверно, спустил бы, но невдалеке хрустнула валежина, и пальцы, державшие мой воротник, разжались. Дед снял ружье, взвел курок, осмотрел пистон. Мы прислушались. Опять стало тихо кругом.

— Медведю еще рано, — прошептал дед. — Это рысь по валежине шаркнула: рябчиков ловит, подлая!

Он больше не ругался, не гнал с полатей, но по-сматривал хмуро.

— Кашлянешь или носом шмыгать начнешь, вниз головой сброшу! — погрозил он. — В самую пасть медведя. Понял?

Еще бы не понять! Я боялсядохнуть. Чудилось, медведь ходит где-то совсем близко, видит и слышит все. И, может быть, не один. Как знать, как знать...

Ветер к ночи утих. Стало свежо и росисто, бледные звезды мигали в далекой синеве. Тонко пахло рябиной, застывшей смолой, терпкими осенними травами. Мы поеживались в холодке и молчали.

Зверь пришел под утро. Я услышал внизу громкое чавканье. На поляну падала тень от деревьев, ничего нельзя разглядеть. Фузeya лежала стволом на сучке, давно готовая к выстрелу, приклад упирался в плечо деда. Я стиснул пальцами рогатину и ждал: вот сейчас, вот сейчас! Но ружье молчало. Ах, как долго тянулось молчание! Немели поджатые ноги, щекотало в носу. Я помнил угрозу деда, боялся чихнуть. Зверь в темноте рвал мясо, Красулькины кости похрустывали в медвежьих зубах.

Дед, оказывается, ждал, когда луна осветит поляну, — хотел ударить наверняка. Чуть-чуть наконец забрезжило, под елками посветлело. Медведь, как черная копна, шевелился и сопел.

Фузeya раскатисто ахнула, полати окутало дымом. Медведь взревел, подскочил к нашему дереву. Хрустнула кора под когтями, глухое рычанье приближалось.

— Матюха, лезь на вершину! — крикнул дед.

Я не мог двинуться с места: ноги не слушались. Дед приготовил топор. Близко мелькнула сквозь ветки широкая бурая голова с прижатыми ушами. Первым взмахом дед отрубил медведю лапу, вторым — ударил по черепу. Рывканье смолкло, и зверь, ломая сучья, рухнул к корням ели.

Дед зарядил фузеей, для верности еще послал пулю в лобастую, мелко вздрагивающую голову.

Заметно светлело небо, погасли звезды, проснулись рябчики, приступили к своим птичьим делам: свист раздавался то справа, то слева. С шумом пролетел

глухарь, опустился на берегу Полуденной — захотел попить студеной воды.

— Второй случай за мою жизнь, когда медведь на полати кидается, — сказал дед, набивая в трубку табак. — Бывало промахнешься или ранишь, без огляду бежит в крепь. А этот — вояка. Не будь топора, он бы показал...

Дед ласково потрепал меня по плечу.

— Ты что ж рогатину не пустил в ход?

— Забыл про нее.

— Как можно забыть? — в голосе его была легкая усмешка. — Экое орудие приготовил, а сидишь, как мертвый, на старика надеешься.

Взошло солнце. Лес ожил, все удивительно засверкало, позеленело вокруг. Мы спустились. Я прыгал, чтобы согреться, размять ноги. Дед тронул ногою вздувшийся бок зверя.

— Налопался, разбойник! Погулял, попировал в тайге, Михайло Иваныч, пора честь знать. Ел бы ягоду, травы-коренья да мурашей, не зарился на коров, — я бы рук на тебя не поднял. А стал баловать — крышка! На себя пеняй.

Он разговаривал с медведем, как с живым человеком: Это было непонятно, забавно, и я едва сдерживал смех.

— Испугался? — спросил дед. — Больше на охоту калачом не заманишь, а?

— И ничуть не страшно. В другой раз ты один-то не ходи. Вдвоем веселее. Рогатиной пырять буду, коли еще такое случится.

Я говорил чистую правду. Ночь, проведенная в за- саде, и схватка с медведем заставили по-иному взглянуть на трудное ремесло охотника. Дед — с его лесной мудростью и сметкой — опять вырос в моих глазах. Вспомнились медведи, рыси, волки, росомахи, убитые кочетовскими охотниками за последние годы. Что же будет, если не трогать зверей? Они до того расплодятся, что не дадут проходу ни людям, ни скоту. Значит, охотники — дельный, полезный народ. Это понятие укрепилось в голове, и я почувствовал, что нет для меня в жизни более широкой тропы, чем охотни-

чья. Мои прежние слова «не буду и не буду» казались детским лепетом.

Дед послал меня за лошадю. Сам он остался караулить добычу.

— Росомаха живо нагрянет, шкуру на медведе порвет, — говорил он. — Они, знаешь, какие, росомахи? Пакостнее на свете нет!

Я со всех ног пустился домой. Бабушка рубила в огороде капусту. Она увидела меня, запыхавшегося от бега, сильно испугалась.

— Что случилось, Матюша? Дедушка где? Ой, да не томи!

Я остановился, передохнул, вытер со лба пот и сказал:

— Запрягай Буланка в волокушу: мы медведя сказнили!

Шкуру медведя продали, из задней части приготовили окорок, подкопченный в бане, жарко натопленной ольховыми дровами, перед засолили в кадке. Бабушке хлопот с разделкой медвежьей туши было много, но она улыбалась довольной улыбкой и все повторяла:

— Отлились злодею Красулькины слезы, уж так-то я рада, так рада! Дедушка у нас молодец, а мы его еще отговаривали, несмышленные.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Дед прихворнул, не выходил из дому. Меня тянуло на охоту, но ружья не было, фузея — не по плечу, и я загрузил.

Дед достал вогульский лук, длинную стрелу с железным наконечником, подал мне.

— Вот, можешь охотиться. Осень едет на пегой кобыле, и глухари садятся на осину клевать кислый лист. Сшибай сидячих стрелой, а золотоискатели воротятся — начнешь промышлять с берданкой.

Утром я пошел к лесу. Сжатые полосы розовели еще в солнечном блеске, но солнце не грело, холодно сняло голубое небо в заречных далях. Вороны сидели

на березах и, кажется, думали: «Скоро зима, вот беда-то! Как жить будем?»»

Тишина была в поле, на озерах, в пойме реки. Изредка пролетали табунки хохлатой чернети. Утки летели молчаливо, не садились на кормежку к заливам.

Я свернул с дороги на гречишное поле, чтоб напрямик выйти к старым осинам на берегу Полуденной. Выводок серых куропаток с шумом и треском взлетел из-под моих ног. Дед не советовал стрелять из лука в лет, но разве удержится молодой охотник, когда дичь сама его дразнит? Я торопливо пустил стрелу, и она воткнулась в землю позади стайки. Птицы рассыпались по жнивью, как зерна, брошенные из ситева рукою деда. Самец-куропатич сел недалеко в борозду, застрекотал: «Кто такой? Кто такой? Не боюсь!»

Эх, будь запасная стрела... Я пошел на него. Он видел меня, стрекотал все злее и злее. Может, повреждено крыло, куропатич не в силах взлететь. Я снял шапку, чтоб накрыть стрекуна, и он легко взвился над жнивьем, полетел догонять табунок. Какой хитрец! Посмотрим, как он схитрит, когда выйду с берданкой.

Я поднял стрелу, вошел в лес. Ветра не было, и деревьев, не шелохнувшись, стояли в сумрачной тишине. Молчаливый лес немного пугает. Кажется, кругом нет живой души, но это обманчиво. Под каждым кустом таятся птицы, звери, наблюдают за мною.

Почему-то приходят на ум лешие, белые волки, оборотни из бабушкиных сказок. Всеволод Евгеньевич говорил, что это вздор, что нечистой силы нигде нет, и я знаю — он прав. Но вот очутился один в глухом лесу, и возникают разные мысли, и думаешь: а вдруг? И черный валун, обросший мхом, кажется чародеем, отдыхающим на таежной тропе. Что, если он встанет, отряхнет мох и сырую плесень, заговорит человеческим языком?

Немного страшновато, а надо идти, охотник должен быть смелым.

Вдруг лесная тишина взорвалась. Это дважды вздохнул и застонал сохатый. Я по голосу узнал — старик. Могучий рев наполнял тайгу, перекатами отдавался по отрогам, в горах.

Я слушал. Значит, еще не кончились у лосей свадьбы...

Едва смолк рев старика, отозвался молодой. Звери стонали, сближаясь. И как трубили! Какая сила звука!

Я пошел к сохатым. Блеклая трава мягко хрустела под ногами, росистые ветки осыпали мокретью. Заячишка-листопадник перебежал тропу, я даже не проводил его взглядом. Он так ничтожен в сравнении с тем, что я увижу!

Звери сошлись у подножия горы. Старик, большой, грузный, с двенадцатью концами на рогах, казался великаном. Молодой значительно меньше. Он легок и строен, шерсть у него светлее, на опаловой спине блестящий черный ремень. Этаким лесной щеголь.

Я смотрел с огорка, боясьдохнуть. Молодой первым кинулся в схватку. Старик поджидал его, стоя задом к сосне, светлопепельные ноги его были широко расставлены. Страшной силой веяло от старика, и я пожалел черноспинника: напрасно лезет на великана...

Удары рогов следуют один за другим. Звери бьются жестоко. Рядом комолая, лопухая самка. Она ждет конца битвы.

Старик — опытный боец. Он берег силы, спокойно отражал удары, и только густая желтоватая пена, стекающая с губ, выдавала его волнение.

Черноспинник наскакивал, словно играя. Старик ловко отбрасывал врага, ждал своей минуты. Он уничтожил, наверно, немало противников, знает приемы боя, верит — его минута придет. Все решится в какое-то одно мгновение. Пусть только выдохнется молодой!

Черноспинник ударил старика в лопатку, и тот упал на колени. А падать в битве нельзя. Молодой выгнул шею, крутым ударом прижал соперника к земле.

И все кончилось. Старик вытянулся, хакнул, словно прощаясь с лесом, и затих.

Черноспинник отходит, обнюхивает лосиху. Она, ласкаясь, облизывает алую кровь на его груди. Он стоит, очень довольный, счастливый. Видно, как от толчков сердца вздымаются потные бока.

Черноспинник вскидывает рога, трубит. Он оповещает жителей тайги о своей победе, вызывает на бой старых и молодых рогачей, желающих померяться силами. Издалека, со всех сторон, отзываются сохатые. Осенняя песня тайги звучит, то затихая, то нарастая.

Лосиха начинает щипать багряные листья осинки. Я подошел слишком близко. Черноспинник, должно быть, услышал запах человека. Он потянул ноздрями воздух, настороженно фыркнул.

Лосиха метнулась на взлобок, исчезла в ельнике. За нею убежал черноспинник.

Я пожалел старика сохатого, но «мертвец» медленно, с большим трудом, поднялся, прерывисто всхрапнул. Точеные ноги дрожали мелкой дрожью. Минуту или две он озирался, мотал рогами. Потом тихо зашагал в ельник, хакая на ходу, будто откашливаясь. Мне казалось, сохатый повторяет: «Вот дела! Вот дела!»

Я двинулся по склону хребта. Тишины не было. Кругом стонали сохатые. Опять доносились удары твердых рогов.

Глухарей много, далеко слышно, как они трясут ветки на осинах, обдирают закисший, тронутый утренниками лист. Но какие чуткие, сторожкие птицы! Скрадываю одну, другую, и ничего не выходит: они срываются с дерева, не подпускают на выстрел. Сколько неудач за утро! Можно потерять голову, пасть духом. Однако я помню слова деда: охотник, бывает, упустит девять случаев, а на десятом отыграется.

Охота скрадом не получалась, и я сел в густой папоротник возле двух старых осин: попробуем взять птиц из засады...

Медленно текло время. Казалось, дню нет конца. Под горою синела река, чайки с криком носились над водой, — их осталось немного, да скоро и эти улетят к теплу.

Дрема подступила ко мне, и тут, как сквозь сон, я услышал хлопанье крыльев. Старка и два молодых петуха опустились на дерево, под которым я лежал. Сперва они сидели молча, прислушивались, огляды-

вали ближние деревья. Потом глухарка подала голос, и птицы начали расхаживать по веткам, щипать лист.

Я отвел до отказа тетиву, пустил стрелу под крыло птицы, сидевшей ниже других. Глухарь комом упал к моим ногам. Он бился в траве, вытягивал шею. Остальные попрежнему шелушили квелый лист. Я стал вынимать стрелу, глухарка, должно быть, увидела меня, тревожно кокнула, и обе птицы улетели.

Я положил добычу в плетеный дедушкин ягдташ, спустился к реке и пошел берегом к дому. Над заводью кружились чайки, рассказывали о моей удаче: «Молодой охотник убил глухаря. У охотника верный глаз и стрела с железным наконечником. Берегитесь, птицы! Берегитесь, звери!» Может быть, чайки разговаривали совсем о другом, но мне слышалось то, что говорю.

Я останавливался, ощупывал глухаря в сетке. Какой тяжелый! Что в сравнении с ним куропатки-стрекухи, которых не догнала в поле моя стрела!

Тропа петляла крутым берегом, меж стволами сосен и берез, золотой лист шуршал под ногами, и я был так счастлив, что казалось — деревья и камни завидуют мне.

На тропе меня догнала Зинаида Сирота. Она шла с ружьем, несла глухаря и полный ягдташ рябчиков.

— И ты охотой завлекся? — спросила она, смеясь. — Нашего полку прибыло.

Я спросил, верно ли говорят, будто она медведя руками за горло душила.

— Побасенки! — гневно сказала Сирота. — Это Симон Пудовкин да Емельян Мизгирев про меня незнамо что плетут. А с медведем было так... Я белковала с Кучумом. Он берлогу нашел, облаял. Медведь молодой, двухлеток. Поднялся с лежки, а не выходит: высунул морду в чело, рычит на собаку. Я маленько испугалась, не хотела бить медведя. Но Кучума отозвать не могу. Пес ошалел, кидается на зверя, команды моей не слышит. А медведь уже лапой собаку норовит цапнуть. Думаю, порвет. Тут я набралась духу, заложила патрон с пулей, прицелилась в лоб медведю и ахнула. Он лег — ногой не дрыгнул.

— Ты все же молодец, — похвалил я Зинаиду. — Не всякий мог так сработать. И дичи добываешь много.

— Мне работать плохо нельзя, — сказала она. — Кто позаботится о сироте? Вот коплю деньги — рубить новую избу надо. В бабкиной хибаре жить невозможно, ложусь спать и думаю: а вдруг сегодня завалится, бревном придавит?

У опушки Сирота остановилась, махнула рукой.

— Иди, Матвейша, я подожду. А то увидят в деревне, что идем вместе, еще подумают — у нас шурымуры. Пересмешников хватит.

Я шел и думал о том, что Зинаида вовсе не такая задира и язва, как о ней говорят в Кочетах.

Дома я бросил ягдташ с глухарем на стол и сказал бабушке:

— Принимай добычу, Наталья Денисовна!

Она засуетилась, начала меня хвалить. Дед спрашивал, где я добыл глухаря, тоже хвалил мою сноровку: впервые вышел малый на промысел — и принес птицу.

А во мне проснулся охотник, и я не прочь был похвастать.

— Это что, — громко сказал я, — завтра двух принесу!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Возле нашей избы на поляне шла сходка. Обсуждали, кому и на каких озерах ловить рыбу зимой. Я сидел на завалинке, слушал взрослых. Верхом на каурой лошади подъехал незнакомый человек. Чужие заглядывали к нам редко, по особо важным делам. Значит, что-то случилось.

Приезжий спрыгнул с седла, привязал к тыну лошадь.

— Здорово, мужики! — звонко сказал он. — Вот вы где, черти! Насилу отыскал. В земстве говорят: «Есть деревня Кочеты. Даже школу там открыли». Ищу на карте — белое пятно. Вы на карту не занесены! Без учета существуете, а? Куда это годится? В наш-то просвещенный век!

Мужики переглянулись. Бойкие, насмешливые слова незнакомца настораживали. Карт, планов, переписей в Кочетах боялись. От земских статистиков бегали в тайгу, прятали скот. Всякая повестка, полученная из города, таила подвох, несла беду. Бывали бумаги на первый взгляд совсем безобидные, их подписывали, кто знал грамоту, кто не знал — ставил пером родовое пятно, как в лесу на валежинке, и вдруг оказывалось, что вреднее той бумажки на свете нет. И долго потом одураченные корили друг друга за темноту, смеялись сами над собой горьким смехом.

Приезжий завел разговор издалека: спрашивал, какой сеют хлеб, сколько собирают с десятины, разводят ли пчел, есть ли у кого на усадьбе плодовые деревья. Мужики отвечали коротко, неохотно, и каждый понимал, что главный разговор еще впереди, — за пустяками никто в кочетовские дебри не поедет.

— Какая до нас нужда? — осмелев, спросил дед. — Иль просто прибыл поглядеть на кочетовское житье-бытье?

— Есть нужда, — ответил приезжий. — Я уполномоченный окружной конторы его сиятельства графа Сергея Александровича Строганова. Деревня Кочеты стоит на графской земле.

— Слыхали, — отозвался дядя Нифонт. — Мы думали, что-нибудь новое привез.

— Леса, реки, озера, горы, недра земные, даже воздух, коим вы дышать изволите, все графское, — продолжал уполномоченный. — Вот об этом я прибыл потолковать.

— Что же, выселяться прикажешь? — спросил Тарас Кожин. — Может, в городе нам каменные хоромы граф приготовил?

— Нет, выселять не будем, — ответил уполномоченный. — Мы не злодеи. Пахотную землю, пастбища и покосы еще дед Сергея Александровича отдал крестьянам в вечное пользование, чтоб оживить эти дикие места, привлечь из России народ. Это как было, так и останется. Паши, сей, пожалуйста, собирай хоть два урожая в лето.

Мужики облегченно вздохнули, зашептались. Уполномоченный кашлянул, строго сказал:

— Об ином речь пойдет. В других местах давно порядок наведен, а до вас руки не доходили. Промышляете птицу и зверя без билета, бесплатно возите из лесу дрова, бревна.

— Валежник возим, — сказал дед. — Не подбери его во-время, все равно сгниет. На корню ни одной елки не рубим, сами бережем леса.

— Сгниет — не ваша забота, — ответил уполномоченный, глядя в упор на деда. — Лес граф никому не жаловал, у валежника хозяин есть. Отныне установим плату на дрова, хворост, строевые бревна для домов. Самовольно трогать ничего нельзя. Даже лыки драть воспрещается. Чтоб сплести дурацкий лапоть, коему в базарный день пятак цена, вы снимаете кору с огромной липы, дерево сохнет и гибнет. Этого не потерпим. Его сиятельство живут в Париже, а нам приказали собирать деньги. Билет на право охоты — два рубля в год. Кубическая сажень дров из валежника — два рубля.

— Насчет лаптя ты, господин уполномоченный, зря, — сказал Емельян Мизгирев. — Лапоть — обуток вольготный. Не нами заведено. Мне, ежели рассудить, без лаптя вовсе ходу нет.

Графский человек презрительно глянул на Мизгирева.

— Хватит, пощеголяли в лаптях! Сапоги носить будете.

Мужики прыснули смехом. Каждый старался перекричать соседа, и ничего нельзя было понять. Слова уполномоченного встревожили всех. Деда-прадеды жили здесь, в глухой таежной дыре, охотничали, рыбачили, пахали землю, выращивали скот, — считали все вокруг своим. Теперь объявился хозяин, проживающий в Париже, предъявляет «права». Как не шуметь!

— Помолчите, люди! — сказал дед, и все притихли. — Откуда взялся граф? Что он, сажал деревья, сеял траву, разводил зверя, птицу и рыбу?

— Разводил в чашке ложкой! — крикнул Симон Пудовкин. — На это графья мастаки. Еще к роднику

сторожа поставят да по копейке за ведро воды станут взыскивать. Дожили!

— А я, как сирота, тоже должна за все платить? — спросила Зинаида Филева.

Уполномоченный глянул на дюжую девку, скривил губы в улыбке.

— Какая сирота... С таких, как ты, берем в двойном размере.

Зинаида охнула, погрозила кулаком.

— Нет нашего согласия! — сказал дядя Нифонт. — Как, значит, было до сих пор, так останется.

— Не ершиться, мужики, — спокойно проговорил уполномоченный. — Я добрый, обижать никого не хочу. Но заартачитесь — прибегну к закону. Можем и недоимку за пятьдесят лет взыскать. Закон — вещь серьезная.

Мужики смутились. Староста Семен Потапыч стал уговаривать соседей подчиниться закону.

Дед шепнул мне в ухо:

— Беги за учителем, пусть разъяснит, какой это закон.

Я побежал в школу. Всеволод Евгеньевич выслушал меня и сказал:

— Нельзя мне идти, никак нельзя, брат. Я — человек якутский. За мной следят, подслушивают. Скажу на сходке два слова, это пойдет во все концы. В уезд донесется десять слов против графа, в губернию — двадцать слов против властей предержавших, в Петербург — сотня слов против царя. Можешь понять? Я стар, болен, не хочу помирать в Якутии. Так и скажи деду. Пусть извинит.

Я молчал. Всеволод Евгеньевич погладил мою голову.

— Я могу забыть свою старость, болезнь, отбросить страх перед якутской стужей и выйти на улицу с народом в одном случае, — сказал он, — если начнется большое дело. А тут что? Частность, мелкая стычка. Не пришло еще время для великих дел. Не готов народ.

Я видел, что уговаривать учителя бесполезно, повернулся и ушел. Сходка все еще шумела.

— Не даем согласия! — кричал Симон Пудовкин. — Не даем!

— Не даем! — еще громче отзывалась Зинаида Сирота.

— Староста! — позвал уполномоченный. — Скажи слово. Ты — власть.

— Я уж говорил ведь, — начал Семен Потапыч. — Али народ не знаешь, ваше благородие? У мужика язык не на привязи. Погалдим немного и согласимся. Будьте благонадежны.

— Гляди, — сухо сказал человек его сиятельства. — Ты первый в ответе. В бараний рог всех согну!

Лучше бы не поминать ему этот «бараний рог»... Зинаида Сирота выдернула из тына сырой ильмовый кол, бросилась на уполномоченного. Человек его сиятельства прыгнул в седло и поскакал, нахлестывая лошадь ременным темляком.

Все умолкли. В тишине слышался дробный цокот копыт, и клубилась пыль на дороге в Ивановку. Никто не расходился.

— Ты это, девка, зря колом-то пугнула, — сказал Тарас Кожин.

— А пусть не ездит! — ответила Сирота. — Нужны такие гости!

— И откуда его черт нанес? — сказал дядя Нифонт. — Сто годов деревня стоит, ничего такого не слышали. Теперь пожалуйста — платить! Дураков нашел.

Дед заговорил о том, что цена за охотничий билет не велика. Добыл на промысле десяток зимних белок — вот тебе и два рубля. Но покупать билет — несправедливо, обида охотникам. Птица и зверь — ничьи. Кто их добыл, тот пользуется.

— Как так? — подступал к нему Семен Потапыч. — А закон? Власть? От власти, как от бога, не скроешься. Ты, Спиридон, не муди людей. Бока чешутся, что ли? Заработаешь. Упреждаю как староста.

Дед насмешливо поклонился Семену Потапычу и пошел домой. Мужики тоже разошлись.

Вскоре уполномоченный прибыл с двумя стражниками. Дядю Нифонта, Симона Пудовкина и Зинаиду

Сироту, как «заядлых крикунов», увезли в волость, посадили в кутузку, продержали там неделю. Они вернулись присмирившие. Я спросил дядю Нифонта, бьют ли в холодной.

— Бить не бьют, а тошно, мочи нет, — ответил он. — Как это люди годами сидят в остроге — понять не могу. Я бы умер от скуки.

Опять была сходка, и деревенский мир постановил платить графским лесничим за все по установленной таксе. Староста Семен Потапыч клятвенно заверял уполномоченного, что сам будет наблюдать за порядком, никому не позволит охотиться без билетов и возить из лесу неоплаченные дрова.

Дед ходил сумрачный, редко улыбался. Порою долго сидел на лавке и думал. Он не подсчитывал, сколько придется отныне платить за все графу Строганову. Его поразила несправедливость самих поборов, и он никак не мог смириться.

— Графья завелись, — ворчал он, расхаживая по избе. — Начальники над зверем и птицей. Раньше купчишки обдирали. Соболь в городах по катеринке идет, а они за него четвертной билет суют, да еще ты благодарить должен. Теперь графьев ублажать. За что? Врете, нечистые духи! Мужик терпит, терпит, да как возьмется утюжить вашего брата!

К нам заглянул Всеволод Евгеньевич. Дед стал просить учителя составить жалобу губернатору.

— Напиши, пускай обуздает графьев, — говорил он. — Испокон веков наше все было. Народу и так не легко жить, а тут еще захребетник-дармоед объявился.

— Его сиятельство в Париже в карты проигрался или завел новую любовницу, денег ему не хватает, и он решил пополнить карман вашими рублями, — пошутил Всеволод Евгеньевич. — Надо ж посочувствовать графу. Все же тысячи мужиков. По десятке с души соберет — капитал!

Дед не понял шутки, надулся.

— Написать могу, но пользы не жди, — сказал серьезно учитель. — Губернатор с графом — одного поля чертополох. Закон в их руках.

— Закон? — вскипел дед. — Какой это к чертям

закон! А ежели царю прошение послать? Зря, мол, утесняют мужиков на Урале. Опору державы косят под корень. Может, одернет кого царь?

— Нет! — сказал учитель. — Царь — первый помещик в государстве. Что он, против себя пойдет?

Дед нахохлился, поджал губы.

— Значит, не от кого милости ждать? Грабят, да вят — молчи да терпи. Взять бы колье да всех, кто эти законы пишет, по шеям, по шеям!

Всеволод Евгеньевич улыбнулся, потряс деду руку.

— Верно судишь, охотник. Так оно и будет, так будет!

— Когда? — торопливо сказал дед.

— Этого не знаю, — ответил учитель. — Когда народ объединится, когда город и деревня выступят вместе, пойдут сплоченными рядами. А неподготовленная вспышка в одной деревне, даже в десятке деревень, ничего не даст. Сомнут, разгромят.

Дед слушал внимательно, лицо его напряглось.

— Да где ж нас объединишь, коли деревня от деревни отделена многими верстами? — задумчиво проговорил он. — Никак невозможно. Разве соберешь мужиков в одно место?

— Дело, конечно, не легкое, — подтвердил учитель. — Потому оно и затягивается. Однако развязка не за горами.

Когда Всеволод Евгеньевич ушел, дед сказал:

— Башковит человек, много знает, но, сдается, чего-то не договаривает. Остерегается, что ли? Как понимать «не за горами»? Надо еще бы с ним потолковать. Меня-то бояться нечего.

Вечером зашел Семен Потапыч.

— Как, Демьяныч? — спросил он. — Охотничий билет выправлять будешь? Все взяли, даже бельмастая Зинаидка. Черед за тобой.

— Да уж, видно, придется, — сухо сказал дед. — Доконали нашего брата.

— Ежели денег нет, могу кредитовать, — мягко проговорил Потапыч. — Зимой шкурками заплатишь. Деньги у меня в кубышке все равно без пользы лежат.

От кредита дед отказался, потому что «доброта»

Потапыча всем известна; меха он примет потом за поллены.

Староста получил деньги, выписал билет и сказал, что дрова, заготовленные в лесу, надо свезти на плотбище, где он произведет обмер, заклеит кряжи и будет собирать плату.

— Не по правде живешь, Семен! — в сердцах сказал дед. — Зря в графские дела путаешься. Ты бы к народу поближе...

— Кроме правды, есть закон, — важно ответил староста. — Откажусь, другой возьмется, еще больше сдерет. Я стану по-свойски дрова отпускать, без прижиму.

На другой день кочетовцы выехали возить дрова к плотбищу. На срезах оплаченных кряжей Потапыч ставил молотком отпускное клеймо: «ОГС» — отпущено графом Строгановым. Неоплаченные дрова и бревна клеймил другим молотком: «ПГС» — принадлежит графу Строганову.

Про Потапыча учитель говорил:

— Государственная власть и графский холуй в одном лице. Это незаконно, да что поделаешь: вся Россия на беззаконии стоит.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Ночью сильно подморозило. Под утро пал мягкий, пушистый снежок. Дед набил полную котомку сухарей, вскинул на плечо фузею и ушел с Урмой к долине Двух Ручьев — далеко от деревни. Пестря был обижен, что не взяли на охоту, метался на цепи, жалобно скулил, не стал есть ни хлеб, ни картошку с молоком. Я кинул ему соленой медвежатины, он повернулся задом и лапами далеко отшвырнул кусок. Стало жаль кобелька. Я склонился над ним, гладил его по упругой спине и утешал. Скоро и мы с Пестрей вволю набродимся по тайге. Пойдем еще дальше, чем дед с Урмой, принесем столько белок, что дома ахнут. Вот какие дела ожидают нас!

Пестря лизал мне руки, ласкался, но смотрел недо-

верчиво. Я долго сидел на холодной соломе и разговаривал с собакой. Пестря все-таки успокоился. Я опять годбросил медвежатину, и он жадно принялся рвать ее белыми, как снег, клыками. Он совсем уже выровнялся, густая шерсть лоснится, острые уши стоят торчком, хвост свернут баранкой. Настоящая лайка! Я смотрел на него и радовался. У меня такой могучий, красивый пес. Я буду любить и беречь его. Он уж, наверно, может искать белок. Иные собаки принимаются работать на первом году. Будь ружье, мы бы тоже двинулись на промысел. Угораздило Данилу прихватить мою берданку! И где они бродят, золотоискатели? Пора вернуться. Земля застыла, ручьи и реки покрываются льдом — трудно бить шурфы, негде промывать песок.

Вслед за дедом ушли на промысел в дальние урочища дядя Нифонт с Колюнькой, Тарас Кожин с двумя сыновьями, Емельян Мизгирев, Зинаида Сирота. Даже ленивый Симон Пудовкин снарядился на белковье; у него маленькая хромая лайка Забава — очень злющая, азартная в охоте. В деревне тихо и пусто.

Я кормил коров, овец и Буланка, разгребал сугробы у ворот, колол дрова. Скучные дела! Книги в библиотеке Всеволода Евгеньевича мною прочитаны. Я не знал, чем заняться зимними вечерами, не знал, куда себя девать. Кое-кто из кочетовских ребят ставил близ деревни капканы, петли на зайцев и лисиц. Это было мне противно. Однажды я видел, как метался возле овсяной клади в капкане дяди Нифонта молодой русак, слышал его жалобный вопль, похожий на крик ребенка. Я подкатил на лыжах, стиснул тугие пружины, освободил зайчишку, и он вихрем помчался к лесу. Дядя Нифонт разгневался, сказал: «У тебя сердце бабье». Всеволод Евгеньевич сказал: «У тебя славное сердце». Не знаю, кто из них прав, но я дал зарок — никогда не промышлять зверя капканами и петлями.

У меня был хороший почерк. Всеволод Евгеньевич вообще строго смотрел на письмо, и все ученики его писали красиво. Бабушка попросила переписать ей

старенький, стертый, весь закапанный воском, облитый елеем канон. От скуки я взялся за дело с удовольствием, сходил в Ивановку, принес глянцевого бумаги, сшил узкую тетрадь, начал переписку.

Писать приходилось по-церковнославянски, печатными буквами, потому что ни сама бабушка, ни другие богомольные старухи в Кочетах не умели читать новую скоропись. Сперва я порядком намучился, вычерчивая замысловатые древние титлы и закорючки канона. Потом наловчился, все пошло гладко.

Работа удалась на славу. Бабушка за труды наградила меня гривенником. Узнали соседки-старухи. Заказы посыпались со всех сторон. Я переписывал поминальнички, псалмы, ирмосы, акафисты, каноны. Пятачки и гривенники потекли в мой карман. За неделю я стал знаменитым человеком в деревне, любимцем старух, стариков и уже подумывал о том, что к весне, пожалуй, соберу денег на двуствольное ружье. Но Всеволод Евгеньевич спутал мои карты.

— Для чего я вас учил? — сказал он, узнав про мои дела. — Кажется, готовил сеять разумное, доброе, вечное. А ты чем занялся? Сеешь тьму, друг мой! Разве мало толковал я о том, что религия — предрассудок темной массы? Переписывая поповскую «премудрость», обновляя истлевшие скрижали невежества, ты укрепляешь опасные предрассудки. Пойми вот что: религиозный человек негоден для активной деятельности, для борьбы. Ему ничего не надо. Чем хуже на этом свете, тем лучше будет на том свете, где последние станут первыми. Бог тормозит революцию, а она необходима России, как воздух. Суеверие мешает людям расправить крылья. Случайно ли, что все мироеды так радеют о боге? Разве не этому я учил вас три года? Неужто прельстили бабы пятакки? Ты же лучший ученик мой, надежда моя. Ах, Матвей, Матвей!

Как я не подумал об этом раньше? Как дурно получилось! Как замарал себя в глазах учителя!

Всеволод Евгеньевич сказал еще, что не просит выступать с докладами против бога: я для такого дела не подготовлен, да и условий подходящих нет в деревне.

Но он просит об одном — не укреплять каллиграфией суеверия.

Я опустил глаза и ответил:

— Больше не буду.

Принятые заказы я вернул старухам, ссылаясь на боль в пальцах, не позволяющую писать. Божьи старушки сочувственно ахали, навязывались лечить мои «золотые пальцы» разными травами, наговорами, святой водой. Не так-то легко было от них отвязаться.

Бабушка была огорчена безмерно. Так хотелось ей упрочить славу «золотых рук» внука, увеличить семейный доход перепиской!

— Отдохнешь маленько, рученьки отойдут, — говорила она. — А бросать божье дело нельзя. Умудрен ты в письме. Надо послужить всевышнему и святым угодникам. Бог твои труды не забудет, не оставит милостями своими. На охоту пойдешь, пошлет чернубуру лису да соболька темного с серебристой остью.

Я промолчал. Спорить с бабушкой не хотелось. Она так была напичкана «предрассудком темной массы», что мы даже вместе с учителем не смогли бы пошатнуть ее веру в бога, в святых, в тот свет, домовых, водяных, леших, ангелов и дьяволов.

В эти дни в Кочеты забрел толстый плутоватый монах с Афона. Он обжился в деревне и, кажется, хотел гостить долго. Бабы охотно слушали побасенки о святых местах, о гробе господне, чудотворных иконах, святых мощах, разных явлениях. Монах обо всем рассказывал бойко, трогательно, занимательно. Он был мастаком в своем деле, тертый калач. Благодарные старухи несли ему масло, мед, яйца, холсты, старинные вышитые полотенца, доставали из сундуков припасенные на черный день горностаевые, колонковые, беличьи шкурки, серебряные рубли, полтины. Дары монах обещал сдать в Афонскую обитель, где пятьдесят лет будут молиться за всех радетелей веры православной и честных жертвователей.

Я помнил разговор с учителем о предрассудках и суевериях. Монах казался врагом и плутом, я ненавидел его за то, что он обманывает, обирает доверчивых людей, но не знал, как выжить этого хитреца

из деревни, насолить ему. Открыто спорить о бoге было невозможно. Старики могли побить меня батогами.

— Что такое монах? — спросил я бабушку.

— Святой человек, — объяснила она. — О своей душе печется, богу служит. Святые чудеса творят: ни огонь, ни вода их не берет, ни лютой зверь. Угодник божий Иона во чреве кита пробыл много дней и жив остался.

— Почему в Кочетах святых нет?

Старуха набожно вздохнула.

— Недостойны благодати божией. Живем не по писанию, господа бога не чтим, постов не соблюдаем, медвежатину едим, а Емеля Мизгирев даже зайцев ест. Какая тут святость! Есть положено копытных, да и то с раздвоенным копытом: корову, овцу, лося, оленя, козу. Лошадей едят люди магометовой веры, — им прощается. А медведя и зайца — грешно! Утонули мы в грехе по уши.

— А этот монах может чудеса творить?

— Может, — нетвердо ответила бабушка. — Господь благословит, он и сотворит.

— Ты, пожалуйста, попроси сотворить.

— Отойди, бесенок! — сердито сказала старуха. — Всегда на грех наводишь. Мысли твои дурные. Таким делом не шутят.

Монах жил сутки в каждом доме. Пришел ему черед погостить у нас, и мне захотелось испытать его. Я вынул в сенях две половицы, прикрыл дыру тонким слоем ржаной соломы. Если гость пройдет по соломе и не провалится — он святой, и это будет чудо. А провалится — обманщик.

Чудо не состоялось. Монах провалился, разбил нос, вывихнул ногу. Когда его вытаскивали из темной дыры, он так громко стонал и охал, что я почувствовал себя нехорошо. Все же человек он. Можно ли так баловать?

Старики внесли монаха в избу, положили на лавку. Никто не мог понять, куда делись половицы в сенях, кому нужна такая ловушка.

— Твоя работа? — спросила бабушка. — Говори правду!

Пришлось сознаться.

— Виноват... я хотел, чтоб сотворилось чудо.

— Чудо! — передразнила мать. — О господи! Будешь в смоле кипеть на том свете. Как с тобой жить? Проси прощения у дяденьки монаха.

Я попросил прощения. Монах вскинул на меня злые, горячие глаза, свистящим шепотом проговорил:

— Иди к черту, Июда Искаротский!

Я отскочил от лавки. Старики ахнули, мать начала жестоко браниться, назвала меня выродком. Монах не захотел ночевать в нашем доме. Его под руки увели в избу Тараса Кожина. Он пролежал там два дня, потом взял у кого-то подводу, погрузил дары кочетовских старух и отбыл в Ивановку. Мне просто нельзя было показаться на улице. Будто сговорившись, соседи допрашивали:

— Как же ты решился изувечить монаха-то? — и осуждающе качали головами.

Наконец вернулись дядя Ларион и отец. Данилы с ними не было. Он подался в другие места. Им не повезло. Золотоискатели были тощи, оборваны, измучены до того, что жалко глядеть. Отец, ослабевший от голода, побросал дорогой все инструменты, чтоб легче идти. У дяди Лариона не было золотой коронки на зубе, и он уже не оттопыривал, а стыдливо поджимал губы, — приходилось скрывать от людей обточенный дантистом и почерневший под коронкой передний зуб.

Мать корила отца, что он вроде сумасшедшего. Сколько раз обжигался на золоте! Не пора ли одуматься?

Он сидел за столом, жадно хлебал картофельный суп и молчал. После обеда я спросил, где моя берданка.

— Съели ее, Матюха, — виновато моргая, сказал отец. — Лесорубам отдали за хлеб, сахар и мясо. Досталось, нечего сказать. Даже Ларионову золотую коронку с зуба пришлось променять на жратву.

— У вас ружье было, — сказала бабушка. — В лесу всякой птицы полно. Чего не промышляли птицу-то?

— Птицу? — вздохнул отец. — Возьми попробуй. Она теперь сторожка, на дерево сядет — не подой-

дешь. Надо в лет бить, а мы, как на подбор, стрелки аховые. Патроны только зря пожгли.

— Данило ж хвастал, что хорошо стреляет.

— Пустобрех твой Данило! — сказал отец. — Ничего не может он, ничего не знает. Черт меня с ним связал. Как живы остались, ума не приложу. Идем с Ларионом домой, у обоих душа на честном слове держится.

Отец отдохнул, поправился, зачастил в Ивановку. Возвращались охотники с промысла, несли пушникам шкурки, от пушников заворачивали в казенную винную лавку, потом — к бражницам и пивоваркам, заказывали пельмени, яичницу, — начинался пир горой. Отец ловко пристраивался к загулявшим, играл на гармонии, пел. Его любили за песни, дружков-приятелей ему хватало. Поздней ночью он приходил домой в сильном подпитии. Мать ворчала, сердилась. Он отшучивался.

— Разве сам пью, Степаха? Горе мое пьет. Золота не нашел, ноги намял, душа истерзана. Что делать такому человеку? Пить, гулять, пока добрые люди подносят. Я ж у тебя не прошу на выпивку, из дому ничего не тащу, как Симон Пудовкин. Об чем шум? Весной в хомут впрягусь, что ни заработаю, все твое, милая женушка, радость моя!

Мать словно таяла от этих шутливо-ласковых слов, становилась доброй и покорной мужу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Год был урожайный на зверя. Охотники приходили с богатой добычей. Дядя Нифонт и Колюнька принесли по сотне беличьих шкурок, двух лисиц-огневок, шесть горностаев, Зинаида Сирота — много белок, двух рысей, росомаху. Но всех обогнал дед. Он добыл свыше двухсот белок. Бабушка, осмотрев шкурки, сказала, что за все дадут верных шестьдесят рублей.

Удача деда взбодрила семью. Мы весело поужинали. Шестьдесят рублей склонялись на все лады. Долго обсуждали, что купить на эти деньги в пер-

вую очередь, что во вторую, какие и кому уплатить долги.

Утром стали собираться в Ивановку — продавать пушнину. Продавал обычно дед, бабушка ездила для охраны, чтоб не пускать его ни в казенку, ни к пивоваркам, и соседи насмешливо говорили: «Старый солдат ездит на базар под конвоем». Это обижало деда, он ворчал на конвоира, однако подчинялся, потому что знал свою слабость.

Отец пошел запрягать Буланка, но тут к воротам лихо подкатил дядя Нифонт на Гнедке, запряженном в кошеву. Дядя тоже ехал с пушниной в Ивановку и сказал, что незачем гнать двух лошадей — он подвезет деда. Дед согласился. В маленькой кошеве не было места для бабушки. Как быть? Дядя решительно заявил, что на этот раз можно пустить старика и без конвоя.

— Ничего не случится, мамаша, — уговаривал он бабушку. — Не с чужим едет. Вместе ж продавать будем.

Бабушка уступила, правда не очень охотно.

— Нифонт, гляди, пожалуйста, чтоб не обсчитали старика, — просила она. — Деньги большие придется получать. Ты в ответе, ежели что...

— Да что ты, маленька, гудишь? — развязно проговорил Нифонт, подсаживая деда в кошевку. — Будто мы дети. Впервые, что ли, едем?

И они уехали. Мать весь день хмурилась и пугала бабушку, что зря доверились Нифонту. Мужики, они все пьянчуги. Им ничего не стоит прогулять по пятерке! А на пять рублей можно купить два с половиною пуда самолучшей крупчатки. Бабушка отмахивалась.

— Молчи, Степанида! У самой сердце болит.

К ночи дядя Нифонт приехал один.

— Куда старика дел? — накинулась на него бабушка. — Я что наказывала? Ты же слово давал, непутевая голова!

— Папаша того, — заплетающимся языком ответил дядя. — У пивоварки Марины Игнатенковой, значит... За пушнину он взял шестьдесят два целковых, я тоже получил изрядно. Ну, с радости выпили по ма-

ленькой. Я думал, ничего, обойдется. А он, значит, на свою стезю, и домой не вытащишь. Хочешь — верь, мамаша, хочешь — нет. Я и так, и сяк, он безо внимания.

— Ох! — прошептала бабушка. — Чуяло ж сердце! Нелегкая тебя нанесла утром. «Мы не дети, мы не впервые!» Вот и съездили, голуби! Ты бы хоть деньги лишние у него отобрал.

— Как возможно, мамаша? Он хозяин своим капиталом и мне родитель. Я против него что?

— Уж не запой ли начался? — голос бабушки дрогнул. — Было счастье, да одолело ненастье.

— Похоже, — бормотал дядя. — Тем пахнет, мамаша: запой. Это ты верно судишь.

Отец принялся бранить дядю Нифонта, назвал его ворогом нашей семьи. Нифонт мотал головой, оправдывался.

— Братуха, пойми! Случись такое с тобой, я бы сгреб за шиворот да в кошеву, и весь разговор. А он же родитель! Мы обязаны уважать родителей.

— Уважил! — кричал отец. — Теперь все до копеечки спустит по твоей вине. Век не забудем!

Нифонт ушел домой. От сильного расстройства у бабушки бывали сердечные припадки. Так случилось и на этот раз. Она охнула, пластом повалилась на лавку. Мать отпаивала ее водой, старалась успокоить.

Отец решил ехать за дедом. Зашел дядя Ларион и вызвался помогать отцу.

— В момент домой притащим, — бахвалился Ларион. — Нифонт — мямля. Оставил родителя бог знает где!

Они быстро собрались и уехали.

Ночь прошла в суматохе. Бабушке было худо, мать то склонялась над нею, то продувала в оледенелом стекле лунку, глядела в окно, не едут ли наши.

Бабушке полегчало утром, когда Всеволод Евгеньевич дал ей каких-то пахучих капель, и она забылась в тихом, спокойном сне.

Под окном скрипнули полозья, нетерпеливо заржала лошадь. Я в одной рубашке выбежал на крыльцо. У ворот стоял Буланко: вожжи были привязаны к передку, чересседельник опущен, сани — пусты...

Мы с матерью терялись в догадках: что случилось? Бабушка встала с постели, живая и бодрая, будто не трясло ее всю ночь, надела валенки, полушубок, закутала голову шалью, повелительно сказала:

— Едем со мной, Матвейко!

...Еще с улицы услышали мы в доме пивоварки Марины пиликанье гармони, топот, пьяные голоса.

— Гуляют! — сказала бабушка. — Ах ты, горе мое лихое!

Широко, по-мужски шагая, она взошла на крыльцо, распахнула обитую войлоком дверь. Я вошел за ней. В переднем углу сидел, развалившись, дед, справа от него — дядя Ларион, слева — отец с чьей-то гармонью в руках, лениво игравший «камаринского». Два незнакомых бородатых мужика плясали перед столом. На лавках сидели еще четыре мужика. Стол был уставлен бутылками с водкой, кружками с пивом, закусками. Все в избе были пьяны. Дядя Ларион, с покрасневшими щеками и потным лбом, клевал носом.

Бабушка оттолкнула плясунов, и они молча сели на лавку. Гармонь смолкла.

— Никак хозяйюшка припожаловала? — сладким голосом проговорила толстая пивоварка Марина. — Милости просим!

Бабушка окинула ее сердитым взглядом, повернула голову к столу.

— Ларион, Алексей, сынки мои милые! — сказала она. — Вы зачем сюда приехали?

Ларион развел руками.

— Мамаша, я уговаривал, а родитель, то есть, никак слушать не желает, — залепетал отец. — Я изо всех сил, мамаша...

— Вижу, сам науговаривался, — бабушка с укоризной покачала головой. — Ах, сынки, сынки, надежда моя! Опора моя на старости лет!

Она сощурилась на собутыльников деда, бог знает откуда налетевших пропить наши кровные шестьдесят два рубля.

— А вам, гостеньки дорогие, не пора по домам? Небось люди тоже семейные? Где-то жены тоскуют, детки плачут, а вы тут на чужой счет угощаетесь.

Пьянчуги заулыбались, зашумели. Дед стукнул кулаком по столу.

— Наталья, гости мои, я здесь хозяин.

Бабушка принужденно улыбнулась, отодвинула дядю Лариона и под села к деду, начала звать домой. Дед не соглашался. Пьяные мужики галдели, не слушая друг друга. Марина притворно-фальшивым голосом уговаривала пьянчуг разойтись по домам.

— Хватит, попиروвали, — говорила она, косясь на бабушку. — Я тоже с вами умаялась, ночь не спавши, прямо глазыньки слипаются.

Бабушка запустила тайно руку в правый карман штанов деда, выхватила кошелек и сунула его себе за пазуху.

— Наталья, ты меня знаешь? — задиристо спрашивал дед. — Уходи отсюда. Душа моя меру чувствует. Сам все разумею.

Бабушка встала.

— Гуляй, гуляй, Спиридон Демьяныч! Только буйную голову не прогуляй. Счастливо пировать!

Я понял все. Деньги у нее за пазухой, отпала нужда уговаривать старика: пированье само собой кончится, гуляки разбредутся, и дед явится домой.

Она взяла меня за руку, кивнула сыновьям, и мы вышли на улицу. Дядя Ларион и отец покорно плелись за нами.

— Мы за ним досмотрим, — несвязно говорил дядя Ларион. — Тут, мамаша, свой глаз нужен, и мы родителя не бросим.

— Оба поедете со мной, — внушительно сказала бабушка. — Спиридон уж не дитя, чтоб за ним доглядывать. Да и хороши вы, доглядчики: сами пьянее старика! И зачем я таких шатунов-забулдыг нарожала! Ни об чем не думаете, ошалели от водки совсем. Даже коня-то привязать не могли, пустили его на волю божию.

— Ларион пускай едет домой, а мне никак невозможно, — заговорил отец. — К примеру, папаше музыка потребуется, чужого гармониста позовет, — надо поить, платить. Во сколько обойдется? А я свой, даром сыграю. спою. Я должен остаться при папаше.

— Понимаю, — бабушка взяла его за воротник полушубка, сильно потрянула. — Понимаю, куда гнешь! И вот что скажу: Спиридон мне муж законный, обязана ему ноги мыть да воду пить. Нету моей бабьей власти над мужем. А ты сын, под сердцем моим выношенный, тебя могу поучить уму-разуму. Не поедешь — возьму палку, зубы повыкрошу!

Я просто любовался бабушкой. Что-то новое было в ее облике, движениях, словах. От кроткой и доброй старухи веяло силой, решимостью постоять за семью до конца, и я не сомневался — она «выкрошит зубы» отцу, если он пойдет наперекор.

Отец и дядя Ларион тоже понимали это. Они молча сели в сани. Бабушка сама правила конем, и у нее было скорбное, будто окаменевшее лицо.

Дома отец сразу лег спать и захрапел. Бабушка сказала матери:

— Я у Спиридона кошель вытащила — бог надомил. Ужасно боялась, что дружки-собутыльники заметят и гаркнут: «Демьяныч, держи карман!» Их, пропойных чертей, полна изба. Тяну кошель, а рука дрожит, словно чужого граблю. О господи, до чего дожила!

Они вместе с матерью вывернули объемистый кошелек из лосевой кожи, подсчитали смятые кредитки, серебро, медяки. Было двадцать семь рублей с копейками.

— За два дня больше тридцати целковых пропито! — ужаснулась мать. — Ну на что похоже? Куда столько пошло?

— Ты же знаешь, какой старик, — отозвалась бабушка. — Пьяный всем взаймы без отдачи раздает. Да и пьет не один, целую ораву накачивает водкой. Тут сотню пропить недолго.

— Какой же изверг водку придумал? — сказала мать. — Вот кого пришибить не жалко!

— Его, милая, не пришибешь. У того лиходея, наверно, кости давно сгнили.

Бабушка спрятала кошель с деньгами в сундук, задумалась и сказала повеселевшим голосом:

— А все ж таки я двадцать семь рублей отвоевала! До весны проживем как-нибудь.

Дед пришел на четвертый день. Был он трезв и кроток. Бабушка не пеняла, не задираала его, только спросила, не хочет ли он опохмелиться, и готова была поднести маленький лафитничек. На такие случаи она всегда хранила бутылку водки.

— Боже избавь! — отмахнулся дед. — Веришь ли, с души воротит, видеть не могу. Старость, должно, подступает: все труднее да труднее пить.

Его накормили, напоили чаем. Укладываясь на лавку спать, он робко сказал:

— Тут, Денисовна, такое... Кошель с деньгами я где-то обронил. Пришлось в кредит пить. Займи у кого-нибудь, отдай пивоварке Марине, меня не позорь. Соломиных еще никто не попрекал, что они долгов не платят. Завтра иду на промысел, принесу белок — разочтемся.

— Сколько должен?

— Двадцать шесть рублей.

Мать отвернулась к окну, плечи у нее вздрагивали. Бабушка коротко ответила:

— Уплачу.

Больше она не сказала ни слова, но я понимал, как тяжело ей, как велика ее скорбь. Завтра она отнесет долг пивоварке. Из отвоеванных ею двадцати семи рублей, которым она так радовалась, останется один рубль. Как жить? И все от водки, будь же она проклята!

В тот день я молча дал себе клятву никогда не брать в рот хмельного, не причинять пьянством горьких слез семье...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Охотники сидели дома: выпало много снега, собакам невозможно работать в лесу, и стояли небывалые морозы. Дед все-таки ушел на лыжах, Урму с собою не взял, и мы не ждали теперь богатой добычи. Нам казалось, старик уходит потому, что пропился, замучила совесть, и ему тяжело оставаться дома.

В ту зиму счастье, видно, само бежало навстречу деду. Через неделю он принес двух кидусов — помесь куницы и соболя. Шкурка у кидуса соболиная, хвост куний.

Звери были старые, упитанные, очень крупные, с редкостным по красоте мехом. В конце зимы — удача неслыханная.

Соседи-охотники заходили поглядеть на дедову добычу, и все говорили, что таких матерых зверей еще никому в Кочетах не доводилось добывать. Дядя Ларион сказал:

— Здесь за кидусов настоящей цены не взять. Кидусы попадают на охотника однажды в десять лет. Шкурки надо везти в город, искать любителя. Соболя всякий богач может купить, а вот кидуса — найди попробуй! С любителя можно взять такую цену, что и вымолвить страшно.

У деда были свои давнишние счеты с городом. Он когда-то повез туда, тоже прельстившись высокими ценами, продавать белок и горностаев. Наскочил на жуликов. Его заманили в трактир «вспрыснуть» продажу, подсыпали чего-то в стакан, усыпили намертво и, ограбив, скрылись. С тех пор он слышать не хотел о поездке в город.

— Давай, папаша, свезу, — приставал дядя Ларион. — Я этим кидусам найду покупателя. Кидус — все равно, что теленок о двух головах. Меха ж выставочные! Я знаю, кому продать. За труды возьму немного: десять процентов комиссионных и семь процентов куртажных и пять процентов на транспортные расходы.

Дядя Ларион никак не мог обойтись без непонятных слов и этим окончательно испортил дело. Комиссионные, куртажные и транспортные вызвали такой дружный осуждающий смех в избе, что дядя схватил шапку и, не простившись, исчез.

Бабушка сказала, что огненные берет продажу пушнины в свои руки, просит не перечить ей, даже если это кому-нибудь не по сердцу.

Дед понял намек.

— Давай торгуй, — улыбнулся он, — не препят-

ствую. Я мастер добывать, а с продажей все как-то шиворот-навыворот идет. Может, действительно ты счастливее. Не препятствую.

Ни один охотник в Кочетах не доверял жене сбыт шкурок. Это было унижительно, да и невыгодно для мужчины, потому что каждая продажа обильно вспрыскивалась у пивоварок. Удачливый промысловик пил сам, угощал неудачников, коим не повезло в ту зиму. А какие вспрыски, если жена возьмется за дело?

И когда дед от души повторил свое «не препятствую», бабушка поняла, какую великую жертву приносит старик, на какую уступку он идет, и она обняла его за шею, крепко поцеловала в губы. Потом налетела с поцелуями мать. Дед, не привыкший к семейным ласкам, смешно фыркал, отбивался и ворчал:

— Ну, вот еще! Вот придумали! Ну, бабы!..

Кидусы, вытянутые на деревянной дощечке-правиле, подсохли, дед осторожно помял их руками, счистил кое-где мездру, и мы с бабушкой поехали в Ивановку сбывать шкурки.

Пушники хотели купить как можно дешевле, мы — продать как можно дороже, и это заставляло нас бродить от одной лавки к другой. Бабушка спорила со всеми, ужасно торговалась еще и потому, что впервые занялась мужским делом и ей никак нельзя было ударить лицом в грязь. Она хотела оправдать себя в глазах семьи, показать деду, дяде Лариону и всем охотникам, что умеет вести торговлю не хуже, а лучше мужчин.

Обошли весь ряд. Больше семидесяти рублей никто не давал.

— Походим еще, — шептала бабушка. — Авось к вечеру набавят немного. Я вот их напугаю: в город, мол, пошло с Ларионом шкурки. Услышат — набавят непременно. Дешевле восьмидесяти нипочем не уступлю.

Однако пугать меховщиков не пришлось. Нас приметил какой-то заезжий скупщик в расшитом узором романовском полушубке и рысьей шапке. Он подвел бабушку к саням, заваленным связками беличьих шкурок, глянул вороватыми глазами на наш товар.

— Куницы?

— Кидусы.

— Вот как! — весело воскликнул он. — Ты уверена, что это настоящие кидусы? Случаем, не морочишь голову, тетка?

Бабушка обиделась.

— Не веришь, так спроси здешних торговцев. А я стара голову морочить. Обманом не жила и жить не буду.

— Допустим, кидусы, — сказал меховщик. — И сколько хочешь за них?

— Сто рублей, — нетвердо ответила бабушка.

— Почему именно сто? Многовато, кажись. Девяносто не хочешь? Больше не накину, мне тоже заработать надо. Отдаешь?

Еще бы не отдать! Мы были бы рады-радешеньки даже восьмидесяти. Бабушка, скрывая радость, не сказала, будто пропела губами:

— Бери, касатик, бери.

Меховщик отсчитал тридцать рублей серебром и дал шесть новеньких бумажных десятков.

— Деньги-то какие! — вздохнул он. — Прямо жалко платить: сейчас же мотать на базаре начнете, пойдут по грязным лапищам, будут смяты, запачканы.

— Что ты, что ты! — протестовала бабушка. — Куда столько измотать? Серебра хватит, а бумажки поберегу.

— Резонно, тетка, надо беречь. Умные люди больше добывают, меньше тратят.

Мы накупили сахару, чаю, баранок, белой муки, селедок, много разных вещей, уложили покупки в сани, поехали домой.

— Есть бог, Матвей, — сказала бабушка, очень довольная продажей и покупками. — Я молилась, молилась, и он, всевышний, внял молитве моей. Ишь, сколько отвалил заезжий-то! А ивановские хотели за семьдесят купить. Хитры больно! Ну и я не проста, на кривой не объедешь.

Она помолчала, досадливо хлопнула себя по лбу рукавицей.

— А ведь проста я, Матвеюшко! Ой, проста!

— Чем же?

— Как чем? Ведь покупатель-то новичок в пушном деле. Он даже сомневался: кидусы это или не кидусы? Ничего не понимает. Потому и не торговался со мной. Я — сто, он сразу — девяносто. А мне бы, пучеглазой, сказать — двести. Он бы, не подумавши, ахнул — полтора ста! Ох, что натворила! Ты об этом дома помалкивай.

Дома нас спрашивали, как да что. Бабушка все подробно рассказывала. Дед усмехался, покачивал головой, говорил, что старуха у него чистый клад. Мать сказала:

— Экая ты, свекровь-матушка, удачливая да оборотистая. Давно следовало тебе самой за дело взяться. И бабушка улыбалась, как именинница.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Серебро кончилось, надо было кое-что покупать для хозяйства, а бумажные деньги, полученные за кидусов, бабушка хранила в окованном железом сундучке, не давала к ним подступиться. Несколько раз, уступая деду и матери, старуха пыталась раскошелиться, доставала заветные бумажки, разглядывала их, как божий дар. И на том все кончалось. Вздохнув, бабушка опять запирала кредитки на замок.

— Уж больно красивы, жалко тратить, — говорила она. — Пусть полежат.

Мать ухмылялась, дед ворчал, что старушечья скупость хуже мотовства, что мы не дети — забавляться красивыми бумажками. Гюдоспела нужда — трать. Однако бабушка стояла на своем. Дошло до того, что дед вынужден был занять у дяди Нифонта рубль на табак.

И пришел все-таки день, когда бабушка сдалась, решила разменять одну бумажку. Приближалось шестидесятилетие деда. Вздумали отпраздновать событие, позвать гостей. Мать замешала брагу и пиво, а мы с бабушкой поехали за покупками в Ивановку. Бакалейщики торговали с утра до вечера, сиделец казенной винной лавки устраивал перерыв на обед, ложился

После обеда вздремнуть, и так крепко дремал, что покупатели сидели порою на крыльце часами, ожидая пробуждения нерадивого торговца водкой. Мы сразу подъехали к казенке, чтоб застать сидельца до обеда.

— Четвертную бутылку проклятущего зелья! — пошутила бабушка, выкладывая на прилавок новую кредитку. — Только зелье подавай самолучшее, — деньги, вишь, какие, прямо жалко тратить!

Толстый, пузатый сиделец с сонным лицом взял хрустящую бумажку, повертел в руках, глянул на свет, скомкал и опять развернул. Кредитка явно не нравилась ему.

— У тебя, старуха, много еще таких? — грубо спросил он, разглаживая бумажку на стойке. — Много?

Бабушка оторопела.

— А что, милой? Что такое?

— Фальшивая! — вкрадчиво и жестко сказал сиделец. — Сделано чисто, бумага настоящая, да меня не проведешь, двадцать восьмой год на этом деле. Фальшивку в темноте на ощупь узнаю.

У бабушки опять начался сердечный припадок, как в тот день, когда запил дед, она прижала руку к груди, зашаталась. Я осторожно усадил ее на скамью.

Сиделец послал куда-то мальчишку-помощника. Вскоре пришли с двумя понятыми волостной старшина и урядник Финогеныч, составили акт: такого-то числа, месяца и года крестьянка деревни Кочеты Наталья Денисовна Соломина и ее внук Матвей Алексеевич Соломин, несовершеннолетний, пытались сбыть сидельцу казенной винной лавки Петру Васильевичу Петухову фальшивый кредитный билет десятирублевого достоинства, в чем оба они безоговорочно и чисто-сердечно сознаются в присутствии таких-то и таких-то лиц.

Все подписались под актом, старшина поставил внизу печать.

Нас отвели в волостное правление, посадили в кутузку: бабушку в женскую камеру, меня в мужскую. Моим соседом по камере был пьяный мужичонка в лаптях и рваном полушубке. Он вскакивал с нар, колотил

кулаками в дверь, бранил начальство, требовал, чтоб его пустили на волю.

Кто-то подходил к двери, склонялся к глазку и наставительно говорил:

— Тимоха, не буянь! Хуже себе только сделаешь!

Мужичонка отвечал руганью, поворачивался спиной к двери, лягал пятками окованные железом доски. В камере стоял звон, грохот и невозможный треск. Я зажал руками уши, со страхом глядел на бесноватого Тимоху.

Наконец буян, видимо, устал. Он сел на нары, закурил самокрутку в палец толщиной, глянул на меня осовелыми глазами.

— Тебя-то за что, малый?

Я не ответил. Стоило ли рассказывать пьяному человеку про наши тягостные дела? Что он поймет?

— Молчишь, голубы! — приставал Тимоха. — В карман кому-нибудь залез на базаре? С таких лет по кутузкам трешься. Драть вас, чертей, некому. Погоди, ночью всыплю пихтовых-еловых. Я тебя разужу!

Вдруг он запел хрипло и надрывно:

И в последний мой час я завет вам даю:
Посадите вы ель на могилу мою!

Оборвал песню, шлепнул по нарам лаптем и мрачно сказал:

— Ску-у-у-чно мне. Э-эх, разужу тебя, малый!

Тимоха был дик во хмелю, на кого-то зол, кем-то обижен, я не мог ни спрятаться, ни убежать от него, и мне казалось, что он действительно может «разужа-жить».

Я тихонько постучал в дверь. В глазок спросили:

— Что надо?

— Хочу в уборную.

Сотский открыл дверь, выпустил меня в коридор. Я попросил убраться Тимофея.

— А ведь он, вправду, может избить тебя, — сказал сотский. — Уж такой забияка. Но куда его деть, ирода? Разве в подвал посадить?

Он вызвал урядника Финогеныча. Они посоветовались и, к моей радости, увели куда-то Тимоху.

Я остался в камере один. Надвигалась ночь, в маленькое окно с железной решеткой падал холодный лунный свет, одинокая звезда кротко сияла на краю неба. Я задумался. Что ждет меня, бабушку? Мы ни в чем не виноваты. Но я знал от Всеволода Евгеньевича, знал из прочитанных книг, что любой человек может без вины стать виноватым. Представилось ужасное будущее: ссылка в Якутию, где умерла жена учителя и сам он заболел чахоткой. Вот и я зачахну там, на далекой неприятной чужбине, среди незнакомых людей. Из России в Якутию письмо идет чуть ли не полгода! И кто станет мне писать? Бабушка скоро умрет. Я один буду коротать дни, долгие годы в ссылке. Угроздило ж деда добыть кидусов! От этих шкурков и началось. А может, от запоя деда? Кто во всем виноват? Виновата и бабушка с ее бесхитростной скупостью и радением к семейному кошелю. Ну и пусть пропил бы дед дорогие шкурки. Сам добыл, сам прогулял.

Неделю провели мы в заточении, но какая это длинная была неделя! Сколько дум передумал я в бессонные ночи! Дед привозил нам хлеб, вареное мясо, туесы молока. Навестила даже Зинаида Сирота: передала мне рыбный пирог.

Спать не давали клопы. Они выползали ночью из каждой дыры, растекались по нарам в таком множестве, что меня кидало в дрожь.

— Клопики-то беспокоят? — умильно спрашивал по утрам десятский. — Знамо, от них спасенья нет. И такая их, понимаешь ты, сила развелась, что не выведешь. Арестованные дают нещадно, кипятком шпарим, вымораживаем зимой, а им хоть бы что! Тут месяц посиди — заедят!

В воскресенье повели на допрос. За столом старшины сидел молодой человек, чисто выбритый, в очках, под которыми сухо блестели черные вдумчивые глаза. Это был следователь, вызванный для разбора дела.

Мы сели на скамью против стола.

— Фальшивомонетки? — спросил следователь

легко и почти весело, словно допытывался, будет ли сегодня к вечеру дождь. — Рассказывайте начистоту, одну правду-матку. В этом единственное ваше спасенье.

Бабушка рассказала правду. Он записал. Я повторил сказанное бабушкой, мои слова тоже были занесены в протокол.

— Так, — начал следователь. — А ведомо ли вам, господа, в какое дело вы влипли? Изготовление и сбыт фальшивых денег есть тягчайшее государственное преступление. Запомните: тягчайшее! Выпуск денег и продажа водки монополизированы государством, и нарушителей монополии карают по всей строгости законов Российской империи. Дело каторгой пахнет. Можно упечь вас, госпожа Соломина, и вашего внука на Сахалин. Улики налицо, улики бесспорные.

Он умолк, в упор посмотрел на нас. Бабушка стала вытирать глаза концом полушалка.

— Однако я еще не потерял совесть, — сказал внушительно следователь. — Не хочу делать карьеру на беде темных людей. Вы не преступники, вы жертвы ловкого мошенника, который приезжал сюда как агент шайки фальшивомонетчиков, орудующей в городе. Мы до них доберемся. Вы еще не созрели, чтобы изготовлять фальшивки.

— Господи, да кто их разберет! — взмолилась бабушка. — Где настоящая, где фальшивая? Кабы ведомо...

— Ладно, — улыбнулся следователь. — Тут приходил хлопотать учитель Всеволод Никольский, горой за вас. Уверяет, что честнее Соломиных людей на белом свете нет... Мы с ним, оказывается, питомцы одного университета. Чудной он мужик. Мы хорошо поговорили. Вообще у вас адвокатов хватает. Вчера ввалилась страхолепная деваха с ружьем и собакой, Зинаида Филева, кажется. Тоже негодует: «Почему Соломиных под замком держите?» Но адвокаты не нужны. Дело веду на прекращение. Поймаем преступников — вас вызовем, может быть, в город на очную ставку. Вот и все.

Пока мы сидели в клоповнике, урядник Финогеныч съездил в Кочеты, сделал обыск, забрал оставшиеся в бабушкином сундуке кредитки. Они были под-

шиты к протоколу. Следователь называл их не деньгами, не бумажками, а «вещественным доказательством» по делу госпожи Натальи Соломиной и Матвея Соломина.

В тот же день мы на попутной подводе добрались до дому. Дед сказал с невеселой усмешкой:

— Эх, Наталья Денисовна, опоздала ты на мой праздник! Позавчера мое шестидесятилетие было, без гостей обошлось. Пиво и брага киснут в подполе — провались они к ляду!

Бабушка обняла деда и заплакала. Он ласково гладил ее по голове, по плечу и шептал:

— Ничего, старуха, ничего: ведь все ладно кончилось.

Бабушка принялась рассказывать, как сидела в кутузке, как болело у нее сердце, как беспокоилась о семье, боялась суда и каторги.

— Ну и следователь попался! — говорила она. — Какой обходительный! Думала, бить станет, а он — поди ж ты! — не то что пальцем не тронул, слова худого не сказал. Все на «вы» да госпожой Соломиной величал. Будь на его месте другой, упек бы в Сибирь. Добрейший человек!

— Просто следователь не дурак, и все, — вмешался отец. — Видит, что перед ним не тот зверь, на которого надо охотиться. Чего ему с тобой канитель разводить? Доброта тут ни при чем.

Мы помянули добрым словом Всеволода Евгеньевича и Зинаиду Сироту, хлопотавших за нас.

Мать сказала:

— Зинаиду пуще всего благодарить надо. Она, поди, напугала следователя, — вид у нее отчаянный. Как уставит свое бельмо да зарычит: «Я — сирота», — кто хошь сдастся...

— Пошли ей бог женишка, хоть завалящего, — сказал дед.

Сели ужинать, мать поставила на стол пиво и брагу. Дед, посмеиваясь, говорил, что выгоднее сбывать пушнину за полцены, получать настоящие деньги, не сидеть в кутузке за чужие грехи, что отныне он опять берет продажу шкурок в свои руки и просит не пере-

чить ему даже в том случае, если это кому-нибудь не по сердцу. Так нужно.

Мы вспомнили, что это переиначенные бабушкины слова, и все засмеялись. Бабушка сказала:

— Упаси бог торговать пушниной! Продавай, Демьяныч, сам, как хочешь, пропивай — что хошь делай.

Дед ответил:

— Водку больше не пью, зарок дал. Я эту неделю измучился. Жалко было тебя и Матюху — сил нет. Из-за меня, думаю, в беду попали. Теперь шабаш, зелья в рот не возьму и к пивоваркам дорогу забуду.

— Хорошо бы и Алексею Спиридонычу забыть туда дорожку, — подхватила мать. — С родителя пример взять.

Отец покосился на нее, насмешливо сказал:

— Погоди, не все сразу, я еще, кажись, до родителей годов не дожил.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Из газет мы знали, что где-то далеко, на краю нашей земли, идет война с Японией. Всеволод Евгеньевич по воскресеньям собирал в школе подростков, рассказывал о причинах войны, о боях на суше и на море. На эти беседы заглядывали взрослые, приходил мой дед. Как старый солдат, дед возмущался неудачами русского воинства, не мог понять, почему царская армия отступает перед японцами.

— Как так получается? — спрашивал он. — Наш солдат никому не уступит ни в стрельбе из винтовки, ни в штыковом бою. Неужто японец сильнее? Не поверю!

— Русский солдат силен, да генералы слабы, — отшучивался Всеволод Евгеньевич. — Вот и бывает: солдат выиграл битву, а генерал проиграл.

Отца еще полгода назад призывали в армию. Он оказался негоден по «слабости здоровья». Теперь его освидетельствовали вновь, признали годным. Уезжал он на войну веселый, будто радовался тому, что побы-

вает в новых местах, а мать плакала. Дяди Нифонт и Ларион дали отцу на дорогу по два рубля. Как старшие братья, они числились в ратниках, имели льготу — и, я думаю, чувствовали себя немножко виноватыми перед отцом, который шел воевать за всю семью.

Мать прямо им сказала:

— Вы, милые деверьки, за Алексеевой спиной дома отсиживаетесь и теперь должны помогать нам по хозяйству.

— Само собой, — ответил дядя Нифонт. — Разве не понимаем?

Охотничий сезон подходил к концу. Дед ставил капканы и ловушки на горностаев, но редко приносил добычу. Были снегопады с ветрами, капканы заваливало снегом.

Однажды дед пошел на лыжах осматривать ловушки и не вернулся к ночи домой. Хлеба у него с собою не было. Мы забеспокоились.

— Не наткнулся ли старик на берлогу? — вздыхала бабушка. — Поломал его, поди, косолапый Топтыга...

Случай, когда кто-нибудь погибал на охоте, были нередки. Рассказывали, что мой прадед Филимон, погнавшись за соболем, свалился с крутика в каменную падь, сломал ногу и замерз. Игнатия Панкова в прошлом году убил копытом раненый лось. Никого особенно не удивило, что дед пропал.

Дядя Нифонт собрал соседей на розыски. Они встретили деда на опушке тайги: он тащил годовалого лосенка.

Оказывается, рысь загнала молодого сохатого, перегрызла ему горло и, увидев деда, бросила добычу. Дед смастерил топором из сушины сани, положил лосенка, повез домой. Дни стояли теплые, наст проваливался, и старик передвигался только ночью, когда подмораживало. Долго пришлось обходить лога и буреломы.

Беда обернулась праздником. Дядя Нифонт освежевал сохатого. Мясо весь день варили, жарили в печке. На обед собралась чуть не вся деревня. За столом не хватало места. Чашки и тарелки с лосяти-

ной ставили прямо на лавки. Все хвалили деда, желали ему прожить до ста лет.

Проводив гостей, мать начала бранить деда. Она говорила, что мы не умеем жить, не экономим добытое в лесу.

— Исстари так заведено, — отвечал дед. — Послала тайга фарт, должен я делиться со всеми. Другой достанет — меня угостит.

— Ты всех угощаешь, а тебя что-то редко приглашают к чужому пирогу, — не сдавалась мать. — Соседи похитрее нас. Только дурак последний кусок делит, потому и беден.

Такие споры вспыхивали в семье часто, и я всегда был на стороне деда, не понимал матери. Ее жадность огорчала меня.

...Я проснулся от звона посуды. Мать и бабушка суетились у шестка. В печи пылали дрова. Я зевнул, повернулся на другой бок: хотелось еще поспать.

— Вставай, пролежень! — сказала бабушка. — Сегодня праздник — твои именины.

Я вздрогнул. В этот день каждый год получаю подарки. Что же приготовлено нынче? Я сбросил одеяло, побежал к умывальнику. Мать достала новые штаны, голубую ситцевую рубаху.

— Одевайся, Матвейко, да голову причеши.

Я причесывал перед зеркальцем жесткие волосы и думал о том, что принесут именины, а мать, вспомнив про отца, вдруг расплакалась, запричитала, и мы с дедом едва успокоили ее.

Бабушка и мать, покончив со стряпней, нарядились в праздничные платья. Дед надел старый солдатский мундир, в котором щеголяет в рождество и на пасху, почистил мелом пуговицы.

Мать подарила мне шерстяные, расшитые красивым узором вареги, бабушка — сплетенный из хорошего суровья охотничий ягдташ. Дед виновато щурился.

— А я-то ничего не приготовил, Матюха. Совсем забыл про твои именины. Ты уж прости, брат.

В прошлые годы он дарил деревянные свистульки, чучела редких птиц, зверюшек, — делать их он боль-

шой мастак. Его подарки были самые приятные. Теперь я огорчен, но нельзя сердиться в праздник.

Испекли мясной пирог. К обеду пригласили Нифонта и Лариона с женами, Колюньку Нифонтова, Тараса Кожина. Гости неторопливо ели, попивали хмельную брагу, каждый говорил мне что-нибудь ласковое.

После обеда мать заиграла на пиле «камаринского». Тяжелый, неуклюжий дядя Нифонт лихо кружился по избе, половицы скрипели под его ногами. Дед тоже пустился в пляс, и все дивились на старика: он выделял такие коленца, что молодому впору.

Потом дед подсел ко мне и рассказал, что в дремучей тайге, куда редко заходит человек, живет жар-птица, ростом невелика, несъедобная, но дивной красоты. Охотники ловчатся поймать ее в силок, да никому не удается — из-под носа улетает.

— Зачем ловить, коли несъедобная?

— Э, внучек, не шути с жар-птицей. Великая в ней заложена сила и волшебство. Кто словит, будет хозяином лесов, озер и болот. Птицы, звери, рыбы потянутся к тому человеку: «На, что хошь с нами делай». И станет человек богаче всех царей-королей на земле.

Должно быть, праздник вскружил мне голову.

— Я ее поймаю, дедушка.

Старик усмехнулся.

— Не хвались, брат.

Вечером гости разошлись, тогда дед поднес мне шомполку двадцатого калибра. Оказывается, накануне он выменял ее в Ивановке на горностаевы шкурки, но помалкивал, старый хитрец.

Шомполка, видимо, побывала в десятках рук, и хозяева не очень берегли ее. На стволе оловянные заплаты, в ложе трещина, замазанная пихтовой смолой. Но все-таки — настоящее ружье. Вот уж подарок так подарок!

Я обнял деда за шею, поцеловал в колючие щеки. Он погрозил крючковатым пальцем.

— Ах ты, плут этакий! Ах ты, плут! Ну, гляди: будешь худым охотником — отберу подарок.

...Всеволод Евгеньевич пригласил в школу нас, быв-

ших учеников, поздно вечером, когда почтальон принес из Ивановки газеты. В числе приглашенных не было только Павелка Бородулина: учитель не любил его, не доверял ему.

— Друзья мои! — начал Всеволод Евгеньевич. — Три дня назад в Петербурге войска расстреляли мирную демонстрацию рабочих. Люди шли — с иконами и хоругвями — к царскому дворцу, чтоб просить милости, облегчения от невыносимой жизни. Им ответили свинцом! Запомните девятое января! День пролитой народом крови! День траура и позора!

Мы обещали помнить этот день.

— Многим из вас придется служить в царской армии, — продолжал учитель. — Вам дадут боевое оружие. Может быть, прикажут стрелять в народ. Но помните всегда: мы сыны народа и слуги народные. Прежде чем принять царскую присягу, присягните сердцем своему народу. Солдат, стреляющий в братьев и отцов своих, предатель, палач народа! Не забудете это?

— Не забудем! — дружно отозвались мы, взволнованные горячими словами учителя.

— Хорошо, — сказал он. — Идите по домам. Если не хотите, чтоб меня посадили в тюрьму, пусть все сказанное сегодня мною останется между нами: не говорите об этом ни отцам, ни матерям! Пока нужно молчать...

И мы дали слово молчать.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Масленицу в Кочетах справляли широко. В каждой избе стряпали рыбные пироги, пельмени из жирных наливов, жарили блины, оладьи, пекли сдобные пышки, кренделюшки, варили брагу и пиво.

Ездили в гости по окрестным деревням в кошевах, покрытых домотканными коврами, в гривы лошадям вплетали алые ленты, под дугой — колокольцы, на уздечках и седелках — бубенчики-ширкунцы.

Дней за десять до масленицы парни начали делать на Полуденной каток. Расчистили снег на льду, горку

хорошо утрамбовали, полили водой. Каток наш славился. На него приходила молодежь ближних деревень, кое-кто приезжал на лошадях из Ивановки.

В первые дни масленицы катались только малыши на деревянных салазках и коньках. С четверга малышей вытесняли взрослые парни с тяжелыми санками на железных полозьях.

Подростки с четырнадцати лет переходили на катке в компанию взрослых. В прошлые годы я не хотел стать взрослым, и была тому особая причина. Парни — по заведенному обычаю — катали девок и, скатившись, целовали в губы. Вот эти-то поцелуи пугали меня...

Теперь — будь что будет! Я достал из кладовой отцовские санки с бархатной подушечкой, отполировал напильником кованые полозья и вышел на каток.

С утра было свежо, синий лед катка блестел под холодным солнцем, весело искрились в пойме снега. Над прорубью, где брали воду для полива, вился светлый парок.

На левой стороне горки стояли девки в праздничных шубках с лисьими, куньими воротниками. Девок было гораздо больше, чем парней, и не каждой выпадало кататься. Парни приглашали самых красивых, самых молодых. Некрасивые и перестарки часами стояли без движения. Как они завидовали, должно быть, счастливым подругам!

А красивая девка едва успевала взобраться на горку, вновь раздавался чей-нибудь ласково просящий голос:

— Катерина Петровна, пожалуйста скатиться! — и она, запыхавшись, победно и весело улыбаясь, бежала к санкам пригласившего ее парня. Внизу парень целовал ее, брал под руку, и они вместе поднимались на горку.

Было что-то глубоко несправедливое в том, что одних девок все время катают, а другие мерзнут на «очереди». Я сказал Колюньке Нифонтову:

— Давай катать замерзающих..

— Очень-то нужно! — ответил он. — Сидели бы дома. Косоротые, пучеглазые, рябые — все валят на каток. Кому ж охота целоваться с ними?

— Можно без поцелуев.

— Как так? — Колюнька засмеялся. — Все целуются, а мы всухую? Нет, в этом я тебе не товарищ.

И он, словно издеваясь надо мною, позвал красивую девчонку, лихо чиркнул по льду бороздилками и понесся с горки.

Я, назло Колюньке, пригласил Зинаиду Сироту. Она так привыкла стоять браковкой, что сперва не отозвалась на приглашение: вероятно, подумала — чудится. Я громко повторил:

— Зинаида Николаевна, пожалуйста скатиться!

Она вздрогнула, недоверчиво озираясь, подошла и села в санки. Мы скатились благополучно. Зинаида встала, откинула голову. Я чуть слышно сказал:

— Целоваться не будем.

— Это что же, брезгуешь? — прошептала она. — Значит, на позор катил? Люди ж смотрят! Шмякну об лед — будешь помнить!

И тогда я — будто с крутика в омут ринулся! — чмокнул холодные злые губы Зинаиды. Она прильнула ко мне и пощекотала языком мой язык. Я резко отшатнулся, с укоризной посмотрел на нее.

— Зачем ты так?

— Ты не знаешь? — удивилась она. — Ох, несмышленьш! Все так делают. Поцелуй с языком — высший сорт.

Когда поднимались на горку, Зинаида сказала:

— Спасибо, Матвей!.. Этот день я, может, до смерти помнить буду.

И такая теплота, такая женская нежность была в словах Сироты, что у меня заныло сердце, и я опять пригласил ее скатиться.

Внизу все повторилось. Но поцелуй с языком уже не показался таким страшным. «Ничего, привыкну, — думал я. — Все-таки это легче, нежели пахать целину сабаном...»

За день я перекатал всех некрасивых, выслушал от них много ласковых слов, нелицемерных похвал. Парни смеялись надо мною и ехидно спрашивали:

— Ты что, подряд взял катать кикимор?

Насмешки задевали, однако я был доволен проведенным днем.

Мать встретила меня хмуро — кто-то успел насплетничать о моем «геройстве».

— Сам придумал или добрые люди научили ублажать рябых да кривых? — допытывалась мать. — Теперь стыда не оберешься. Вся деревня потешаться будет.

— Начудил, внук, начудил, — смеялся дед, но в смехе его не было осуждения. — Отродясь не слыхивал такого.

Бабушка сказала:

— Это ничего — уважить несчастеньких. Доброе дело, ничего.

— Доброе дело! — рассердилась мать. — Он этак привыкнет чудить, да и женится потом на бельмастой, вроде Зинаиды Сироты. Что тогда запосте? Привыкли потакать глупостям. Его драть следует, а вы: «Ничего, ничего!»

— До женитьбы еще далеко, — уклончиво ответила бабушка. — Насчет невесты мы не прошибемся, и нечего зря каркать.

«Карканье» матери продолжалось весь вечер.

Заглянул Колюнька Нифонтов и сказал, что Павелко Бородулин подговаривает парней бить меня завтра на катке.

— За что?

— А ты не догадываешься?

Нет, я решительно не мог догадаться, в чем вина моя перед парнями. Я никого не задираю худым словом, никого не подшиб санками, ни у кого не перехватил смазливую девчонку или «симпатию». За что же бить?

— За то самое, — объяснил Колюнька. — Кого катал весь день? Павелко говорит, что ты добрее да умнее всех ладишь быть, потому и стал катать девок-уродов, что ты выхваляешься и будто вызов другим делаешь, порядки нарушаешь. Ну и думают проучить. Понял? Как свой своему сказываю. Ты об этом помалкивай, а то и мне попадет через твою глупость.

Я понял наконец все и не знал, что делать: сме-

яться или сердиться. Слишком глупо это было. Какие порядки я нарушил? Кем они установлены? Да разве приходило мне в голову выхваляться?

После ухода Колюньки я пошел к Бородулину. Надо было объясниться с Павелком, пристыдить его. На улице гулял Всеволод Евгеньевич.

— Слышал, слышал про подвиги твои, — сказал он, здороваясь со мною. — Ты, брат, войдешь в историю деревни. Будущий летописец Кочетов ответит, наверно, тебе несколько страниц. Гордись, юноша!

Я рассказал про «карканье» матери, про угрозы парней.

— Да, — задумчиво сказал учитель, — не легко человеку творить добрые дела, потому что даже близкие не понимают и осуждают его. Ты убедился в этом на пустяке. А начни-ка ломать порядки более значительные! Восстань против всего, к чему привыкли, чем живут люди! Ты узнаешь силу вековых привычек... Тем, кто идет проторенной дорогой, живется куда легче: им никто и ничто не угрожает, над ними не «каркают».

Он умолк и шагал насупившись, поглядывая на меня пытливыми глазами. Я проводил его до школьного крыльца.

— Твоя мать насчет женитьбы, разумеется, плела вздор, — смеясь, проговорил Всеволод Евгеньевич. — Но, между прочим, тут доля истины имеется. Встав однажды на путь вызова и отрицания дедовских порядков, из упрямства можно сочетаться браком с какой-нибудь Сиротой. Знаю примеры: студенты — из высоких побуждений — женились на падших девицах, и ничего путного не получалось. Разуму своему приказать можно, сердцу — никогда! Сердце, брат, любви жаждет!

Учитель прислушался к пьяному шуму в избе Семена Потапыча, хлопнул меня по плечу и улыбнулся.

— А ты имеешь предшественника, Матвей. Федор Павлович Карамазов — герой одного из романов Достоевского — сошелся с дурочкой и нищенкой Лизаветой Смердящей, прижил с ней ребенка. И, знаешь, чем он оправдывался? Красивую всякий-де может полю-

бить, а такую вот «мовешку» (по-французски: женщина дурного тона) ошастливить любовью — подвиг и геройство. Подражать Карамазову не надо. Он был человек тронутый. Тут нет ни любви, ни вызова, ни подвига, но есть, как говорят врачи, патология, или, по-нашему, тяжкая хворь.

Всеволод Евгеньевич заговорил серьезно. Он отнюдь не осуждает меня, понимает благородство моего поступка, однако просит не особенно увлекаться этим. Нельзя ставить себя в смешное положение. Надо бороться за то, чтоб всем было хорошо, чтобы даже урод чувствовал себя счастливым на земле, но я начал борьбу не с того конца. Моя затея — мелкое ребячество.

Слова учителя не совсем убедили меня. Казалось, он все-таки не понял главного, судит издали, опирается на книги, неизвестные мне, а нашу кочетовскую жизнь видит смутно, не может догадаться о том, что для меня Зинаида Сирота просто душевный человек. Когда мы с бабушкой сидели в кутузке, эта «бельмастая кикимора» не побоялась прийти к следователю и требовать нашего освобождения. Какая у нее была корысть? Кто еще, кроме Зинаиды и учителя, хлопотал за нас, «фальшивомонетчиков»?

Так думал я... А в пятницу все же не пошел на каток. И совсем не потому, что боялся упреков матери, боялся Павелка Бородулина и его друзей. После ночного разговора с учителем как-то начали двоиться мои мысли, пошатнулась вера в правоту задуманного мною.

На молотильном току дяди Нифонта женатые мужики — по случаю масленицы — играли в бабки: ставили два ряда, издали сшибали их чугуном катышем. Игроки были под хмельком, игра шла крупная.

Я набрал в карманы бабок и вступил в игру. Мне отчаянно не везло. Проигравшись, я дважды бегал домой за бабками. Выигрывал Емельян Мизгирев. В Кочетах поговаривали, будто Емеля водится с нечистой силой, знает всякие наговоры, приворотные зелья, и он сам поддерживал свою дурную славу колдуна. Теперь «колдун» бахвалился, что обыгрывает всех не

случайно, а знает «слово», против которого бессильны завзятые игроки, мастера катыша.

— Брешешь все, — сказал Симон Пудовкин. — «Слово» знал твой дед, а ты пока — нет!

— Я? — пыжился пьяный Емельян. — Да не то что бабки, могу ружье заговорить. Щелкай курком — ни-почем не выстрелит!

Тут я вспомнил загубленную Емелей бабушкину липу, злость обожгла сердце, захотелось осадить «колдуна». Я сбежал домой, принес дедушкину фузею и сказал Емеле:

— Ну, давай попробуем!

Мужики стали подзуживать:

— Сдрейфишь, Емельяха! Только хвастать силен!

Отступить «колдуну» было невозможно. Он пошептал что-то над курком и опустился к стене на четвереньки, подставив под удар тощий зад.

Я отмерил пятьдесят широких шагов, повернулся, с ходу вскинул фузею и спустил курок. Грянул выстрел, мужики ахнули. «Колдун» плашмя упал на солону.

Мне самому пришлось запрягать Буланка, везти «колдуна» в Ивановку на операцию. Фельдшер Нил Михайлович осмотрел больного, покачал головой.

— Э, тут работенки на день хватит: обе ягодицы и спину изрешетило! Черт вас ломает, дураков. С пьяных глаз балуетесь, а мне забота.

Емельян непритворно стонал, ругался и говорил, что пропустил при заговоре одно важное слово, потому и выпалила фузея.

Нил Михайлович сказал, что «колдуну» после операции придется неделю полежать в больнице. Невеселый я вернулся домой.

Дед сердито выговаривал, что ружья держат не для забавы и баловства, — поступку моему нет оправдания.

— Это ему за бабушкину липу, — ответил я, пытаясь смягчить свою вину. — Пусть не безобразничает в чужих огородах!

— О, дитя неразумное! — воскликнула бабушка. — Да ведь Емеля не пойман у липы, мы только поду-

мали на него. Может, и не он. Бог с нею, с этой липой! Экое натворил... Что теперь будет?

— Судить будут, — сказала мать. — Ежели «колдун» умрет, Матвейку посадят годов на пять. Допрыгался, жеребчик!

— Не умрет, — усмехнулся дед. — Фузея на рябчиков бекасинником была заряжена. От такой дробинки не мрут, но долго чешутся.

Мать всегда и во всем видела только страшное, непоправимое. Так и на этот раз: она стала пугать, что, возможно, дробь попала в кишки, а уж тут — конец Емельяну!

— Кишки — дело серьезное, — неопределенно сказал дед.

Субботу мы провели в тревоге. Масленица была окончательно испорчена. В воскресенье меня послали навестить Емелю.

В Ивановке был масленичный базар. Накануне я видел там офеню: он продавал книги с завлекательными картинками на обложке. Небольшая библиотека учителя была мною давно прочитана, и я испытывал книжный голод. Хотелось купить хотя бы две-три книги. Но в семье не было денег; да и будь они, разве в эти дни мог я просить у бабушки двугривенный или полтинник? Все до того были сердиты, что не дали бы копейки.

Я потихоньку нагреб пудовый мешок муки, сунул его в кошеву и уехал навещать Емелю.

Операция кончилась благополучно. Нил Михайлович выковырял у Емели до полусотни дробинок. В кишки бекасинник не попал. Забинтованный «колдун» лежал в постели с потемневшим лицом и мутными глазами. На приветствие ответил сухо и сказал:

— Передай деду, чтоб четвертную бутылку водки приготовил: будем пить мировую.

Из больницы я пошел на базар, продал муку за шесть гривен и на все деньги купил книжек. Что это были за книжки! «Пещера Лейхтвейса», «Русский сыщик Иван Дмитриевич Путилин», «Шерлок Холмс», «Король парижских апашей».

В Кочеты я ехал шагом, привязав вожжи к передку, не погоняя Буланка, и читал, читал, упивался новыми книгами. Все было хорошо. Дома, узнав о том, что Емеля поправляется, все обрадовались. Бабушка даже согласилась достать денег на четвертную.

— Пусть лопают, окаянный колдун, только бы не вздумал судиться.

Поужинав, я уселся читать купленные книги. Мать пошла за водой и вернулась разъяренная.

Оказывается, Катерина Симониха тоже была днем в Ивановке, видела, как я продавал муку и покупал книги. Она сказала об этом матери. Я был изобличен в воровстве.

Началась ругань, какой я до тех пор не слыхивал. Дед, правда, молчал, но бабушка и мать не жалели горячих слов. Мать заодно вспоминала все мои прежние шалости, проступки. «Грехов» накопилось немало: уронил в западню монаха, чудил на катке, подстрелил Емельяна и начал тащить из дому, как тащат мужики-запивохи. Что же делать с непутевым сыном?

На беду в тот час зашел к нам Всеволод Евгеньевич. Мать грубо закричала:

— Вот она, ваша наука! Обучили моего сынка! Воровать стал!

Учитель посуровел и спросил, в чем дело. Ему объяснили. Он мельком взглянул на книжки, взял меня за руку и сказал:

— Пойдем в школу, там поговорим.

Разговор был тяжелый. Всеволод Евгеньевич сказал, что я позорю себя и его.

— Да хоть бы книги-то хорошие купил, — с горечью прошептал он. — А то набрал всякую дрянь. Эту подлую литературу о сыщиках издают спекулянты для одурманивания народа. Понимаешь или нет? И тебя самого понять трудно. Такая смесь хорошего и дурного, ребячества и взрослости, ума и безрассудства, что диву даюсь. Когда же все перебродит, отстоится, придет в норму? Чудной ты малый...

Расстались мы запоздно. Я дал учителю слово не позорить больше ни себя, ни его.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Весну я ждал с нетерпением, а зима долго не сдавалась. В апреле валил и валил запоздалый снег. Днем на солнце притаивало, к ночи поднимался северный ветер, все накрепко застывало, и на оконных стеклах, как зимой, появлялись ледяные узоры.

Давно пора бы прилететь скворцам, а их не было и не было.

Но уж потом какая дружная пришла весна! В какую-нибудь неделю поля очистило от снега, в оврагах зашумели пенистые ручейки. Днем и ночью летели с юга вереницы гусей, лебедей, уток.

Мы начали мастерить скрадки на тетеревином току. Птицы пугливы, осторожны, каждый год выбирают новые места для токования, — надо все обдумать, чтоб не ошибиться.

Дед оглядывал полянки, шагами вымерял расстояние. На краю мохового болота, покрытого сосенками, и близ опушки березника за день появилось до десятка наших скрадок: если потребуется, будем перебегать из одного в другой.

Ночью я думал о предстоящей охоте. Как бы что не помешало... Вдруг испортится погода и птицы будут молчать?

До рассвета пошли к скрадкам. В лесу еще был мрак, но птицы проснулись, воздух был полон какого-то странного шепота: это «чужыкали» старые косачи.

Дед подвел меня к маленькому скрадку.

— Оставайся тут, я пойду дальше. Сиди тихо, сморкаться и кашлять — боже упаси! За битой птицей из шалаша не вылазь, жди вторую, третью. Потом раз всех соберешь.

Он пожелал ни пуха ни пера и ушел, неслышно ступая по мокрой земле. Тьма рассеивалась, заметно светлело небо, отблески утра сверкали в лужах мутноватой весенней воды.

Коротко бормотнул на опушке косач и умолк, выжидая чего-то, вслушиваясь. Опять бормотнул, тотчас отозвался другой, и пошло! Запели десятки птиц, воздух гудел от нежных захлебывающихся звуков. Послы-

шались взлеты, негромкое хлопанье крыльев. Где-то на земле отозвалась тетера: «Ко-ко-ко...»

Птичья песня — как голоса весны. Кажется, никогда не кончится это дивное, звенящее утро. Я вглядывался в редеющий сумрак. На голой молодой березке бормотал косач. Он приседал, вытягивал раздутую шею, выбрасывал резкие, торопливые звуки, словно боялся, что кто-то помешает ему допеть его нескончаемую любовную песню.

Я прикинул глазом — шагов семьдесят. Донесет ли дробь из моей шомполки? Не донесет — напугаю птиц, все пропало!

В стороне — гулкий выстрел. Дед начал... А я все еще думаю, колеблюсь. Взошло солнце. Первый луч скользнул по вершинам сосен, угловатые тени пали на поляну, все вспыхнуло золотыми отблесками. Я опять взглянул на ближнего косача. Его шея переливалась радужно-зеленоватым цветом. Черно-синее, в белом крапе, подхвостье колыхалось перед моими глазами, манило и дразнило: «Стреляй, стреляй!» Под березой суетились две серовато-рыжие тетеры. Они охорашивались, распускали вилообразные хвосты в черных поясках, подавали голос: «Ко-ко-ко...»

Петухи слетели с берез, окружили тетерок, начался бой. Нарядные драчуны с шипеньем налетали друг на друга, выщипывали перья. Донесся второй, третий выстрел деда. Старика хорошо с дальнобойной фузеей! Достанет любую птицу...

Больше ждать нельзя. Я поднял ружье, мушка легла на черное, и палец плавно нажал спуск. Выстрел взорвал тишину, птицы взлетели на ближние деревья, один петух трепыхался под березой. Радостно екнуло сердце — не промазал!

Я продул ствол, насыпал пороху, вогнал шомполом кудельный пыж. Как неудобно заряжать ружье в тесном шалаше. Дрожат руки, сыплется мимо дробь.

На поляну вновь опускаются петухи, затевают драку. Я торопливо насаживал капсюль, чтоб сделать второй выстрел, но старая тетерка подбежала к скрадку, увидела меня, тревожно «кокнула» и взвилась на крыло. За ней улетели петухи.

Наступила такая неприятная тишина. Потянул ветерок. Надо мной тихо шумели сосны, с задорным карканьем пролетали вороны. Шилоклювка села вблизи, стала ковырять длинным носом кочку. От земли шел холодок, но солнце пригревало, воздух был чист, прозрачен и нежен. Хотелось лечь на землю, слушать веселые птичьи голоса, следить за пролетными стаями. Скоро поднимется трава, запестреют цветы, целые дни я буду ходить по душистой земле, охотиться, ловить рыбу. Хорошо жить молодому!

Подошел дед с четырьмя косачами в ягдташе, стал добродушно-ворчливо пробирать меня.

— Что мало добыл? Подшумел, наверно?

Я рассказал, как было дело. Мы двинулись домой. По дороге дед отдал мне двух косачей.

— На-ко, держи, а то неловко деревней идти. Соседи скажут: старик больше молодого несет.

Я немножко обиделся, хотел отказаться. Дед упрямо настаивал:

— Бери, бери! Знаю, что делаю.

Глаза его искрились весельем.

Пришлось взять. Я привязал теплых птиц к ягдташу, хотелось сказать деду, что он добрый, хороший, лучше всех кочетовских стариков, но я знал — он «нежностей» не любит, и молчал.

Бабушка, увидев нас, всплеснула руками.

— Матвейко деда обстрелял! Ну, молодец!

Я чувствовал себя неловко. Дед лукаво посмеивался.

За ужином, когда ели жареных косачей, дед сказал:

— В ночь пойдем на глухариный ток, завтра поохотимся с деревянными профилями на пролетных гусей, потом выйдем на заливы с подсадной уткой — бить селезней. Преподам тебе, Матвей, всю премудрость. Ежели случаем помру, один управишься.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Наступил Петров день — открылась летняя охота по перу. Мне предстоял самый трудный охотничий экзамен. Дед объявил, что будет давать пять зарядов

в день: я должен принести пять птиц, битых непременно в лет. Если охота неудачна, за каждый промах — удар по спине ремнем.

Дед был человеком добрейшей души, он любил меня, но иных способов обучения, кроме беспощадной строгости, не знал: его в детстве обучали так же. Он хотел сделать меня человеком...

Я весной не плохо стрелял по сидячей птице, но убить сидячую — особого мастерства не нужно. Охотник начинается с тех пор, когда валит быстро бегущего зверя, снимает летящую птицу. Не достиг этого — вешай ружье на стену, не теряй попусту время на охоте! Дед понимал это и старался подготовить из меня отличного стрелка.

Перед выходом в лес я знал правила стрельбы дробью. Старик объяснил, что птица летит со скоростью от десяти до пятнадцати саженей в секунду. Я знал скорость полета дробы, влияние бокового и встречного ветра на выстрел. Если птица летит от охотника на высоте человеческого роста, надо целить ей в голову, при угонном же и высоком полете — под птицу, на дальней дистанции — в хвост. Если птица летит низом — закрывают ее стволами, на очень близком расстоянии берут выше, как бы вперед птицы.

Я знал, как стрелять боковую и встречную птицу, летящую над головой охотника, на подъеме колом или штопором. Было мне известно и многое другое, что необходимо знать стрелку.

До стрельбы по дичи мы упражнялись в огороде на швырках: дед завертывал в бересту деревянное чучело тетерева, кидал его в разные стороны. За день я сделал до полусотни выстрелов, разбивал чучела боковые, угонные, встречные, извел множество бересты. Дед одобрительно кричал. К вечеру он перетрудил взмахами руку и сказал:

— Довольно.

Мне хотелось для верности поупражняться в поле на воронах и галках.

— Еще чего выдумашь! — рассердился дед, ненавидящий охотников, которые стреляют «неположен-

ную» птицу. — Бить для потехи никого нельзя! Есть галку не станешь, значит и стрелять в нее — озорство.

В Петров день я ушел с пятью зарядами, вернулся без дичи, получил положенные пять ударов ремнем. То же повторилось на второй, на третий, на четвертый день.

Я ходил без собаки, вспугивал на лесных полянах рябков, глухарей, тетеревов, стрелял по ним на взлете. Они улетали, не обронив пера, словно были заколдованы от моей дроби.

Казалось, стреляю по правилам. Откуда же бесконечные промахи? Я был в отчаянии. Намучившись с боровой дичью, выходил на озера и болота, поднимал уток — промахи, каждый день наказание!

Беда была не только в том, что дедовский ремень ходил по моей спине. О ремне знала вся деревня. Колюнька Нифонтов встречал меня у выгона с каким-то непонятным злорадством.

— Ой, да опять с пустой сумкой? Дедушка даст жару!

Мать и бабушка видели во мне непутевое чадо, которому и ремень ума не прибавляет.

— Старайся, малый! — уговаривала бабушка. — Глаза молодые да вострые, а птицу сшибить не можешь! Пожалей себя, учись!

Я «жалел» себя. Всей душою, всем сердцем хотел овладеть мастерством стрельбы, а оно не давалось.

Я осквернил себя ложью. Летом, когда молодая птица не сторожка, легко сделать пять выстрелов по сидячим. Я стал следить, куда садится поднятый с земли рябок или глухаренок, осторожно подходил к дереву, снимал птицу одним выстрелом.

На озерах я проделывал безобразные вещи: садился на берегу, в кусты лозняка, и ждал. Подплывала утиная стайка. Три-четыре птицы сплывались в кучу. Я стрелял по ним, убивал всех сразу. Так экономил заряды, чтоб стрелять в лёт, и — неизменно «мазал».

Сбитых же «сидяков» я отдавал деду как стрелянных в лет. Порка кончилась. Дед повеселел, ласково хлопал меня по плечу.

Бабушка радовалась и уверяла, что бог помог выучиться стрелять, потому что она каждый день молилась за меня.

А я чувствовал себя неважно. Мучила совесть. Обманщик, жалкий лгунишка, я презирал себя за ложь, но отказаться от лжи не мог.

Что будет, когда откроется обман? А он должен открыться, в этом не было сомнений! Осенью выйдем на промысел, и дед увидит, что я за охотник...

Почему же все-таки не попадаю в летящую птицу? Дед попадает, дядя Нифонт, даже Зинаида Сирота попадает, а мне заказано. Почему? Я не находил ответа.

Перед стрельбой в лет вспоминал наставления деда, бил навскидку, бил с выдержкой, бил с поводом — результат один: промах!

«В деревянные чучела-швырки на усадьбе попадаю, — размышлял я, — в летящую птицу попасть не могу. Швырки, брошенные рукой деда, летят не хуже, чем глухарята, — значит, глаза мои в порядке. Значит, умею стрелять в лет». Выходило: умею и не умею. Дома — умею, в лесу и на озерах — «мажу».

В те дни в Ивановке задержался по делам окружной лесничий графа Строганова. Он заехал к нам, сказал, что его любимая дичь — бекасы, и обещал платить пять копеек за каждого долгоносика.

Цена была подходящая: летних рябков мы продавали по гривеннику пара. Заряд в моей шомполке обходился в четверть копейки — был расчет промыслять бекасов.

Дед выслушал лесничего, усмехнулся, показал на меня.

— Эва, молодой охотник! Он долгоносиков целый короб нащелкает.

Лесничий, видимо, сам был из неудачливых охотников. Он сощурился и сказал:

— Бекас — птица верткая. Сомневаюсь, чтоб такой оголец мог ее стрелять.

Дед решил постоять за внука.

— Оголец даже чирков на лету сшибает! А чирок-

то куда прытче бекаса летит. Будьте благонадежны: без бекасов не останетесь.

Лесничий ушел. Я сидел как пришибленный. Бекас на дерево не садится, по воде не плавает. На болоте же, в кочкарнике и траве, эту маленькую пичугу в сидячем положении не увидишь и не убьешь.

«Это бабушкин бог вздумал покарать меня за ложь, — размышлял я. — Лесничий послан в наши края богом...»

Ночью снились страшные сны: бекасы подлетали ко мне, долбили по голове шилообразными носами: «Мы покажем — на птицах пятачки зарабатывать! Мы глаза выклюем!»

Утром, взяв у деда десять зарядов, я отправился на болото. Шел убежденный, что этим днем кончится моя охота. Дед отберет ружье.

Бекасов было множество. В течение каких-нибудь двадцати минут я сделал десять выстрелов, сшиб восемь птиц.

Только два промаха... Непостижимо! И до того ошеломил этот успех, что я даже не мог радоваться — был как в угаре. А каким чудесным казался мир в то утро!

Я пересчитал теплых птиц и все думал:

«Что за притча? Если не попадаю в летящего глухаря, как же мог свалить бекасов — птиц крохотных, тощих, летящих быстро?»

Долго разгадывал я загадку. Прикидывал так и сяк... Наконец все мало-помалу прояснилось. Рябок, тетерев, куропатка, гусь, утка, глухарь считаются дичью. Как дичь они вошли в мое сознание чуть ли не с пеленок, трепет их крыльев при взлете волнует. Я горячусь, делаю промахи.

Лишь кажется, что стреляю по правилам. А на самом деле вскидываю ружье наугад, бью выше или ниже птицы.

Бекас же не дичь. Никто в деревне до приезда лесничего не стрелял бекасов. Взлет их, как птицы несъедобной и никчемной по нашим таежным понятиям, не горячил меня совершенно, и я стрелял по болотным

долгоносикам с не меньшей меткостью, чем по швыркам на усадьбе.

Когда это открылось, я повеселел.

«Что же сделать для того, чтоб стрелять в лет ровую и водоплавающую дичь?» — спросил я себя, и ответил: «Побороть горячку, бить глухаря, как бекаса».

Понятно, придется еще немало потрудиться над тем, чтобы уравнивать глухаря с бекасом. Однако это уже не пугало.

Мысленно благословил я лесничего и отправился домой.

«Завтра пойду в лес, — думал я по дороге, — буду смирать свое сердце перед выстрелом, и дело, пожалуй, наладится».

Так оно и вышло.

Осенью не страшно было идти в тайгу с дедом. Я овладел мастерством стрельбы в лет и знал, что не уступлю старику.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Надвигалась осень. Полевые работы кончились. Я постреливал на осинах глухарей, добывал рябчиков, но взрослые еще не признавали меня охотником. Настоящим промысловиком считался тот, кто убил медведя, лося, куницу, соболя, росомаху или рысь.

Правда, у меня была одна встреча с медведем, но кончилась она так, что и вспоминать не хочется.

Однажды я отдыхал, сидя на валежине. На тропу, шагах в сорока, выкатился медвежонок. Пузатый, лохматенький первогодок звереныш!

Невозможно было свалить его крохотным зарядом из моей шомполки, но все-таки я выстрелил. Почему? Просто так, вздумалось пошутить с малюткой!

Должно быть, две-три дробины попали в цель. Медвежонок вертелся и скулил. На плач из ельника примчалась мамаша, смекнула, в чем дело, и ринулась ко мне.

Я бросил шомполку, с ловкостью кошки забрался

на дерево. Не было ни ножа, ни топора для защиты. Я знал, что медведи не плохо лазают по деревьям, и гибель казалась неизбежной.

Медведица почему-то не полезла за мной. Встав на дыбы, она злобно трясла молодую елочку, на которой я сидел. Дерево качалось, готовое вот-вот повалиться. Кружилась голова, сердце стучало так, словно хотело выпрыгнуть из груди, но я не разжимал пальцев, вцепившихся в смоляные ветки.

Медвежонок сидел на дороге и плакал. Мать поворачивала голову, раздраженно шипела. Я понимал ее так:

«Молчи! Видишь, трясусь? Вот стряхну этого бездельника, наломаю ему бока!»

Мишутка плаксиво тянул:

«Ты, мам, как следует наломай! Пусть не стреляет маленьких!»

Медведица тихо урчала:

«Наломая, Мишенька. Уж я постараюсь!»

Она бы наломала... Выручили меня соседи. Они «стригли» в тайге рябину и выехали к тропе на шести лошадях, навьюченных мешками с «уральским виноградом». Мужики громко разговаривали, кони ржали, почуяв медвежий дух.

Медведица прислушалась, недовольно уркнула и пошла в кусты. За нею, смешно переваливаясь, ковылял Мишутка.

Я слез с дерева, ничего не сказал мужикам. Такими «подвигами» охотники, даже юные, не хвастаются.

Храбрые люди, возможно, улыбнутся над моею исповедью. Я советую всем храбрецам посидеть — хотя бы десяток минут — на елке, которую трясет разъяренная пятнадцатипудовая медведица! Посидеть без надежды на спасение, не ведая о том, что едут мужики-избавители, — и храбрецы все поймут...

На зорях дед выходил под окно, долго глядел в верховья, где синеют в тумане горы. С наступлением заморозков старика охватывало беспокойство. По каким-то древним приметам он точно предсказывал, когда выпадет снег, когда станет река.

С первым снегом охотники уйдут в дальние уголья на белкованье, на соболевку.

Ах, если бы дед взял на промысел! Уж чего-чего, а дорогого зверя-то я достану. Забывая мудрые наставления Всеволода Евгеньевича о вреде предрассудков, я даже подумывал о жар-птице. Вдруг мне удастся ее поймать! Я договорюсь с ней, выпущу на волю, и она будет загонять в мои ловушки чернобурых лисиц, в сети — рыбу...

В одну ночь землю засыпало мягким, пушистым снегом. По реке плывет свинцово-серая шуга. Холодное небо низко нависло над деревней. В сад прилетели нарядные снегири. Летом и осенью их у нас не бывает — значит, сомневаться насчет зимы нечего.

Дед чинил на дворе сани, дымил трубкой, напевал солдатскую песню. Я догадывался, что старик возится около саней не зря, и спросил, скоро ли он поедет в свою долину Двух Ручьев.

— Готовлюсь, — отозвался старик. — Самая пора настает.

— Меня не возьмешь — один на лыжах в тайгу пойду, — сказал я, и голос мой дрогнул.

Дед выпрямился. Глаза его улыбались.

— Весь в меня, бесенок! Что делать, не знаю. Мать просит дома тебя оставить, за скотиной доглядывать. Пожалуй, возьму, ежели мать уломаем.

Весь день я ходил по дому в тревоге. Вечером бабушка потихоньку шепнула, что мать отпускает меня. От радости я обхватил ее шею руками, поцеловал в щеку.

— Только боюсь, Матвейко, — шептала бабушка, — баловной ты, испортишь деду охоту...

Я дал клятву: баловства не будет, во всем стану слушаться деда.

Спать легли рано. Дед поднял всех на рассвете.

— Ну, соболятник, едем!

Я поспешно одевался, носился по избе, опрокидывал скамьи, табуретки. Бабушка, посмеиваясь, собирала нас в дорогу. Сборы были недолги. Дед все подготовил заранее.

Сели в легкие розвальни. Бабушка — кучером. Она

стегнула Буланка вожжой, и сытый мерин ходко помчал нас в тайгу. Урма и Пестря бежали за санями.

Долго ехали в студеной тишине. Снег отливало голубым, розовым, синим. На свежей пороше — стежки белок, зайцев, горностаев. Следы горячили собак. Урма вытягивала морду, тонко взвизгивала, будто приглашая остановиться. Пестря ошалело кидался к следам, но дед кричал:

— Назад! — и собаки бежали в санную колею.

Чем дальше проникали в лес, тем больше было звериных следов. Пестря метался из стороны в сторону. Дед посадил собак в розвальни.

В полдень остановились на привал, развели костер, вскипятили чайник. Бабушка долго кормила Буланка.

— Давай запрягать, — молил я деда и с ненавистью смотрел на Буланка: жует и жует, лохматая скотина, будто три дня не кормили!

Дед хлопал рукавицами, отогревая руки, сдержанно говорил:

— Куда спешить? Не на пожар едем.

У бабушки сердце доброе: она поняла мое нетерпение, начала запрягать. Мы тронулись. Тайга становилась гуще и темнее. Встречались крутые угоры, лога, груды валежника.

Дальше ехать на санях было невозможно. Мы слезли, привязали к опояскам лыжи. Бабушка осталась. Я слышал за спиной милый старческий шепот:

— Ни пуха ни пера вам, охотнички!

Дед вскинул на плечи огромный пестерь с сухарями и морожеными пельменями — охотничьим припасом.

— Пошли, — сказал он каким-то новым, помолодевшим голосом.

Вечерело. Тихо было в снежном лесу. Склоны гор были охвачены широкими тенями. Дед шел впереди, по бокам бежали собаки. Скоро перевалили через горный хребет и спустились в заповедную долину Двух Ручьев. Там была избушка, построенная когда-то дедом для промысла. Вокруг избушки стеной стояли мохнатые ели и пихты.

...В камельке потрескивали дрова, пламя бросало

на стены светлые отблески. Дед готовил ужин, рассказывал о своей молодости, о повадках красного зверя.

Утром, чуть свет, вышли на промысел. Дед ставил капканы, плошки, поставухи. Я шагал за ним по пятам, приглядывался. В лесу весело щелкал мороз. Снег на полянах лежал голубыми озерами.

Дед бормотал над ловушками:

— Встану я, раб божий Спиридон, перекрестясь, пойду, благословясь, из ворот в ворота, из дверей во двери, на восток, на запад. Ставлю ловушку на лисицу рыжую, на лисицу чернобурую, на темного соболя...

Потом долго натирал капкан пихтовыми лапками.

— Запоминай науку, Матвей. Голой рукой железо трогать — боже упаси. Зверь хитер. Он, поди-ко, за версту чует. Самое любезное дело пихта: отшибает человеческий дух.

Он ловко срезал деревянной лопатой снег, опускал в лунку капкан, засыпал его сверху.

На другой день взяли ружья, пустили собак. Лыжи легко скользили по мягкому снегу. Мы шли в сторону от ловушек, потому что собаки могли попасть в расставленные дедом капканы. На поляне, почти из-под лыж, разбрызгивая снег, поднялась тетеревиная стая. Треск проворных крыльев напугал меня, и я не успел вскинуть ружье. Дед выстрелил, два черныша упали на снег.

— Знатную похлебку сварганим! — улыбнулся старик. — А ты что? Особого приглашенья ждешь?

— Прозевал.

— В лесу зевать не полагается: гляди в оба, зри в три, — наставлял дед. — Зеваки лапти плетут да на полатях валяются.

Первые дни не очень везло. В ловушки никто не попадал. Крупный зверь, по словам деда, куда-то переместился. Охотились на белок. После каждого выстрела дед кричал:

— Ком на пол!

Я однажды спросил:

— Зачем говоришь эти слова? Разве белка и так не упадет?

— Кто же ее знает, — смущенно ответил старик. — Может не упасть.

У Пестри был широкий поиск. Он работал сам по себе, но когда Урма находила белку, подавала голос, он бешеным скоком летел к ней, помогал облаивать.

Первую мою белку-подранка Пестря схватил поперек тушки. Зверек изогнулся, вонзил резцы в ноздри собаки. Пестря визжал, катался по снегу, но белки не выпускал.

— Помоги, дедко! — крикнул я. — Она порвет ему ноздри!

— Пусть привыкает, — спокойно сказал дед. — Урма по первому году тоже брала как попало, доставалось и ей.

Я помог Пестре освободиться от белки, а дед ворчливо наставлял пса:

— Учись, учись, дурак! Бери за горло, и она не укусит. Не научишься брать бельчонок — не возьмешь кунцу, не возьмешь соболя. А раненую рысь за бок схватишь — кишки выпустит!

И он показал, как брать: сунул белку в пасть кобелю, сжал его челюсти. Пестря фыркал, тряс головой, а дед посмеивался:

— Вот так! Вот так!

Валил снег, дули жгучие ветры. В такие дни белка хоронится в гайне, ее не видно. Но собаки облаивают дерево. Дед стучит обухом топора по стволу, я оглядываю запушенную снегом ель.

— Ну что? — спрашивает дед.

— Не видать.

Потом я остукивал дерево — старик высматривал, но и он ничего не видел.

— Полезай на дерево, Матюха!

С ружьем за спиной я поднимался по скользким, обледенелым сучьям. Стыли руки, колючий снег набивался за воротник. Я тряс дерево, гикал, взбирался почти к самой вершине. И белка наконец оказывала себя.

— Стой, вижу! — кричал дед.

Я спускался. Ухал выстрел, зверек падал, и его на лету подхватывали собаки.

Бывало белка сидит на таком дереве, что на него не взобраться. Тогда я лез на соседнее, обнаруживал зверька, прилаживался и стрелял.

Однажды после сильной отдачи я сорвался с пихты и упал. На счастье, под деревом был мягкий сугроб.

— В твои годы я падал — счету нет, а живу до сей поры, — успокаивал дед. — Когда летишь с дерева, норови на ноги встать: они, брат, пружинят, ноги-то.

Вечером, в избушке у камелька, я спросил деда: не видал ли он жар-птицы? Какая она? Какое у нее перо?

— Да ведь как сказать? — ответил старик. — Она, поди, не всякому себя оказывает. Подойдешь к ней, обернется ронжею или черным дятлом — вот и раскуси. Лик ее вряд кто видал. Одним словом, волшебная птаха. Да погоди, доберемся до нее.

— А что, ежели поймаем? В один год разбогатеем, на охоту не пойдем.

Мои слова напугали деда.

— Наплетешь тоже! О богатстве думать не моги: от него всякая скверна по земле идет. Как это — не ходить на охоту? Человеку ноги, руки даны, чтоб трудиться.

Я молчал. Он подкинул в печку дров, продолжил свою мысль:

— Ты, парень, за легкой поживой не гонись: увидишь в чужом капкане горностаю, лису или кого другого — не бери! Хозяин придет — сам возьмет. Чужая собака гонит зверя — стрелять не смей! У нас в роду того не было — чужим корыстоваться. У кого совесть не замарана, тот по ночам крепко спит, все люди ему други да приятели. Запомнишь, что говорю?

— Запомню, дедушка.

Пробыли в тайге две недели. Крупного зверя не убили, жар-птицу не поймали, но принесли много белок, все шкурки были первого сорта.

Дед был доволен. Обо мне и говорить нечего.

Бабушка была рада нашему приходу, нашей удаче, рассказала деревенские новости. Дядя Ларион опять «оперился» и надел золотую коронку на зуб. В городе Ларион познакомился с каким-то доктором, начавшим лечить ревматизм и подагру муравьиным со-

ком и припарками из ошпаренных рыжих муравьев. В наше отсутствие Ларион отвез доктору два воза муравьищ, получил много денег, на днях собирается опять ехать.

— Скажи на милость! — усмехнулся дед. — Да как он того доктора отыскал?

— Это уж его спроси, — смеялась бабушка. — Хвастает, что на муравьях большой капитал заработать можно. Народ к доктору валом валит. Муравьища только давай, только давай!

Мать сказала:

— А ведь, пожалуй, зря Матвейку не пустили в письмоводители к Лариону. Голова у Лариона шибко варит.

Дед махнул рукой.

— Ну его, пустобреха! К весне снова все профукает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мы немного отдохнули дома и опять ушли на лыжах в долину Двух Ручьев. Снегу прибавилось, стало труднее добывать белок. Лайки сильно уставали. Я ждал встречи с дорогим зверем, и этот день наступил.

...Сперва негромко твякнула Урма, затем подал голос Пестря, и обе собаки прытко понеслись по увалу.

Дед остановился, снял шапку. Глаза его были широко раскрыты, лицо напряглось.

— По красному, — сказал он. — Ну, Матвейко, гляди!

Я еще не знал, кого гонят собаки, но по лицу деда догадался — зверь стоящий.

Мы постояли, прислушались и, определив направление гона, вышли на собачий след. Снег был глубокий, но твердый — лыжи не проваливались. За плечами у деда висели пудовые тенета для ловли соболей. Согнувшись и взмахивая длинными руками, он летел, как на крыльях.

Мы обходили толстые валежины, скатывались в лога, взбирались по голым обледенелым кручам. Впе-

реди, влаивая, бежали собаки. Перехватывало дыхание. Казалось, никогда не догоним зверя. Хотелось остановиться, передохнуть, и я негромко поддразнивал деда:

— Дедушка, наверно, не тот попал? Ишь, как здорово чешет!

Старик оборачивал злое лицо, шипел:

— Провались ты, бесенок, пустая голова!

Бежали часа два. Я выдохся, начал отставать. Но тут собаки «посадили» зверя. Ухо мое поймало спокойный призывный лай, можно было различить тонкий голос Урмы, глуховатый и гулкий басок Пестри.

Осторожно подошли к собакам. Зверь сидел на высокой косматой пихте. Должно быть, такие деревья созданы в наказание охотникам: на них невозможно ничего разглядеть.

Дед взвел курок фузеи, обошел пихту. Я вытягивал шею, глядел во все глаза — ничего не видел! Дед вскинул ружье, прицелился. У меня сжалось сердце: он убьет!

Как завидовал я зорким глазам деда! С каким волнением следил за ним! Курок фузеи шлепнул: сейчас грянет гром — и зверь упадет на снег, как падали сотни других зверей и птиц на прежних охотах.

Выстрела же нет и нет. У деда и раньше случались затыжки, такая уж нескладная фузея. Но сейчас тишина была необычно долгая.

«Осечка!» — сообразил я, и стало немного легче.

Дед подсыпал в капсуль порох, насаживал новый пистон. Всегда спокойный, уверенный в себе, теперь он торопился.

Рядом со мной, задрав голову, повизгивал Пестря. Я глянул в то место, куда направлена собачья морда, и заметил темный комок возле ствола.

«Вот он, соболю! опередить деда — зверь упадет к моим ногам, и я возьму его в руки, я!»

Сколько раз снилось это во сне! Холодок пробежал по спине. Какое-то новое чувство свободы и удачи охватило с ног до головы.

Я вскинул ружье и, не целясь, нажал спуск.

Соболь, почудилось мне, насмешливо фыркнул, со-

рвался с пихты и понесся «грядую» — с дерева на дерево. Собаки бросились в угон.

«Что наделал!» — подумал я, и горечь сдавила грудь.

Дед повернулся — кулаки сжаты, лицо растерянное. Я ждал, что он прибьет меня, и готов был покорно принять любые удары: заслужил!

Он замахнулся, но не ударил.

— Фефела! Взял на свою шею помощника!

И снова мы встали на лыжи, заскользили по скрипучему снегу. Далеко-далеко впереди лаяли собаки...

Встреча с красным зверем всегда волнует охотника. А в тот памятный день, когда решалась моя судьба промышленника, я был охвачен такою горячкой, что не чувствовал земли под ногами.

Соболю, должно быть, надоело скакать по деревьям: он схоронился в халуй — груду валежника. Собаки прыгали вокруг халуя, рыли лапами снег, повизгивали, но до зверя добраться не могли.

Дед поставил фузею к дереву, стал разворачивать тенета, похожие на крепкую рыболовную сеть.

Мы быстро затянули халуй со всех сторон. Через каждые три шага дед ставил подпорку, втапывал в снег нижний край тенет, чтоб соболю не прошмыгнул низом. Когда тенета сомкнулись, стало веселее: дело идет на поправку!

Если зверь убит, лайка бережно схватит его, подаст хозяину. Подранок и живой сопротивляется — собака в азарте рвет дорогую шкурку. Дед, боясь, что Урма и Пестря порвут соболя, вывел их из круга, отдал мне.

Я встал поодаль. Старик тыкал шестом в щели халуя, ворочал сваленные крест-накрест валежины, покрикивал:

— Кыш! Выходи, выходи, божья тварь!

«Божья тварь», однако, не спешила выходить. Собаки рычали, рвались, трудно было укрощать их. Наконец соболю все-таки выскочил, попал в тенета, но не запутался и стал носиться по кругу. Дед ударил его шестом и... промахнулся!

Тут произошло неожиданное. Пестря опрокинул

меня, бросился к тенетам, они упали, соболу открылся выход, и он, словно подброшенный пружиной, махнул через собаку, взбежал на дерево, пошел грядой.

Дважды зверь был в руках — и дважды упустили его! И в обоих случаях соболь ушел по моей вине. Теперь-то я был убежден, что дед прогонит меня в деревню, останется на промысле один, — что толку в помощниках, неуклюжих и бестолковых, как я? Было боязно взглянуть на деда.

— Пускай собаку, фефела! — крикнул дед.

И я пустил Урму.

Старик освободил Пестрю из тенет. Обе собаки бросились в угон за соболем.

Дед обрушил почему-то свой гнев на Пестрю.

— Проклятущая собачонка! Здоров, как лошадь, а ум куриный! Через него зверя не взяли! Повалил снасть, волчья образина!

Началась еще более изнурительная и быстрая гонка. Я изнемогал. Казалось, споткнусь, упаду на снег и не встану.

Дед скрылся из глаз. Собаки чуть слышно тьякали где-то на склоне увала. Выбиваясь из последних сил, я бежал по лыжне деда.

Соболь тоже, видимо, заморился: прыжки его становились короче, бег замедлялся. В редколесье он сорвался с дерева и чуть не попал в зубы Урмы.

Мы снова затенетили соболя в халуе.

Небо гасло, надвигалась ночь.

— Будем сторожить, — сказал дед, вытирая шапкой распаренное лицо. — Ночью брать несподручно, да и уходились здорово — еще упустим, не дай бог!

— Ну, понятное дело, — поддержал я старика, — утром возьмем.

Невдалеке от халуя срубили сухостойную ель, развели костер. Собак тоже тянуло к огню. Они были измучены, хотели есть, но что-то более сильное, чем голод и мороз, удерживало их возле тенет.

Я подзывал Пестрю. Он хватал из моих рук мерзлый хлеб, мгновенно размалывал челюстями и бежал к халуу.

— Эх, чайку бы испить! — вздыхал дед, озаренный

отблесками огня. — Котелка-то, старый дурень, не взял.

— Завтра в избушке поьем. Ради соболя потерпеть можно.

— Ладно, перебьемся, — ответил дед. — Я, от нечего делать, сказки баять стану. Слушай да мотай на ус.

— Уснем, а он подроеет дыру под тенетами.

— Без нас не тронется, — уверенно сказал дед. — Он ведь чует, что копошимся, вот и притих: ждет, когда уйдем. А если и тронется, Урма упредит. Послухай сказку про медведя. В дальних краях, в темных лесах дремучих, на сибирском тракту проедем, задумал один старичок со старухой постоялый двор выстроить, ямщиков обогревать, поить-кормить. Сказано — сделано. Ямщики валом повалили! Разбогатели старик со старухой, сот пять денег накопили. Прознали об этом разбойники, вздумали ограбить старика...

Дед ровно тянул нить сказки. Дома сладко было дремать под этот мягкий, певучий говор. Здесь я не мог заснуть. Один бок невыносимо жгло, другой застывал. Да и как спать, слушать сказки, если рядом соболь?

Старик тоже хитрил, притворялся спокойным. Близость соболя горячила и его. Он забывался ненадолго, внезапно вскакивал, тер глаза, набивая махоркой трубку.

— Что? Никак Урма тьякнула?

Я отвечал, как старший младшему:

— Ничего, спи, слушаю.

— Ежели ненароком того... богу душу отдам, — тихо проговорил дед, — Пестрю береги, никому не отдавай! Из него собака выйдет, каких мало. Урма сдавать стала, а Пестря годов десять прослужит. С ним без добычи не останешься.

Чудной старик! Вчера только ругал Пестрю последними словами.

На рассвете привязали собак к дереву, пошли с шепами в халуй. Дед яростно ломал и топтал валежники.

— Эге-е-ей! Кыш!

Соболь выскочил в двух шагах от меня, попал в тента. Я навалился на него всем телом.

— Держи, держи! — кричал надо мной дед и взмахивал шестом. — Крепче держи!

Я ухватил соболя за шею. Лапы зверя запутались в ячейках тенета, но все же он до крови оцарапал мне руки. Я чувствовал холодок острых когтей, судорожные рывки, но рук не разжимал.

Дед легонько стукнул соболя шестом по голове — и все кончилось.

Я взял зверя за хвост, поднял над заалевшим от крови снегом.

До чего хорош! Темная ость с дымчато-бурым подшерстком на горбу отливала золотистой искрой. Невозможно было оторвать глаз от головы с большими ушами. Ноги потолще, чем у куницы, мех нежный и мягкий. Морда черная, в серой пестринке, шея и бока рыжеватого цвета, брюшко желточно-желтое.

Дед весело сказал:

— С полем, Матвеюшко!

Сладко кружилась голова. Теперь я — заправский охотник! Знаю, как ловить соболей, один найду дорогу к этим заветным местам. И жар-птица не уйдет, как уходила от деда!

Заря занималась над студеным лесом. Небо ярко синело. Собаки, обиженные тем, что охотимся без них, рвались и повизгивали.

Дед взял из моих рук соболя.

— Матерущий какой! — тихо сказал он. — Кабы не ты, он, гляди-ко, опять бы на дерево сиганул! Староват я, видно, стал, твердости в руках нет. Вот уж заявимся домой, тебе фунт пряников куплю, розовых, с завитушкой.

Пряники! Я думал стать первым охотником деревни, а меня, как маленького, собираются угощать пряниками!

Но я не сердился на деда — мое сердце было наполнено радостью, я прощал ему все.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В те недели газеты почему-то задерживались на почте, и городские новости мы узнавали с большим опозданием.

Пришел в гости на лыжах брат деда, Максим Демьяныч. Он жил где-то на заимке, верстах в двадцати от Кочетов, появлялся у нас редко. Был он моложе деда, приземистый, плотный, с острой бородкой, говорил громко, часто взмахивал длинными руками. За столом поговорили об охоте, о ценах на пушнину. Максим только что вернулся из города.

— По реке, в деревнях, что творится, господи боже мой! — сказал Максим. — Мужики бунтуют. Урядников посажали в холодную, у старшин бляхи посрывали, податей, налогов не платят. А в городе народ объявил царю забастовку, начальство перебито, красные флаги на домах.

— Солдаты что смотрят? — спросила бабушка.

— Солдаты? Они от присяги отказались, почище мужиков бунтуют. Губернатора вывели на колокольню, столкнули вниз головой. Вот как они, солдаты, действуют.

Проводив Максима, дед пошел к Всеволоду Евгеньевичу, пробыл у него часа два. Вернулся веселый, послал меня собирать мужиков.

— Говори — важное дело. Пусть немедля идут. Семена Потапыча Бородулина не зови,

Я собрал сходку.

— Вот что, православные, — начал дед. — Россия на царя поднялась. Губернаторов, помещиков бьют. Народ в свои руки все берет. И солдаты многие, слышать, на царскую власть ружья поворачивают. Я думаю, что и нам пора. Мы тоже утеснение терпим от графских людишек. Дерут за всякую мелочь деньги. Что в тайге да в воде добудешь — им подавай. Побаловали псов — хватит: для себя стараться начнем.

Одним слова деда пришлось по душе. Они говорили, что пора выгнать графских доверенных. Другие боязливо слушали, помалкивали. Потом завязался горячий спор.

Харитон Вахонин стучал костылем по полу.

— Царь — помазанник божий. Как можно супротив царской власти идти? Кто бунтует, у того руки-ноги отсохнут. Когда-то, в далекие времена, Степан Разин да Емельян Пугачев тоже поднимали народ на царей, но ничего не вышло. А в те поры царская власть была молодая, слабовата. Теперь же у царя мильон войска, полиции, казаков. Куда там!..

Дед обозвал Харитона заячьей душой. Харитон, обиженный, надел шапку и ушел. За ним — человек пять. В избе остались те, кто согласен с дедом.

— На трусов надея плохая, — сказал дед, когда захлопнулись двери. — Придется нам, мужики, без них управляться.

— Управимся, — ответил Тарас Кожин. — Только с чего начинать?

— Первым делом старосте Семену Бородулину бока намять, — сказал дядя Нифонт. — Из кожи лезет, помогает графским обирать мужиков. Свой, а хуже чужих.

— Не мешает проучить Семена, — согласился Емельян Мизгирев. — Укоротить ему руки маленько. Я первый начну, а вы подсобите.

Потолковав, мужики ушли.

Сходка собиралась каждый день. Емельяна Мизгирева посылали куда-то на лыжах в дальнюю деревню — поразузнать. Он вернулся с такими новостями, что у мужиков дух захватило.

Зинаиду Сироту на сходки не звали, но она сама

приходила первой, сидела до конца, выступала с речами. Мужики молчаливо признали ее равной: она секретарствовала на собраниях, ездила для связи в Ивановку и другие места.

Семен Потапыч не показывался на улице. Секлетя — Коровья смерть говорила соседям:

— Занедужил мой хозяин. Лихоманка, что ли, его схватила: не пьет, не ест. Как бы совсем не умер.

Дед посмеивался.

— Хитер Семен.

Мужики отказывались платить уполномоченному графа Стрѣганова поборы. Из тайги все возили бесплатно. Чтоб «досадить» графу, бревна заготавливали даже те хозяева, кому не надо было строиться. У нас тоже был завален графскими бревнами весь двор.

— Куда нам столько? — ворчала бабушка.

Дед отвечал, что он хочет подать мужикам пример.

Зинаиде Сироте «помочью» поставили новый пятистенный сруб из толстых сосен. Сирота ликовала: скоро у нее будет свой дом!

Только Харитон Вахонин да еще два-три домохозяина были в стороне, стояли за Семена Потапыча. Вахонин каждый день ругался у водопоя с Емелей Мизгиревым и Тарасом Кожиным.

— Вам петли не миновать, — говорил он. — Погодите, кончится бунт, покажут всем.

Дядя Ларион тоже чурался сходок, не рубил графский лес.

— Я коммерческий человек, — говорил он. — Мне бунтовать не требуется.

Дед смеялся над ним.

— Вали, сынок, торгуй. Ежели царя не сковырнем, он даст тебе медальку за кротость.

Я помню деда в те дни помолодевшим, задорным. На сходке его голос звенел густо, уверенно:

— Наша возьмет, братцы. Силушка подымается несметная. Не оглядывайтесь на Харитона Вахонина. Он своей бабы боится, не то ли что. С такими кашу не сваришь.

От бабушки я знал много сказок о разбойниках, которые грабили богатеев, раздавали деньги бедноте, и

дед казался мне атаманом ватаги, поднявшейся отстаивать правду, наказывать богатых и злых людей.

Однажды вечером к нам зашел староста. Дед встретил его холодно. Семен Потапыч уговаривал деда не рушить порядок, остепениться, уговорить соседей.

Дед называл Семена Потапыча мироедом, пауком.

— Не туда гнешь, Спиридон, — говорил староста. — Гляди, кабы хребет не сломали. Вам, лапотникам, отродясь царя с губернаторами не свалить. Напрасно смуту сеешь. Жалко тебя. Хороший охотник, а с дураками связался.

Дед поднялся с лавки.

— Я тебя выслушал, Семен. И вот тебе бог, а вот порог. Уходи, хворай на полатах. А то ненароком увидят мужики, что выздоровел, — березовой кашей накормят.

Староста ушел, сердито хлопнув дверь.

— Шерамыжник! — крикнул дед вдогонку Семену Потапычу.

Бабушка вздыхала.

— Ох, старик, сомнут тебя. Сын на войне: придет ли домой — богу известно. Хоть о внуке подумай, коли себя не жаль.

Дед огрызался:

— Молчи! Люди праздника сто годов ждали. Новому начнем жить.

Всеволод Евгеньевич закрыл школу, нанял подводу и уехал в низовья, к чугунолитейным заводам графа Шувалова, князя Абамелек-Лазарева. Перед отъездом он сказал мне:

— Петербург и Москва бастуют, рабочие строят на улицах баррикады. Кипит страна! Кажется, началось большое дело, и теперь-то уж нельзя стоять в стороне. Сегодня «якутский человек» пригодится. Когда-то я считался не плохим агитатором: тряхну стариной. С моим народничеством кончено. Революция в России победит как рабочая революция или она не победит никогда. Крестьянство добьется права на свободу и счастливую жизнь только в союзе с рабочим классом. Рабочих ведет партия большевиков, созданная Лениным. Отныне я большевик. Правда, я буду еще ругаться с большевиками. Успех революции зависит от

того, как поведет себя армия. В казарму агитаторам ход закрыт. Солдата надо обрабатывать до вступления в армию, армия же — крестьянство. Значит, нужно захватить своим влиянием крестьянскую молодежь, работать в деревне, а большевики еще мало работают с крестьянством. Буду это доказывать, настаивать буду! Но пойду с большевиками до конца, потому что они — самая правильная партия, самая надежная сила революции. Подрастешь, сворачивай на ту же дорогу. Надеюсь, мы еще встретимся. Вообще тебе следует отправиться в город, поступить на большой завод. Переваришься в рабочем котле — будешь настоящим человеком.

Потом Всеволод Евгеньевич долго разговаривал о чем-то с дедом наедине. Дед начал запрягать нарты. К Пестре и Урме подпрягли собак дяди Нифонта, Зинаиды Сироты и рыжую Нельму Тараса Кожина.

Дед с хореем в руках и фузеей за плечами сел в нарты, пригласил меня занять место рядом с ним.

Мы тронулись вверх по реке. Снег затвердел, ехать было легко. Собаки дружно тянули легкие санки. Снежная пыль вилась за нами. Поскрипывали полозья.

Дед рассказывал по дороге:

— К вогулам иду, в паул¹ Яргунь. Вогулов в тайге много, люди они храбрые. Ежели поднимутся, большая помощь нашему делу будет. Надо, чтоб со всех сторон пожар запылал, чтоб царь не знал, куда посылать войска.

Я слышал много рассказов о вогулах как о ловких охотниках. Однажды мы с дедом встретили в тайге двух — молодого и старика. Они бежали на лыжах, с кремневыми ружьями, по следу раненого лося. Головы их были повязаны красными платками.

— Как живете, манси? — спросил дед.

— Живем, — ответил старик. — Лося бьем, куницу ловим. Тетерьку, бог пошлет, ловим, куропать ловим. Только шайтан многа пакостит манси. Подкрался к зверю, стрелять пора, шайтан пугает, и зверь убегает. Шибко худой шайтан водится тайга. Да купцы хуже

¹ Паул — селение манси.

шайтан. Рухлядь¹ отбирают за долги. Савсем ниваз-
можна другой раз жить.

Вогулы пожелали нам удачи, скрылись в кедров-
нике.

Придя с охоты, я зашел к учителю, чтобы передать
добытых для него рябков. Сказал о встрече с вогулами.
Всеволод Евгеньевич оживился:

— Знаю, знаю. Охотники, рыболовы, каких по-
искать. Что же не пригласил в деревню чайку попить?
Хороший народ: честны, гостеприимны. Знают много
сказок, песен. У них был богатырь Мадур-Ваза, вроде
нашего Ильи Муромца. О нем сложена замечательная
былина.

И он целый вечер рассказывал о вогулах. Поздней
ночью, распростившись с учителем, я бежал по скрипу-
чему снегу к дому и думал:

«Ах, зачем я не пригласил вогулов! Они спели бы
песню о Мадур-Вазе, рассказали о войне».

Теперь все это вспомнилось, и поездка к вогулам
показалась такой заманчивой!

Дед шутил, смеялся, весело покрикивал на собак.
За день мы сделали около сотни верст. Вечером с гор
налетел буран. Закрутились снежные вихри, в двух
шагах ничего не видеть.

Ехать было невозможно. Мы свернули в сторону,
укрылись в ельнике. Ветер был так силен, что не уда-
лось развести огня. Ночь провели без сна. На другой
день погода улеглась. Дед покормил собак, и опять за-
мелькали крутые увалы, сосны, лиственницы. В полдень
на левом берегу показался дымок.

— Вот и Яргунь, — улыбнулся дед. — Приехали.
Только не ошибись, парень, не зови вогулами: обидятся.
Они — манси. Прозвище «вогулы» дано им царскими
чиновниками.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Первыми нас встретили вогульские лайки. Они,
рыча, прыгали вокруг санок. Пестря и Урма, путая
постромки, рвались в бой. Дед кричал на собак, взма-

¹ Рухлядь — пушнина.

хивал хореем. Подбежали мужчины с курчавыми черными волосами, заплетенными в две длинные косы и перевитыми красными шнурками, с украшениями из медных пуговиц на затылке. Несмотря на холод, манси были без шапок, в коротких меховых курточках нараспашку. Они приветствовали нас:

— Пайся, пайся, рума-ойка!¹

Дед отвечал им так же. Манси распрягли собак. Нас окружили женщины, дети. Все рады, будто в самом деле к ним приехали званые гости.

— Кто понимает по-русски? — спросил дед.

— Я понимаю русски, — ответил высокий смуглолицый манси. — Куда путь держите?

— К вам.

— Какой начальник будешь?

— Я не начальник, — сказал, смеясь, дед. — Я буду русский охотник, приехал к манси, как друг, привез хорошие новости.

— Как звать русски охотник?

— Спиридон Соломин. А тебя как?

— Моя — Тосман.

Тосман сказал что-то манси на родном языке, и все опять громко закричали:

— Пайся, рума-ойка!

Манси хлопали деда по спине руками.

— Давайте о деле поговорим, — начал дед, обращаясь к Тосману.

— А, хорош, — ответил манси. — Дело после будем сказывать. Теперь у манси праздник, лося убили.

Нас повели узкой тропинкой мимо амбаров на столбах в самую большую юрту паула, усадили за стол. В чувале горел огонь. На нарах лежал огромный лось. Было жарко и душно.

Тосман выпроводил лишних людей. Остались несколько мужчин, две женщины — жена и мать хозяина. Мы сели в передний угол на нары. Старуха угощала нас мороженой рыбой, лепешками, вяленным мясом. Тосман кивнул мужчинам. Они стащили лося с нары. Четверо взяли рогача за ноги, повернули кверху брю-

¹ Здравствуй, друг!

хом. Пятый манси, низенький коренастый крепыш, вса-
дил в горло животного нож, распорол кожу от головы
до задних ног. Остальные, взяв ножи, помогали. Лось
разделан. Принесли котлы. В один положили внутрен-
ности, в другой слили кровь. Два котла, набитые до-
верху мясом, закипели на огне чувала. Старуха поме-
шивала в котлах деревянной ложкой, снимала пену.
Мужчины принялись за голову лося. Отпилили рога,
вскрыли череп, достали мозг, отрезали губы, выполо-
скали их с языком и почками в чистой воде, бросили
в особый медный котелок.

— Это для вас, почетных гостей, — сказала старуха,
кивая деду. Она хорошо говорила по-русски.

Тосман налил в деревянную чашку с золочеными
краями немного крови, положил туда кусочек легкого,
часть губы, ухо лося и поставил чашку на полку в пе-
редний угол. Мы удивлены. Он объяснил: это жертва
шайтану Чохрын-Ойка, покровителю охоты и промы-
сла. Рядом со священным ящичком на стене висел по-
темневший образ Николая-чудотворца. Чтобы русский
святой не обиделся, Тосман помазал кровью лицо и бо-
роду Николая-чудотворца.

В юрту собрались гости. Тосман выкатил из-под нар
бочонок, выбил из него втулку, наполнил кружку ви-
ном. Первую кружку он выплеснул в пылающий чув-
вал, где на секунду вспыхнул синий огонек. Затем
кружка пошла по рукам. Гости брали мясо из котла.
Нам с дедом тоже подкладывали куски дымящейся
лосины. Мы были уже сыты, но, чтоб не обижать хо-
зяина, ели через силу.

Дед выпил с морозу кружку вина и сидел непо-
движно, прислонившись спиной к стене. Старуха под-
несла мне чашечку, наполненную кровью. В крови —
кусочки печени и сырого уха лося. Я не знал, как быть.
Тосман взял из чашки печень, сунул мне в рот. На
хряще лосиного уха была шерсть. Я поморщился.
Манси одобрительно шумели. Дед покрикивал:

— Ешь, Матвейко, ешь! Гляди, они какие добрые:
самое сладкое тебе дают.

В юрту вошел пожилой манси в расшитой узорами
оленьей малице, и хозяева начали угощать его. Он

держал себя как начальник. Когда говорил — все смолкали, поворачивали к нему лица. Дед спросил Тосмана, кто такой новый гость.

— Это Лобсинья, — ответил Тосман. — Шибко богатый человек. У него триста оленей. Старшина, и русские купцы с ним за руку здороваются.

Лобсинья ел неторопливо и мало. Он, кажется, совсем не голоден и пришел только затем, чтобы оказать внимание счастливому охотнику.

Манси подходили к Лобсинье и о чем-то разговаривали с ним. Он отвечал, и все улыбались.

Но манси притворялись: без Лобсиньи было куда веселее. Он как-то стеснял, давил всех своим резким голосом, богатой малицей.

Лобсинья посидел недолго, простился и вышел из юрты. Хозяин проводил его за дверь.

Манси стали просить о чем-то большеголового старика в потертой малице, называли его Саввой и шунгуром, что значит — музыкант. Старик ушел из юрты и скоро вернулся с «лебедем»¹. Его усадили на нары. Шунгур тронул рукою струны. Юрта наполнилась глухими звуками. Савва вполголоса подпевал струнам. Я не понимал слов, а песня была близка, понятна. В ней — голоса тайги, переклики птиц, зверей, вся эта жизнь, которую я видел впервые. Манси покачивали головами в лад с песней.

Тосман попросил шунгура спеть для гостей по-русски. Старик долго отказывался, но все-таки уступил. Перебирая струны, он пел о битве вогулов с белым царем, о славном богатыре Мадур-Ваза, который сражался на Пелыме, на Конде, на Горностаевой реке.

— Эмас, эмас²! — кричали манси.

И дед тоже хвалил.

— Ну и народ! Гляди, какие песни складывает.

Шунгур повесил «лебедя» на стену. Началось представление — охота на диких оленей.

¹ Музыкальный инструмент, имеющий форму птицы, под который манси поют свои песни и пляшут.

² Э м а с — хорошо.

Два подростка, одетые в вывороченные оленьи шкуры, один побольше, другой поменьше, изображали важенку с детенышем. Взрослый манси, в охотничьей одежде, в пимах, с лыжами, играл охотника. Он, стоя на одном месте, «шел» по тайге, высматривал добычу, отстранял порою сучья кедров, прислушивался к шуму ветра, поправлял колчан, привязанный к поясу.

В углу зазвенели струны. Это шунгур опять взял в руки «лебедя». Под тихую музыку охотник обходил юрту, наклонял голову, искал следы оленей. Оживление пробегало по его темному лицу. Он разглядывал свежий след. Задумывался. Зверь близко. Охотник приготовил стрелу, понесся на лыжах прямо к оленям. Перед ним важенка с детенышем. Олени мирно пасутся. Мать достает копытом из-под снега мох, прислушивается, поводит мордой в стороны. Детеныш играет рядом.

Охотник подобрался к оленям. Осмотрел кончик стрелы, тетиву лука. Согнулся до самой земли, пополз. Еще миг, и стрела запоет в воздухе.

Тревожно пискнула маленькая лесная птичка, предупреждая оленей. Писк повторился. Я оглядываюсь. Это пищит в руку молодой вогул, играющий птичку, врага охотников.

Стрелок вздрогнул, опустил свой лук. Олени подняли головы. Детеныш пугливо прижался к матери. Мать вытянула шею, нюхает воздух. Олени коротким броском вскинули головы на спину, помчались в другую половину юрты. Охотник стоял в раздумье с опущенным луком. В углу, подсмеиваясь над его неудачей, весело трещала птичка. Охотник не знает, что делать. На лице — досада и страх. Он подходит к кедру, лепит на нем фигуру человека с большими глазами и таким несуразным носом, что вся юрта прыскает от смеха. Это изображение шайтана, которому следует принести жертву. Охотник выдергивает из малицы клочок шерсти, вдавливая ее в подбородок шайтана. Птичка-щербетунья умолкает. Шайтан получил свое, не будет мешать человеку.

В лесу тишина. Охотник повеселел. Снова бежит по

следу оленей. Мы беспокоимся за животных. Теперь то им не сдобровать.

Олени устали. Еле бредут по глубокому снегу. Трудно дышит детеныш. Мать в тревоге. Они останавливаются на поляне, чувствуют за собой охотника. Самка вздрагивает, делает короткий прыжок. Она услышала охотника: он ступил на ветку. Но мать не может скрыться, оставить детеныша. Охотник крадется меж деревьев, подбрасывает горсть снега, чтобы узнать, откуда тянет воздух. Заходит из-под ветра, раздвигает руками ветки. Олени стоят, прижавшись друг к другу, вздрагивая от шороха лыж. Они все видят, ждут смерти. Детеныш припал к груди матери.

Манси притихли, не дышат. В глазах детей и женщин слезы. Все успели полюбить важенку с детенышем, жалеют оленей. Охотник поднимает лук, встает на колени, натягивает тетиву, долго целится, и мы видим, как самка взвивается на дыбы со стрелой в боку и, сделав предсмертный скачок, падает на снег. Детеныш отпрянул от нее, широко расставил ноги, не понимает, что случилось, подходит к матери, зовет подняться, пугается крови, потом лижет бок. Вторая стрела прорезает воздух, мягко входит в шерсть детеныша, и он, даже не вздрогнув, валится рядом с матерью.

Вздых пронесится по юрте. Тихо звенят струны «лебедея» под рукою шунгура.

Дед тронул меня за плечо.

— А ведь здорово, Матюша!..

Гости ушли. Хозяин стелет на нарах оленьи шкуры. Мы ложимся и засыпаем.

Утром опять собрались манси.

— Хотим узнать новости, которые привез охотник Спиридон.

— Братья манси, — сказал дед, — я волю вам привез. Мы, русское крестьянство, не признаем урядников, подати не платим. Все к чертям порешили.

— Харош, — улыбнулся Тосман и перевел слова деда.

Манси долго молчали. Шунгур Савва обнял деда, поцеловал.

— Кому теперь будут манси платить ясак? — спросил Тосман.

— Никому! Все, что добыто на охоте, ваше. Несите эту весть по всем паулам. Пусть знают манси, от края и до края, и делают, как я сказал.

— Очень хорошо, — улыбнулся Тосман. — Манси давно ждали этого. Спасибо тебе, Спиридон.

Мы стали собираться домой. Тосман загородил дорогу.

— Ты не сказал о долгах, Спиридон. Манси задолжали много купцам. Одолели купцы.

Подумав, дед решительно сказал:

— Маленькие долги платить, большие не платить.

— Так делать будем, — ответил Тосман. — В соседнем пауле Салбантал начальники ясак собирают. Не пособишь ли нам, Спиридон, прогнать начальников из Салбантала?

Узнав, что до этого паула верст сорок, дед сказал:

— Запрягай оленей, поедем.

Манси идут снаряжать упряжку. К Тосману подходит Лобсинья. Он бранится. Толпа возле упряжки редеет. Одни разбегаются по юртам, другие стоят поодаль, прислушиваясь к перебранке и выжидая. Тосман говорит что-то, останавливает людей взмахами руки. У него сердитое лицо. Лобсинья грозит Тосману кулаком, поворачивается к деду.

— Твоя худой человек, — говорит он по-русски. — Пошто к нам ехал? Пошто уговаривал манси на дурные дела? Царь осердится. Бунтовать нельзя.

— Знамо, тебе нельзя, — усмехается дед. — Ты олешек сколь имеешь?

Лобсинья заносчиво отвечает, что оленей он сам наживал, и пусть никто не смеет попрекать его богатством. Он велит манси вязать деда и везти на оленях к уряднику. Тосман хватает полено. Лобсинья, подобрыв полы малицы, убегает к своей юрте, стоящей особняком. Упряжка готова. Тосман садится в передок, мы — в заднее сиденье, и быстрые олени мчат нарты в Салбантал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Юрта была похожа на ту, в которой мы провели ночь. В чувале горели поленья, на столе — зажженные свечи. За столом сидело четверо русских, двое манси: один в меховом халате, другой в новых штанах из лосевой кожи и матерчатом пиджаке, подбитом горностаем, оба с большими косами, заплетенными красным шнурком. Вокруг стола толпились мужчины и женщины с беличьими шкурками в руках. Дед пошептался с Тосманом. Мы отошли в угол. Красноносый русский поднялся над столом, прочел бумагу, где сказано, что требуется от вогулов в кабинет государя, что нужно по раскладке на жалованье фельдшеру, отопление волости, на расходы по провиантскому магазину, на повивальную бабку, оспопрививателя и другие расходы. Выходило по двенадцать рублей с плательщика, и, кроме того, предлагалось сдавать все, что припасли вогулы на ясак государю. У кого нет денег, может платить мехами.

— Это писарь читает, — шепнул дед. — Рядом, с бляхой на груди, старшина, а те двое, русские купцы, оценивают пушнину. Уж они оценят, песьи души.

На столе перед старшиной лежал пузатый никелированный револьвер бульдог — такой же я видел у Всеволода Евгеньевича перед его отъездом.

Старшина заметил деда.

— Кто такой будешь? Зачем сюда явился?

— По торговым делам езжу.

— Пока ясак собираем, ничего покупать у вогулов нельзя. Ежели что — этапным порядком отправлю на родину.

— Подожду, — ответил дед. — Мне ведь не к спеху. Может, после вас перепадет что-нибудь.

Начался сбор ясака.

Писарь глядел на бумагу.

— Сопр Пакин.

В толпе движение. К столу подошел пожилой манси в пестрой собачьей шубе, поклонился начальству.

— Плати ясак, — кивнул старшина.

Сопр порылся в пазухе, вытащил связку белок,

встряхнул ее, кинул на стол. Купцы осмотрели шкурки, называли цену.

— Мало, давай еще, — сказал писарь.

— Нету больше, — глухо ответил Сопр. — Спина болела всю осень, в лес редко ходил.

— Ты лентяй. Придется выстегать. Кончим сбор, приготовься.

Вызвали старика Тимофея Хадсабова. Он кинул на стол чернобурую лису. По юрте пробежал шепот. Манси разглядывали богатое подношение царю. Старшина и купцы мяли шкурку в руках, вытягивали хвост, дергали через колено, гладили, ерошили ворс. От шкурки летела шерсть, пыль. Писарь чихал, бранился. Купцы пошептались, объявили цену: двадцать пять рублей.

— Жулики, — прошептал дед, — в городе за нее сотню дадут, а то и больше.

— Молчи, твоя молчи надо, — сказал Тосман.

Старшина благодарил Тимофея, обещал ему царскую грамоту за редкий ясак.

Дед спросил Тосмана, почему двое манси уселись за столом, потакают старшине и купцам. Тосман сказал, что одного звать Елбын, другого Шома, у Елбына пятьсот оленей, у Шомы — четыреста, и что они всегда помогают русскому начальству выколачивать ясак.

— А, понимаю, — кивнул дед. — Они вроде вашего Лобсиньи.

— Вот-вот, — улыбнулся Тосман, — худой люди, от царя медали получают, грамоты, а душа у них, как шайтан, злая.

За окном было шумно. Подъезжали на оленях и собаках манси из соседних паулов, подходили на лыжах. Дверь то и дело отворялась и затворялась. Сдатчики кланялись старшине. На стол падали связки горностаев, колонков, норки, рыси, куницы.

Старшина складывал дары в холщовую торбу. Кто-то сдал темного с проседью бобра. И опять все ахнули...

Вызвали Павла по прозвищу Налимий хвост. Его дед украл когда-то налимов у богатого соседа, и с тех пор за семьей утвердилась кличка «Налимий хвост»

С Павлом бились долго. Он плохо понимает по-русски. Отдал недавно все шкурки за долг знакомому купцу, не может уплатит ясак. Старшина сердился. Налимий хвост стоял перед столом, опустив глаза.

— Нет шкурок, подавай деньги. Нам все равно. Понимаешь русский язык, образина?

Налимий хвост молчал.

Писарь сказал по-вогульски:

— Молех давай ат целковай.

— Молех, — повторил старшина и поднес волосатый кулак к носу Павла. — Ребра поломаю.

Налимий хвост попятился к двери. Манси громко заговорили, что Налимий хвост бедный человек, семья у него голодает, взять нечего.

— Лодыри! — кричал старшина. — Я найду, где взять. Меня не проведешь. Писарь, занеси в постановление: выстегать Павла Налимий хвост за неуплату ясака, списать и продать с торгов имущество.

У стола высокий худой старик. От него приняли сотню белок, требуют еще. Он клянется, что больше не имеет. Его тоже заносят в постановление на порку, а потом молодой манси говорит по-русски, что старику восьмой десяток, он одинокий, по закону давно освобожден от ясака, а с него берут каждую зиму. В юрте шум. Манси шепчут что-то старику в ухо. Старшина советуется с писарем и купцами. Беличьи шкурки возвращаются старику. Старик не уходит.

— Отойди, — сказал старшина.

— Отдай назад, что десять год брал, — просит старик. — По царскому закону нельзя брать, а ты брал. Пошто брал-то? Эх, кривой душа!

— Верно! — откликнулись манси.

— Проваливай, — сказал писарь, отодвигая старика. — Что с возу упало, то пропало. Прошлогодние шкурки сданы в казну его императорского величества. Из них какая-нибудь мадама пальто сшила. Тебе похвальную грамоту на будущий год привезем.

Старик пытался еще что-то сказать. Старшина вытолкнул его за дверь Сбор ясака продолжался.

Я спросил деда, чего он ждет.

— Погоди, скоро увидишь, — шепнул он.

Тосман подозвал хозяина юрты. Они пошептались. Хозяин послал куда-то жену. Она возвратилась с четвертной бутылью водки. Хозяин поставил бутыль на стол.

— Подношение для вашей милости от манси паула. Выпейте, закусите, и ясак хорошо пойдет.

Старшина, писарь и купцы принялись за водку, пригласили деда к столу.

— Иди, купец, выпей стаканчик.

Я думал, дед откажется. Но старик будто этого и ждал. Он сел между писарем и старшиной, опрокинул в рот чашку с водкой, крикнул, принялся за рыбу. Бутыль быстро опорожнивалась. Дед вторую чашку пить не стал. Приложив к ней губы, он выплеснул водку под стол. Никто не заметил этого. Старшина, писарь, купцы чокались, пили, галдели. Тосман тихо разговаривал с манси. Дед положил руку на револьвер старшины, кивнул Тосману. Манси бросились к столу. Старшину, писаря и купцов повалили на пол, связали ремнями. Купцы только мычали, а старшина ругался. Ему заткнули рот рукавицей.

Манси на руках вынесли связанное начальство из юрты, заперли в амбаре.

Шома и Елбын, отбежав к окну, сперва стояли молча. Потом закричали что-то, показывая на деда руками. Елбын вытащил из-за пояса кривой нож.

— Чего глядишь? — сказал дед Тосману. — Их тоже взять надо.

Манси, охотно связавшие русских, теперь стояли посреди юрты: не решались хватать богатых сородичей. Елбын, невысокий жилистый человек, взмахивал ножом, ругался. Шома угрюмо смотрел на всех маленькими острыми глазами. Дед навел на Елбына револьвер. Щелкнул взведенный курок.

Елбын втянул голову в плечи, бросил нож. Тосман повторил приказание вязать Елбына и Шому. И опять никто не подошел к многооленщикам. Значит, не нож пугал манси-бедняков. Тосман сам связал руки Шомы и Елбына, увел их на улицу и скоро вернулся.

Хозяйка убрала со стола недопитую водку, закуски. Дед подошел к столу.

— Слушайте меня, манси. Не надо платить ясак. Русский царь вас грабил, обижал. Теперь супротив царя восстание идет. Не будет царя совсем, и ясаку не будет. Верно вам говорю.

Со всех сторон на деда смотрели зоркие лесные глаза.

— Куда царь денется?

— Там поглядим, — ответил дед.

— Кто станет править, когда царя не будет?

— Да уж как-нибудь проживем.

Тосман что-то говорил по-вогульски, показывал на деда пальцем. Манси шумели. Улыбки на лицах. Смех.

Дед сорвал печати с казенного ящика, роздал деньги. Манси сперва не хотели брать. Тосман успокаивал всех, помогал деду. Каждый получал то, что он внес в казну. Дед развязал торбу с мехами. Все до одной шкурки были возвращены охотникам. Только Тимофей Хадсабов не принял из рук деда свою черную лисицу.

— Ты что? — спросил дед. — Богат стал, что ли? Бери, бери!

Тимофей тряхнул головою.

— Не надо. Ты — шайтан. Манси худо будет. Спину шибко стегать прутьями станут. Я хворой, убьют сапсем.

Манси были смущены. Шум затих, будто черная птица пролетела над юртой, всех напугала. Два старика вышли на улицу. Тосман уговаривал Тимофея Хадсабова: нужно побороть в душе страх, быть таким, как Мадур-Ваза. Хадсабов слушал тоскливо и, не гласившись, ушел.

— Пайтер¹, — бросил ему вслед Тосман.

Хозяин спросил:

— Что делать со старшиной и писарем?

Тосман глянул на деда, прося совета.

— Выстегать березовыми прутьями и отпустить, — сказал дед.

— А купцов?

— И купцов.

— Эмас! Сделаю, как велит русский охотник.

¹ Дурак.

Обо всем договорились. Нам подали оленью упряжку. Мы сели в нарты.

Тосман остался в Салбантале. Нас повез широколицый старик в огромной беличьей шапке.

На пути мы встретили охотника манси. Он бежал на лыжах. За спиной — ружье, за поясом — лиса сиводушка. Охотник попросил закурить. Дед насыпал ему горсть махорки.

— Из Салбантала?

— Из Салбантала.

— Не видали там русского охотника Спиридона?*

— Не видали, — смеялся дед.

Манси глядел недоверчиво, заговорил с каюром на своем языке. Каюр что-то отвечал, тряс головой.

— Как же так? — вздохнул охотник, переходя на русский язык. — Мне сказали: в Салбантал приехал русский охотник Спиридон, снял с манси ясак, беднякам даром дает свинец, порох, новые берданки. Вы, наверно, неправду говорите. Вот схожу, сам узнаю.

Он простился и ушел.

Каюр поправлял постромки на оленях, смеялся. Дед тоже улыбнулся.

— Ишь ты, какие сказки по тайге пошли.

В Яргуни мы запрягли своих собак. Манси проводжали нас до реки. Дед взмахнул хореєм. Собаки натянули постромки.

— Доброе дело, Матвеюшко, сделали, — говорил дед и, довольный, смеялся счастливым смехом.

И я тоже радовался, что мой дед такой человек и что все так ладно у него получается.

Над нами свистел ветер, мороз щипал щеки, а мне было тепло-тепло.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Стражники, урядник Финогеныч и десятские вошли в избу ночью, тихо, как воры: дверь не запиралась на запор. Дед не успел очнуться, ему связали веревкой руки. Он был спокоен, ни о чем не просил стражников, не ругался.

— Ты, Матвейко, хозяином будешь, — тихо проговорил он. — Береги фузею, собак, слушайся бабушку, мать.

Я кинулся к нему на грудь. Усатый стражник строго сказал:

— Не лезь к арестованному!

Я выбежал во двор, спрятался в конюшне, чтобы не видеть, как поведут деда. Наконец протопали ноги по лестнице, скрипнули полозья у ворот, смолкли голоса. Я вернулся в избу. Мать затопляла печку. Бабушка сидела на сосновом чурбане, подперев руками лицо, и что-то шептала. Я обнял ее.

— Как жить станем, Матвеюшко? — спросила она. — В острог деда-то увезли.

— Сам виноват, — сказала мать. — Как умом рехнулся: бунтовать да бунтовать. Добунтовался. Клопов кормить поехал. Вот Лариона никто не трогает, потому что он...

— Помолчи, Степаха! — обиженно крикнула бабушка. — Старик не глупее нас был. Не нам судить. Душа у него прямая, голубиная. Не стерпел.

— Душа, душа! — передразнила мать. — У всех душа, да только высунулся-то он один. Ему что? В остроге хлебом кормят. А нам какво без мужика хозяйство вести? Об нас подумал?

Мне ясно — мать не права. Бабушке и так тяжело, а она еще изводит ее острыми, как занозы, словами. Я подбежал к матери с поднятыми над головою кулаками.

— Не смей про деда говорить!

Она попятилась.

— Господи боже мой! Очертенел парень совсем. Бабушка дернула меня за рукав.

— Что ты? Мать она тебе или нет?

Она стояла передо мной, сморщив лицо, часто мигая.

Мать села на скамью. Бабушка спустилась в подпол перебирать картошку.

— Пожалел бы меня, Матвейко, — тихо проговорила мать. — Тяжко, горько. Ты ведь ничего не понимаешь. Отец-то дома почти не жил. Все в отходе да в отходе. Они, отходники, знаешь, какие: оторвутся

от семьи да женятся на другой. Боялась потерять его. Осиротит, думаю, он Матвейку. Дед умрет. Как парня на ноги поставлю? А теперь деда взяли. Отца воевать угнали. Может пропасть совсем. За все годы я недели веселой не была. Несчастливая моя жизнь, поэтому я злюсь порой.

Она стала рассказывать о своих горестях и тревогах. Слова, ласковые и печальные, падали в мое сердце, как гвозди, вызывали щемящую боль. Я удивлялся тому, какая мать добрая и хорошая.

— Буду любить тебя, мамка, — сказал я, ласкаясь к ней. — Слушаться буду во всем.

Вся как-то посветлев лицом, она улыбнулась сквозь слезы, подхватила меня на руки, принялась целовать, горячо и жадно, как после долгой разлуки.

— Степанида! — крикнула бабушка под полом. — Иди-ко сюда, пособи.

Мать шумно вздохнула, разжала руки.

За окном брезжил рассвет.

Я оделся, пошел кормить скотину.

И сразу потухла радость в душе, навеянная примирением с матерью. Все во дворе напоминало деда. Столбы, лестницы, двери, кормушки были вытесаны, выстроганы, прилажены его руками. Везде он оставил следы, старик. И нет его! Кто поведет меня в заветные уголья?

Я положил охапку сена овцам, присел на порог конюшни, задумался.

Представилось: быстро катятся по дороге сани. В санях дед, по бокам — усатые, молчаливые стражники. Холодное хмурое утро. Свистит ветер. По сторонам стоят могучие кедры, осыпанные снегом. Дед выскакивает из саней, бежит целиною в тайгу, к родным деревням. Возница осаживает разгоряченную лошаденку. Стражники стреляют. Старик падает лицом в снег...

Вскоре арестовали Зинаиду Сироту, повезли вслед за дедом.

Как все круто изменилось!

Мужики, вчера бунтовавшие, стояли на коленях перед урядником, просили прощения. Емелья Мизгирев валялся в ногах у старосты.

— Невиновные мы, отец родной, истинный бог невиновные. Похлопочи за нас. Отблагодарим.

— Кто виновник?

— Спиридон Соломин... Он всех смутил.

Дядю Нифонта тоже увезли в город. Выпустили через две недели. Жандармы сильно били его при аресте: он захворал от побоев и едва таскает ноги. Дядя рассказывал, что царя повалить не удалось. Кругом — казни. Тюрьмы наполнены народом.

Дед в моих глазах самый хороший человек. Соседи его предали. Мужики ненавистны мне. Я встретил у родника Семена Потапыча. Он стал бранить деда.

— Погоди уж, летом спалю твой дом, — сказал я.

Староста уронил кнут на снег и стоял, широко раздвинув ноги.

— Эк-кое сатанинское племя! Что ты, сдурел, ублюдок? Жаль, свидетелей нет: я бы тебя вместе с дедом в острог посадил.

Я шел домой, радуясь тому, что староста напуган.

Самовольно порубленные дедом бревна вывезли со двора. Староста прислал повестку об уплате штрафа: в десятикратном размере за бревно! Штраф был велик, денег не хватило. Продали с торгов Буланка, овец, коров, зерно из амбара. На торги пришли мужики, что бунтовали вместе с дедом.

— И не стыдно вам? — укорял я соседей. — Не за вас дед в остроге?

— Не мы, так другие купят, — оправдывались они. — Зачем упускать добро в чужую деревню?

Семен Потапыч при встречах ядовито посмеивался надо мной, над бабушкой:

— Как живете, ре-во-лю-цио-не-ры? Попользоваться хотели чужим добром? Не привел бог. Спиридону годов десять каторги припаяют — почувствует, что такое царская власть.

Насмешки dokonали меня. В тонком еловом чурбашке я просверлил коловоротом сквозную продольную дыру, насыпал туда пороху, замазал хлебом, затер землею и подложил ночью чурбашек в поленницу Бородулина. Дня через два в печке у Семена Потапыча мой «снаряд» взорвался. Разворотило чело, ото-

рвало железный кожух над шестком, выбило стекла в избе. От углей, разбросанных взрывом, загорелся пол. Но пожар потушили.

Семен Потапыч явился к нам на другой день со стражником и урядником Финогенычем.

— Твое дело, мальй? — спросил стражник. — Признавайся, ничего не будет.

Я молчал.

— Да что калякаты!.. — сказал Семен Потапыч. — По глазам видно, что он. Кроме него, некому. Грозился поджечь меня, вот и сообразил. Арестуйте его.

— Для ареста нужны улики, — сказал Финогеныч.

— Лично мне грозился, какие еще улики? — настаивал Потапыч.

— Свидетели были? — спросил Финогеныч.

— То-то, что не было, но могу под присягой подтвердить: грозил...

Я пытался убежать во двор. Семен Потапыч схватил меня за волосы, повалил на пол. Финогеныч держал за шею, стражник стегал нагайкою по спине. Бабушка и мать кричали, отталкивали стражника. Он лупил их по рукам, ругался.

Неделю я лежал в постели...

Невесело встретили мы новый, 1906 год. Впервые в новогодний вечер не было в избе ни отца, ни деда.

И денег не было. Дядя Нифонт слег в больницу, дядя Ларион «прогорел» на очередной «коммерции» и не мог нам помочь.

Мой билет на право охоты кончился. Надо было взять новый. Скрепя сердце, я пошел к Семену Потапычу.

— Не дам билета! — сказал он. — Ноги твоей не будет в тайге. Всю соломинскую породу со света сживу. Пшел прочь, к-ка-торжник!

И вот соседи добывают белок, куниц, постреливают глухарей, а я сижу дома.

Неожиданно вернулся отец: высохший, с колючей сединой в бороде. Он был ранен в Маньчжурии. Его лечили в госпитале, кое-как поставили на ноги, отпустили по чистой. Из города он шел пешком, простудился, охрип. Бабушка отпаивала его парным молоком.

— Ну, Матвеюшко, я пока не добытчик, — сказал отец. — Деда законопатели надолго. Семян нет, а сев не за горами. Придется тебе идти на сторону. Вешну мать как-нибудь вспашет сама. Семена займем у дяди Нифонта, лошадь попросим у соседей. Принесешь деньги — разочтемся.

Помолчав, он добавил:

— Неладно жил до сей поры. Не помогал вам. Все понимаю, да обуздать себя трудно. Беспокойство в груди: щемит, гложет. Вроде болезнь какая. Вот и мотался из стороны в сторону. За что ни возьмусь — скучно. Душа плесневеет. Опять же карты. Проиграл один раз двадцать рублей. Жалко стало. Все думал отыграться: возвращу деньги, брошу играть.

— Неужели выигрывать не доводилось?

— Что ты, милый! Так не бывает, чтобы всегда не везло. Случалось, соберу большой банк, а через полчаса все до копеечки просажу. Ежели снимешь много на хорошую карту, надо из игры выходить, бежать без огляду. Так многие делают. А я не мог. Совесть не дозволяла. Жалко товарищей с проигрышем оставлять. Руки у них дрожат, лоб в испарине. Думаешь: уйду, а вдруг кто себя решит? Ну, теперь конец. Зарок дал. Баловство побоку. Отлежусь вот, куплю ружье, осенью на охоту пойдем, рыбу ловить станем, хозяйство подыдем. Только бы пашню засеять. Ты постарайся, пожалуйста.

Он смотрел на меня беспокойно горящими глазами. Я молчал, радостно пораженный той переменой, которая в нем произошла. Он всегда будет дома. Охотиться вместе с ним — да это такое счастье! А как довольны будут бабушка, мать!

ГЛАВА ПЯТАЯ

В Ивановку каждый год приезжали какие-то доверенные для найма грузчиков, лесогонов и матросов. Самой выгодной считалась работа на молевом сплаве¹.

¹ Молевой сплав — бревна гонят не плотами, а врассыпную.

Лесогоны зарабатывали рублей сорок в месяц — деньги немалые. Но сплавная работа — тяжелая, опасная. Пораздумав, я все-таки решил попытать счастья на сплаве. Мне шестнадцать лет, в этом возрасте уже нанимают в лесогоны. Мать сперва не хотела слышать о моей затее, потом согласилась, сама пошла в волость, выправила паспорт. Бабушка учила, как подойти к доверенному, что сказать:

— Главное дело, не робей, держись по-взрослому.

В день вербовки лесогонов я надел отцовский аязм, новые бахилы, отправился с бабушкой в Ивановку. Змейкой вилась очередь к столу вербовщика. Толстый мужчина, с подстриженной клином бородкой, глянул на протянутый мною паспорт.

— Не могу принять, молод. Нынешний год новый порядок: берем парней не моложе восемнадцати лет.

Я сказал, что ничуть не уступлю восемнадцатилетним: выжимаю двухпудовые гири правой и левой рукой.

— Это не касаето, — ответил вербовщик. — По инструкции действую. Закон не дозволяет малолетних брать. Под суд через тебя идти?

Обиженный отказом, я не мог двинуться с места. В углу, вытянув шею, стояла бабушка, делая какие-то знаки пальцами. Я ничего не понимал.

— Отойди, не мешай, — сказал вербовщик. — Русского языка не понимаешь?

Казалось, стены куда-то поехали, пол проваливается под ногами.

— Ваше степенство, явите божескую милость, — кланяясь в пояс, бормотала бабушка срывающимся голосом. — Возьмите паренька, он постарается. Силач малый! Мешки таскает шутя. Верно говорю, ваше степенство. Обману никакого не будет.

— Отойди, баба, — лежливо проговорил вербовщик. — Сказано, не могу, значит не могу.

— Вы не глядите, что ему годов мало, — упрашивала бабушка, — дюжее его в Кочетах мужика нет.

— Поди прочь! — грубо ответил толстяк, и щеки его надулись. — Экая прилипчивая!

Мы вышли на крыльцо. Чья-то тяжелая рука легла на воротник азяма. Оглядываюсь: дядя Нифонт. Широкое лицо дяди спокойно. Задвигая меня в угол, он шепнул:

— Молчи уж, гору и ту можно обойти, закон — не гора. Люди, брат, раньше законов родились. Кланяйся писарю, — все уладит. Не ты первый. Великое дело — паспорт. Я Колюньку хочу тоже снарядить на сплав. Пойдем вместе хлопотать.

Дядя говорил так внушительно, что невозможно было сомневаться. Значит — не все потеряно.

Старшины часто выбирались неграмотные, и писарь Михайла Иваныч, горбун с желтым испитым лицом, заправлял всеми делами. Даже грамотных старшин держал в своих руках. Старшины менялись через три года. Михайла Иваныч сидел в писарях бесменно, считался докой, мог запутать кого угодно. Михайла Иваныча побаивался даже урядник Финогеныч. Рассказывали, был однажды неграмотный старшина, не ладивший с писарем. Михайла Иваныч написал земскому бумагу: «Я, дурак, невежа и сивый мерин, ничего в делах не разумею, пьянствую день и ночь, беру взятки с мужиков сырым и вареным. Прошу слезно посадить меня, негодяя, по турецкому способу голым задом на кол...» Под этой бумагой красовался штемпель: «Старшина Егор Павлович Латышов, неграмотный».

Конфуз был велик. Старшину отрешили от должности. Мужики долго потешались над Латышовым, а слава писаря возросла.

Вечером, захватив ощипанного петуха, бутылку водки, мы с дядей пошли к волостному писарю Михайлу Иванычу.

Горбун принял подношение.

— Эх вы, крещеные! Сразу надо было. Михайла Иваныч все может. Он вашего брата мужика со дна морского вызволит.

— Благодетель ты наш, — говорил дядя Нифонт. — Разве не понимаем? Все мы чувствуем!

На другой день был изготовлен новый паспорт. В нем значилось, что Матвею Алексеичу Соломину

восемнадцать лет. Такой же паспорт получил и Колюнька Нифонтов. Я приплясывал от радости, обнимал дядю Нифонта, бабушку. Но даже в самые развеселые минуты этого дня подкатывали сомнения:

«А если вербовщик запомнил мое лицо? Схватит, поведет к уряднику Финогенычу».

После истории с фальшивыми кредитками я сильно побаивался нарушения законов. Может, подделка паспортов тоже «есть тягчайшее государственное преступление»?

Я вслух высказал свои «страхи».

Дядя Нифонт засмеялся.

— Иди, знай, иди. Ему что? Поскорее людей набрать да уехать отсюда. Доверенный на твою рожу и не взглянет. Ему бумагу подавай. А бумага правильная, печать не замазана. Испокон веков так делают.

Все обошлось хорошо. Доверенный только сказал:

— Багор не забудь взять с собой и обувь соответственную. Мы лесогонов ничем не снабжаем.

Я подписал контракт с лесопромышленной фирмой Казимира Карловича Ратомского, получил задаток. Паспорт мой остался у доверенного. Мать сушила сухари, чинила одежду. Бабушка гладила мою голову, с нежностью произносила слово «кормилец». Даже мать, редко ласкавшая меня, подобрела.

Урму продали за пуд муки Емеле Мизгиреву. У него сдохла собака, и он долго уговаривал бабушку, чтобы она уступила ему лайку. Пестря стал вполне взрослым кобелем. Я наказал бабушке беречь, кормить его.

Через два дня в Ивановку собирались завербованные по разным деревням лесогоны. Отточенные багры сияли на солнце, позвякивали жестяные бурлацкие котелки. Уходило двадцать пять человек. И знают все: кто-то не вернется. Матери, жены плакали. И громче всех — вдова Агафья Черных. Год назад погиб на сплаве ее сын Лука, первый деревенский плясун, силач. Чужое горе бередило незажившие Агафьины раны.

Но женские слезы никого не могли остановить. Не-

дороды, падежи скота, пожары, подати, ранние заморозки, поздние снега — все это приводило к тому, что люди подделывали паспорта, давали взятки, брели с котомками — в бездорожье, в дождь, в слякоть — сотни верст, чтоб найти какую-нибудь работу.

Нас вел Степан Иванович Саламатов, высокий чернобородый мужик. Каждую весну он ходит на сплав, считается опытным лесогоном. Мать сунула ему бутылку водки, просила учить и беречь меня на сплаве. Рядом со мной шагал Колюнька Нифонтов.

Бабушка сказала:

— Держитесь друг за дружку: у вас одна кровь.

Дядя Нифонт добавил:

— Ты, Матвейша, доглядывай, пожалуйста, за Колькой-то. Он за девками бегать горазд, а в работе рохля рохлей. На сплаве надо ухо остро держать.

Разбухшая от весеннего солнца дорога рыжела пятнами навоза, похрустывал под ногами снежок. Мать и бабушка махали нам руками. И Пестря был с ними. Бабушка держала его за шейник. Он рвался за мною, повизгивал. Очень жаль было оставлять собаку...

Шагая по дороге, я думал: вернусь с деньгами, подниму хозяйство, куплю корову, и все будет хорошо. Когда за плечами шестнадцать лет, радостно идти с котомкою на горбу по сверкающей снеговой равнине. Степан Иванович затянул походную бурлацкую песню. Мы дружно подхватили.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Река еще скована льдом. На берегах лежат штабели бревен. Мы живем в низеньких прокопченных избушках. Лесорубы кончили свое дело и уехали, оставив нам свое немудреное жильё, скамейки, деревянные чашки, разную посуду.

В нашу артель «для закваски» влили зимогоров. Зимогоры дерзки на язык, любят вернуть острое словцо, ругают бога, царя, начальство, доверенного,

рваная одежда сидит на них ловко, будто в ней родились, всюду чувствуют себя как дома, словно вся земля принадлежит им, вечным странникам-непоседам. У каждого мужика свой мешочек с чаем, сахаром, табаком и разной снедью. У зимогоров все общее. По вечерам они поют песни. Запевает невысокий человек с рыжей бородой и ясными голубыми глазами — Ефим Козлов. Я подхожу, подтягиваю. Скуластый парень окидывает меня сердитым взглядом.

— Отойди, мужик.

Ефим говорит:

— Ничего... Валяй, брат, только не сбивайся с ладу. Собыешься — прогоним.

Он запекает:

Ты взойди-ко, взойди, солнце красное...
Обогрей-ко нас, добрых молодцев.

Хороша песня, хороша матушка тайга, хорошо синее апрельское небо над головой. Когда поешь, кажется — отрастают крылья, и ты несешься куда-то ввысь, и дух захватывает от стремительного полета.

Я подхватываю во всю мочь:

Мы не сами-то идем, нас нужда ведет,
Нас нужда ведет, нужда горькая...

— Голосище у тебя, парень, здоровый, протодиакон в пору быть, только не поставлен, — ободряет Ефим. — Почаще пой, вникай.

Потом, сидя на бревне, мы поговорили по душам. Ефим долго расспрашивал про кочетовскую жизнь.

Вечером Степан Иваныч Саламатов отвел меня к лесу.

— Ты, Матюха, что к шпане подлизываешься? Они хуже каторжников: не тужилка мать родила, не горюха принесла.

Я обижен за новых друзей. Саламатов строго глядит мне в глаза.

— Упреждаю по-соседски, как ты еще зеленый, и бабушка наказывала доглядывать за тобой.

Выбираем старосту артели. Зимогоры хотят Ефима.

Мужики — Степана Саламатова. Покричав, решили кончить спор поднятием рук. Я поднимаю руку за Ефима: он лучше всех. Но мужиков больше, и в старосты выбран Степан Саламатов. Он влезает на пенек, кланяется артели.

— Спасибо за честь, братцы. Я уж для мирского дела постараюсь. В обиду никого не дам. Однако и вы не перечьте мне. Коли выбрали, подчиняйтесь во всем. Наше лесогонское дело трудное. Порядок должен быть.

Ледоход задержался. Нам нечего делать.

Только один человек в артели занят — кашевар Ерема, чистенький, аккуратный старичок лет шестидесяти. У него седая борода, розовые щеки, а под колючими бровями умные карие глаза. Он мало похож на остальных артельщиков. Все почему-то ссорятся, сквернословят, а Ерема добряк, никому худого слова не скажет.

Доверенный заготовил тухлую солонину, крупа подмочена, потемнела, капуста осклизла, и Ерема как-то ухитряется варить из этой дряни обеды. Лесогоны зовут его: Еремей — золотые руки.

Он улыбается.

— Ешьте на здоровье, сынки.

Рассказывают, что Ерема служил поваром у генерала. Не понравилось генералу одно кушанье, и он бросил его вместе с блюдом в лицо повару. Еремей не стерпел обиды, ударил своего господина блюдом по лысине. Генерала хватил паралич, а он был заслуженный, в больших чинах, сам царь его знал. Еремею дали волчий паспорт, запретили жить в городах. Трудно поверить в этот рассказ: больно уж тихий человек кашевар.

Зимогоры иногда насакакивают на мужиков. Кажется, враги вот-вот готовы схватить друг друга за горло. Появляется Еремей.

— Цыц, сынки! Что вам — земля мала? Разойдись.

И все его слушаются.

Я ни с кем не ругаюсь, помогаю Ереме пилить дрова, таскать воду в котлы. Кашевар поглядывает ласково.

— Всегда будь таким, проживешь легко, как с горы на лыжах покатишься. Злой человек сам себя казнит, сам себе могилу роет.

...Ночью тронулся лед. До утра гудела, грохотала вода, ломала льдины.

Хозяйский доверенный, Павел Петрович Хмелев, поднимает всех на восходе солнца.

— Пора начинать, ребятушки.

Подходим к штабелю.

— Клади ваги! — командует Степан Иваныч.

Голос у него грудной, звонкий.

Багры впиваются в темнокоричневую кору. Дерево звенит тугим звоном, брызжет из его боков смола. Великан мачтовик скользит на край осыпи.

— Эй, эй, братаны! — покрикивает Степан Иваныч. Ноздри его раздуваются, сверкают белые зубы.

Как не похож он теперь на ленивого ивановского мужика!

Десятки людей виснут на рычагах. Ефим запекает:

Эй, лесинушка, ухне-ем,

Эй, еловая, са-ма пойд-дет.

Движения лесогонов быстры и ловки. Сначала сползают верхние накаты. Бревна одно за другим прыгают в воду, вспарывают речную гладь.

— А-ать, два, взяли! — командует староста.

Бревна плывут, качаются на порогах и перекатах, чешут друг другу шершавые бока, вода выбрасывает их в заливные луга, в низкорослый ивняк. Мы хватаем бревна баграми, тянем к реке. На перекате островок: малюсенькая зеленая козявка. Наскочило бревно, ткнулось носом в землю. Волны заворачивают его поперек. К нему прибивается другое, третье, четвертое — и готов затор.

Сотни бревен напирают сверху, становятся на попа. С хрустом ломаются они под напором воды, падают смятые, раздавленные. Давя и ломая друг друга, бревна шевелятся, как живые, словно собирают силы для прыжка. Река запружена. Струи воды с шумом прорываются в щели. Потоки хлещут через затор.

Река меняет русло. Сначала маленькие, ниточки-

бисеринки, потом большие клинья воды рассыпаются по луговине, заливая прибрежные ямы, затопляя кусты и холмы с бело-голубыми подснежниками. По водяному полю перекатываются сверкающие солнечные лучи. Вереницей тянутся новые бревна, их где-то в верховьях сбрасывают другие артели. Медленно, ползком, затор движется по течению. Передние бревна достигают середины островка, и все останавливается.

Шумит вода.

Степан Иваныч оглядывает затор. Ищем скрепы, выхватываем баграми крестовые бревна.

— Якорное тащите! — кричит Степан Иваныч.

Долго бьемся над якорным. Вытаскиваем, и в тот же миг подхлестывает резкий окрик старосты:

— Пошел!

Затор снимается, с гроыханием катится вниз, вырывает с корнем береговые деревья. И нет силы, способной остановить его. Бежим по скользким бревнам к берегу. Я замешкался, не успел спрыгнуть на землю, и смяло, понесло. С берега бросают канаты, кричат:

— Лови, лови!

И рад бы схватить бечевку, да залепило глаза, онемели руки. Только вынырну, бревно шархнет в бок, — опять иду ко дну. Обхватываю бревно руками. Скользкое и лукавое, оно сбрасывает меня, как необъезженный конь ездока.

— Врешь! — кричу я, захлебываясь водою. — Врешь!

Ефим обвязывает себя веревкой, бросается в реку, хватая меня за ворот. Лесогоны тянут веревку, вытаскивают нас.

— Спасибо, Ефим!

— Не за что, — отвечает он. — Сегодня я вытащил, завтра ты меня. Сочтемся.

Сделав два шага, падаю на землю. В ушах гудит, потемнело в глазах, будто в яму проваливаюсь.

Просыпаюсь вечером. Догорает заря. Где-то бормочут тетерева. Надо мной склоняются Ефим, Колюнька Нифонтов. Вижу их озабоченные лица. Колюнька молча гладит меня по голове.

— Ну что? — спрашивает Ефим. — Укачало?

— Вода холодна.

Ефим поучает:

— Ты, голубь, на заторе не горячись, о себе думай, доверенного работой не удивишь, медаль не получишь. Второе дело — ставь ногу на носок, обхватывай бревно всей подошвой. Я двадцать лет гоняю бревна, и жив. А ежели бы по затору на пятках ходил — давно бы раки съели. Сноровка нужна. А уж коли в воду сверзился — не пугайся. Кто испугался — капут, крышка. Под воду потянет — не барахтайся, а опускайся на дно и ногами оттолкнись: опять наверх выбросит. Так-то. Приглядывайся к моей ухватке. Силы в тебе много, а пользоваться ею не умеешь, потому что глуп. Погибать нам с тобой за хозяйскую мошну какой расчет? И вот еще что: полезешь на затор, заранее прикинь, каким местом к берегу сигануть можно. Тут каждый шаг значение имеет. Другой раз одну сажень не добежит лесогон — и пропал.

Впервые чужой человек говорит со мной так задушевно. Я думаю: «Нет, не ошибся ты, Матвей, когда за Ефима руку подымал».

Ефим улыбается.

— Кончим сплав, пойдём-ка, парень, со мной бродяжить. Двинемся на Украину, к Черному морю, на Кавказ. Там теплынь, красота, и ни о чем не думай: каждый кустик ночевать пустит. А то отправимся на Дальний Восток, к Тихому океану, женьшень искать. Это корень так называется. Китайцы за него деньги большие платят. Женьшень слабосильных стариков молодыми делает. Наберем полные мешки, продадим и почнем куролесить. Хочешь?

— Мать в деревне, бабушка... Хозяйство.

— Любишь семью?

— Люблю.

— Эх ты, мужик! Связаны вы, косопузые, по рукам и ногам. У меня вот ни матери, ни милашки, и порхаю по белу свету, как птица.

Ефим ушел. Колюнька боязливым шепотом начал:

— Убежим домой, Матвейка... Страшно тут, оба утонем. Провались они, большие деньги!

— Контракт подписали. Нельзя бежать, оштрафуют.

Колюнька тупо глядит на закат, лицо у него скучное.

— Жив останусь, палкой сюда не загонишь! — ожесточенно заявляет он. — Черт же нас дернул подрядиться!

Постепенно я втягиваюсь в трудную работу. От восхода солнца до заката приходится махать багром, ворочать бревна. Болит спина, ноют руки. Но каждый день нарастает заработок, и, засыпая на талой земле у костра, я думаю: «Через месяц сколько денег будет! Можно потерпеть!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Днем растягиваемся по реке на версту. К вечеру собираемся в одно место. У костров поем песни. Иногда зимогоры пускаются в пляс. Удивительна их стойкость, выносливость. Они как-то умеют беречь свои силы.

Ефим предлагает разбирать затор с берега: вбить костыль в бревно, закинуть петлю и тянуть веревкой. Вытащим одно, берем другое.

Павел Хмелев не согласен.

— Целый день на одном заторе сидеть? — возмущается он. — Убытки посчитай, изобретатель.

— Людей сбережем, — не сдается Ефим. — Река свирепа, народ собран хлипкий, молодняк. Долго ли до беды?

— Дурак в банной кадке утонуть способен, — возражает Павел Хмелев. — На дураков равнение делать? Нет, хозяин отродясь не позволял и не дозволит.

Зимогоры согласны с Ефимом. Мужики тоже считают, что сподручнее тянуть с берега, но боятся перечить Хмелеву. Степан Иваныч, как староста, получает от доверенного десять рублей в месяц надбавки. Это заставляет и его молчать.

Ефимов способ отвергнут.

А через день погиб Колюнька Нифонтов. Я не видел, как это случилось. Он работал на другом заторе. Хоронили Колюньку утром, на холмике под кудрявыми

соснами. Степан Иваныч мастерит из валежника крест, втыкает его в могилу, притаптывает ногами. Люди обнажают головы. Звенят ручьи. Над горами — марево. Солнце греет землю, распускается лист на березах. День легкий, радостный, и вот похороны...

Ах, зачем я отговорил Колюньку бежать со сплава? Как понесу эту скорбную весть в деревню? Что скажу дяде Нифонту?

Зимогоры стоят угрюмые, подтянутые. Доверенный подходит к могиле, вытирает платком лысину.

— Мир праху твоему, раб божий Николай!

Ефим расталкивает людей, взбирается на могилу. Всех обжигает его резкий голос.

— Друзья мои! Что такое? Почему одни всю жизнь едят дохлятину, гибнут для того, чтобы другие жили в хоромах, обжирались? Где он, этот наш хозяин, Казимир Карлович Ратомский?

Лицо Ефима бледнеет.

— Говорят, есть бог, — продолжает Ефим. — А я спрашиваю: что он смотрит, бог? На моих глазах каждый год гибнут люди, а бог молчит.

— Бога не тронь! — кричит кто-то из мужиков. — Бог сам по себе!

— Замолчь! — орет доверенный. — Не смей народ смущать! Агитатор выискался. Вот приедем в город...

— Ага, правды боишься? — смеется Ефим. — Чуть что — полиция. Не-ет, не запугаешь.

Кашевар хватается Ефима за плечи.

— Да что вы, как зверье, друг на друга? Над могилой-то!

Ефим смотрит на него сердито, доверенный скрывается в палатке. Лесогоны выходят на затор. В обед Ефим говорит:

— Вредный мужичонка Ерема. Не люблю таких слизняков. Ударь по одной щеке, другую подставит. Черт блаженный. Утешитель! Людей сердить надо, а он елеем в раны капает.

Слова Ефима запали в душу, не дают покоя. И у Ефима и у Еремы своя правда. Оба любят, и я думаю: где настоящая правда? Что лучше: любовь или ненависть? Подкладывая полешко с порохом в печь Семена

Потапыча, я делал то, к чему зовет Ефим, и не раскаиваюсь. Но почему Ерема покоряет своей сердечностью?

Степан Иванович говорит о Ефиме:

— Смелый варнак. За такие дела в Сибирь посылают. Не миновать ему кандалов.

Мужики поддакивают Степану Ивановичу. Ефим напоминает деда Спиридона.

«Как живется дедушке в остроге?»

Хорошо бы послать старику денег. Но как? Спрашиваю Ефима. Он рассказывает об осторожных порядках, о передачах. После сплава он будет в городе, зайдет к деду. Я пошлю письмо и пять рублей.

За артелью тянется плот с запасной одеждой, продуктами, инструментами. Павел Хмелев окрестил его резиденцией. Непонятное слово понравилось лесогонам, и все называют плот «резиденция». Артель идет ходом, очищая берега. Резиденция осталась далеко позади. Саламатов посылает меня и Ефима в помощь Ереме. Мы снимаемся с прикола.

Ефим пристально смотрит на канат, свернутый в кольцо на корме.

— Веревка-то гнилая, Ерема. Как ты едешь с ней?

— Канат изношен, — согласился кашевар. — А хозева другого не дают. Не на свои же покупать.

Тяжело загруженный плот выбивается на стремнину. Ефим управляет шестом. Перегибаясь за борт, свистит сквозь зубы:

— Под табак¹, якуня-ваня. — Острые маленькие глаза его весело улыбаются. — Эка прет вода, эка прет!

— Да-а, не маячит, — говорит Ерема.

Солнце в зените. Тонкие облака сходятся и разбегаются по небу. Ерема оглядывает из-под руки мерцающую даль, шамкает беззубым ртом:

— Здорово наши молодцы лупят — не догоним.

— Есть о чем думать, — говорит Ефим. — Обедать захотят, остановятся. От реки, брат, не уйдешь.

Высоко в небе над нами кружит ястреб. Острые крылья его неподвижны. Он, поднимаясь к облакам,

¹ Глубоко, шест не достает дна.

становится маленькой точкой, делает петлю и камнем падает вниз, сверкая белым подкрыльем. Иногда он опускается над самым плотом, долго провожает нас. Вижу скрюченные когти, желтые выпуклые глаза.

Ерема ворчит, следя за полетом птицы:

— Вот житье: ни работы, ни заботы — день-деньской хвост чистит. Ты гни спину зимою и летом, а толку что? Маята! Давай-ка споем, ребята, на душе легче будет.

Ефим запекает:

Уж ты, радость, ты, моя радость,
Ты куда же, радость, девалась?
Где весельице потерялось?
Не в лесу-то ли заблудилось?

Вначале звуки чуть слышны, сливаются с плеском воды. Постепенно они нарастают, захватывают. Мы с Еремой тоже поем:

Не в лесах-то ли в дремучих,
Приболотинках да зыбучих?
Из того же да из болота
Протекала, ой да, речка быстра,
Речка быстра, эх да, камениста.

И вот распелись, будто глухари на току. Не видели, как подлетели к порогу. Плот трясет, вертит, словно шепку.

Нырдем с гребня, выносимся на стремнину.

— Затор! — кричит Ерема. — Гребни к берегу!

Ефим хватает шест. Я наваливаюсь на рулевую жердь, стараясь вывести плот к заводу. От затора по берегу бежит человек, взмахивает руками, кричит на ходу. Это Степан Иваныч. Поровнявшись с плотом, он останавливается, сжимает над головой кулаки.

— Э-э-гей-ей, молодцы! Жми, жми! Куда черти несут?

Ефим и Ерема изо всех сил работают шестами, плот нехотя идет наискось. Весло скрипит в моих руках.

Высчитываю на глазок, сколько сажений осталось до затора, и думаю: «Не совладать».

Однако прибились. Плот ударился о береговой

выступ. Ефим прыгает на берег с канатом в руках, обертывает чалку вокруг толстого пня.

— Шалишь, заарканили! — орет он. — Старые морячки знают, как плоты водить.

Он смахивает рукавом пот с лица, весело глядит на меня. Вода напирает. Плот завернуло вперед кормой. Просмоленная бечева натягивается, хрустит.

— Трави! — командует Ерема. — Трави, кукушкин племянник!

Ефим, как белка, мечется вокруг пня.

— Чем травить-то?

Канат израсходован. Староста суетится рядом с Ефимом. На помощь бегут лесогоны.

— Подпирай шестом! Подпирай! — кричит староста.

Губы Степана Иваныча вытянуты вперед, словно он хочет ими ухватить кромку плота. Сжимаюсь в комок, хватаю оставленный Ефимом шест, сую за борт. Древко, хрустнув, ломается. Падаю на мешки с крупью. Ерема давит грудью рулевое весло. Плот опять дернуло, и он, оборвав, как паутину, канат, несется вперед. Ерема бросает руль.

— Пропали, малый!

Навстречу летит затор. Управлять нечем. Люди на заторе машут руками. И опять, захлебываясь ветром, что-то кричит Степан Иваныч. Слышу его крики, ничего не понимаю. В голове одна мысль: «Пропали, пропали...»

Плот поднимается на дыбы, лезет кормой под затор. Я барахтаюсь в воде меж бочонков и досок. Лесогоны вытаскивают меня баграми.

Ерему искали долго — не нашли.

Павел Хмелев у костра бранит Ефима:

— На тыщу целковых добра утопил, бродяга! Чесать языком мастер, на дело тебя нет.

Ефим вспыхнул:

— Это мы же и виноваты? А ты видел канат? На нем лодку спускать нельзя было! Хозяева! Из-за вашей жадности человек погиб!

Хмелев начал спорить. Ефим кричал на него громче и громче...

Мне жаль старика Ерему. Скрипучий голос доверенного верещит в ушах, как пила. Вспоминается смерть Колюньки Нифонтова. И сам я был не раз на волосок от смерти. Завтра, послезавтра еще кто-нибудь утонет, сломает ногу на заторе. А этот человек ходит всегда по сухому, в крепких сапогах и еще смеет выговаривать нам.

Подхожу к нему. Хочется ударить, но я только говорю:

— Гадюка!

Он таращит глаза.

— Цыц! Оштрафую.

Я поворачиваюсь, иду к палатке.

Степан Иваныч грозит мне пальцем.

Хочется побыть одному. Захожу в ельник, сажусь на валежину. Сладковатый запах перегнойа, распускающейся зелени, гниющих кедров окружает меня. Птицы молчат. Мрачно и пусто кругом. В кочетовской тайге все лога и тропинки были моими друзьями. Здесь мертво, тоскливо. Неясный шум доносится с реки. Где-то вода ломает бревна. Я думаю о людях, о завтрашнем дне, о жизни.

Порой не заметишь, как пролетит неделя, месяц, а вдруг накатит такое, что день покажется за год.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Питаемся сухарями, кашей. Крупа на исходе. Доверенный сократил паек. До склада еще далеко. Плеса неудобные: каждый день заторы. Дуют южные ветры, стало теплее, появился гнус. Он вылезает из-под листьев осинника, из гнилых трущоб, из болотных цветов и лужиц. Тучи комаров и мошек окружают нас на заторах.

Степан Иваныч говорит:

— Сколько лет на сплаве работаю, такого не помню. Урожай ноне будет важный. Овсы хорошо идут в комариный год.

Смазываю лицо и шею болотной тиной, заклеиваю

листьями подорожника — не помогает. Волдырями вздуваются искусанные места.

— Каторга, — жалуются зимогоры. — За месяц комар всю кровь выпьет. Кабы знато дело, ни за что не пошли бы сюда.

Павел Хмелев ходит в волосяном накомарнике, подтрунивает над нами.

— Вы что думали: хозяин даром деньги платит? Комаров испугались, богатыри!

Зимогоры грубят ему, называют хозяйским холуем. Мужики тоже бранят Хмелева за глаза, а при встречах величают Павлом Петровичем, благодетелем.

— За что доверенного считаешь? — спрашиваю Степана Иваныча.

Он отводит глаза.

— Поживешь — узнаешь. Другой раз кулаком ему в мурло заехать хочется, а шапку перед ним ломаешь. Молод ты, трудно это уразуметь.

Выше затора выбегает на обрыв матерый лось. В шею его впиалась плосколобая рысь. Бока лося тяжело вздымаются, с отвислых губ падают на землю ошметки пены. Увидев людей, лось замирает над кручей. Мы смотрим, боясьдохнуть.

Скрестив ноги, он кидается в заводь. Прыжок легок: кажется, зверь летит на крыльях. Он хочет прорваться в заросли левобережья. Бревна по реке идут густо, прижимают его к людям. Широкая мясистая морда легла на бревна затора. Первым подбегает к лосю зимогор Дмитрий Волехов. Багор со свистом падает на голову рыси. Хищник еще успевает разжать клыкастые челюсти, схватить багор. Дмитрий поднимает его на багре выше головы и, крикнув, бросает на бревна.

Лесогоны бегут к лосю, разглядывают рысь. Она вздрагивает на заторе. Серо-зеленые глаза под взбухшими веками горят злобно. Зимогор Семен Мохов поворачивает ее брюхом вверх.

— Ну и подлюга: самой грош цена, а какую животину испортила.

Лося тянет под затор. Он пугливо храпит, прядает

ушами. Степан Иваныч берет из рук доверенного маленький револьвер, подходит к лосю, стреляет ему в лоб.

Лесогоны подтягивают добычу баграми к берегу.

Обед приготовлен жирный: в миске ложка стоит. Мужики удивляются, почему лось не сбросил кошку.

— Придавил бы ее к дереву — и готово, а он бежит сам не знай куда, — рассуждает Семен Мохов. — До чего глупое животное!

— Глупое, — соглашаются лесогоны. — И через свою глупость зверь кончину принял.

— А вы умнее? — ядовито спрашивает Ефим Козлов. — Сколько нас? Тысячи, громада. А барыш куда идет? Хозяину. Вот и получается, мы вроде лося: не можем хозяина сбросить. Вся Россия — лось. Эх, кабы ума прибавить народу! Глуп народ, темен народ. Грызут ему шею, пьют кровь.

Тут деревенские, должно быть, вспоминают жандармов, горькую судьбу деда Спиридона, Зинаиды Сироты.

— Опять на политику потянуло!

Ефим скрестил на груди руки, оглядывает всех колючими глазами.

Мужики опускают головы.

Ночью слышу, как Павел Хмелев уговаривает Саламатова:

— Мутит всех Ефимка. Того и гляди забастуют или разбегутся люди. Столкни его на заторе в воду. У тебя ловко выйдет, никто не догадается. Или спирту отпущу. Выпьют мужики, драку затеют с зимогорами. Ну, а там невзначай пусть саданет кто-нибудь под вздохи так, чтоб не поднялся.

— Не занимаюсь такими делами, — ответил Степан Иваныч. — Для душегубства других помощников ищите.

— Хорошего человека погубить грех, а Ефимка нешто человек? Я четвертной билет добавлю.

— Несподручно это нам, — бормочет староста. — Отродясь не занимался.

— Боишься зимогоров?

Степан Иванович зло выкрикивает:

— Иди-ка ты к чертям! Вот скажу ребятам, куда подбиваешь...

И они расходятся в разные стороны.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Бревна пригнали к запани, где вяжут плоты. За вычетом штрафа и кормовых денег я получаю тридцать пять рублей.

Первый заработок.

Спускаемся до большой реки в лодках. Садимся на пароход. Зимогоры идут пешком к ближайшему заводу. Ефим остается с нами: ему надо в город по своим делам.

Я тороплюсь домой. Хочется обрадовать мать, бабушку деньгами, а на реке туман, и пароход лениво загребает плицами воду. На пристанях стоим часами: грузим, выгружаем товары, набираем дрова для топки котлов. На палубе тесно. Все завалено мешками, бочонками, корзинками, связками железа. Пассажиры слоняются по узким проходам, толкают друг друга, грязные, с опухшими лицами.

Я не спал двое суток. Близится пристань, где мы должны слезть. Прикорнув на тюке мануфактуры, сладко всхрапываю. Снится: гуляю по кочетовской улице, в руках новая гармонь с серебряными планками. Девки запевают песню. Зеленеет листва на берегах. Солнечный блеск. Вороны посвистывают на деревьях, как скворцы. Просыпаюсь от пароходного гудка, протираю глаза, ощупываю карман, чтоб достать пятерку Ефиму для передачи деду. Рука попадает в дыру. Карман срезан. Ни паспорта, ни денег. Люди спешат на берег. Я стою. В голове шум. Как будут смеяться надо мной Емелья Мизгирев, Семен Потапыч! Что скажу матери, бабушке? И как расплачиваться с долгами? Нет, пережить это нельзя! Лучше смерть, чем позор! Я с разбегу прыгаю за борт в мутноватую воду.

...Меня спасают. Бородатый матрос шлепает по спине ладонью.

— Ты что, парень? Очумел?

И вот я лежу на борту пристани. Подходят земляки, товарищи по артели.

— С чего это дуришь вздумал?

— Деньги потерял.

— Ай-ай-ай, — певуче говорит Ефим. — Не в деньгах счастье, парень. Эко дело четвертной билет! Да мы вдвое больше соберем. Так я говорю, ребята?

Никто не отвечает.

Ефим снимает с головы картуз, кладет в него серебряный рубль, двигается по рядам.

— А ну, мужички, раскошеливайтесь. Посочувствуйте пареньку. Со всяким это может случиться. Я рубль дал. Кто больше?

Мужики опускают глаза, прячут руки за спину.

— Не обессудь, милый: сами нищие, — кротко бормочет Филипп Бабаев из Ивановки. — Рубль на полу не валяется. Для бедного человека рубль — деньги большие.

В шапке Ефима десятка два медяков. Толпа отхлынула. Мы остаемся вдвоем.

Вытряхнув деньги из шапки, Ефим сжимает кулаки.

— Ничем не проймешь, дьяволов! Собственники, чтоб вам околеть!

Ивановцы и кочетовцы идут по берегу. Я остался на пристани: домой идти нельзя, а что делать — пока сам не знаю.

— У меня двадцать восемь рублей, — говорит Ефим, — я бы отдал, да не могу: ждет в тюрьме друг. У него чахотка в последнем градусе. Ему нужно молоко, белый хлеб. А тюремная пища известная. Вот и должен я поддерживать человека, а ты еще молод, как-нибудь выплывай на большак.

Пароход гудит, фукает в небо синеватым паром. Ефим прощается со мной. Я один среди незнакомых людей. Что делать? Над рекой носятся чайки. От воды пахнет травами. После «купанья» холодно и немножко стыдно.

Со встречным пароходом ехала крестьянская артель на работу в угольные шахты Кизела. Я решил по-

пытать счастья в шахтах. Артель приняла меня. Староста артели купил билет.

— Заработаешь — вычту, — говорит он, сверкая белыми зубами. — Кость у тебя ядреная, шахтер выйдет хороший. В первую получку штоф водки поставишь. Так, что ли?

— Так, — говорю я, и становится легче на душе.

Разгорается день. Солнце припекает, сушит мою одежду.

Сочиняю короткое письмо к матери с просьбой выслать новый паспорт на шахту Губаха. Пароход трогается, освещает огнями темноту. На палубе пляшут подвыпившие шахтеры, хрипит гармонь. Я, голодный, одинокий, сижу в углу. Теперь никто не помешает утнуть. Но не могу еще раз прыгнуть за борт. Каким-то маленьким крючком опять зацепила жизнь.

Староста дает кусок жареного мяса, ломоть хлеба.

— Ешь, голова садовая, гляди веселее. Шахтеры пучеглазых не любят.

Наевшись, дремлю. Можно спать, никто не ограбит. Мерно стучат колеса. Пароход вздрагивает. Теплый ветер щекочет лицо. Просыпаюсь от резких гудков, вздрагиваю.

«Ничего, надену шахтерскую робу, спущусь под землю уголь рубать».

...В угольном поселке полиция ищет беглых и «подозрительных» людей, проверяет документы. Меня, «за неимением вида на жительство», направляют из рудника этапным порядком в деревню Кочеты, к месту жительства.

Июнь месяц.

На полях кипит работа. Скучно идти под конвоем по зеленой тропе. Встречные люди посматривают косо. В сельских клоповниках держат сутками под замком, напутствуют недобрым словом. Я клянусь десятским и сотским, что в бродяги попал случайно, — не верят. Конвоиры бранятся.

— День-деньской бьешься на полях, да еще таскай вашего брата, шпану.

В богатом кержацком селе волостной старшина говорит сотскому:

— Петруха, нече время терять: вон соседи пары пашут, сейчас — день год кормит. Пойдете через мост, столкни его в воду. Писарь донесенье составит: убежал, мол, бродяга от конвоя. Свечку за пятак поставишь — бог простит.

А Петруха — мужик лет сорока, в плечах косая сажень. Оружия у него нет. Но, взглянув на огромные Петрухины кулаки, на волосатую бычью шею, начинаю думать, что этот день будет последним днем моей незадачливой жизни.

Выходим за околицу. Петруха молча шагает сзади, как солдат, неловко взмахивая узловатыми руками. Лицо конвоира неподвижно, словно деревянное, грубоко запавшие глаза смотрят неприятливо. Он покрикивает простуженным басом:

— Иди, иди!

Речонка шумит в крутом каменистом рукаве. Кругом пустые берега с редкими елками. Глушь. Кричи — никто не отзовется. Самое подходящее место отделяться от арестанта.

Круто поворачиваюсь.

— Ну, дядя, кончай!

Петруха смеется.

— Да иди ты, иди, не оглядывайся: нешто я душегуб али зверь какой? Буду руки пачкать. Староста брехнул, а ты поверил.

Он опять улыбается во весь рот, и улыбка эта оживляет его грубоватое лицо. И вот как вдруг стало все хорошо! И мои неудачи, мое прошлое со всей его болью — все отошло куда-то.

Мы идем рядом, разговариваем, как старые приятели. Петруха рассказывает про жену (она родила недавно сына), про ловлю хариусов вершами. Я — про охоту на соболя. Петруха сдает меня на этапе, получает расписку и советует:

— А ты не бродяжничай, малый. Попадешь под горячую руку, в самом деле кокнут. Осерчал, понимаешь, народ на вашего брата.

В Ивановке я опознан, освобожден от опеки сотских. В селе — никаких перемен. Все тот же лабаз против церкви и офеня с книжками на базарной площади.

В Кочеты вхожу грязный, оборванный, как заправский зимогор:

Бабы топят печи. Над кровлями домов в чистом небе — узкие полосы дыма.

Люди, как муравьи, копошатся на полях и огородах. Тощий Пестря, ощерив клыки, бросается навстречу. Я окликаю собаку. Кобель стоит, не решаясь приблизиться. Кажется, вспоминает что-то, колеблется.

— Вот вздрючу тебя, чертяку, будешь знать хозяина!

Он узнает голос. Виляет хвостом, прыгает на грудь, повизгивает знакомым визгом, от которого холодеет сердце.

Открываю дверь, шагаю за порог. Отец лежит под образами. Целую его в холодный лоб. Он смотрит усталыми, немигающими глазами.

Мать встречает попреками:

— Эх, сынок! Весь в отца издался. Чуяло мое сердце.

— Мамка!.. — и ничего больше сказать не могу.

Нерадостная вышла встреча.

Из огорода приходит бабушка. Она без слов понимает все и, обласкав меня, уже гремит чугунами на шестке, готовится обед.

— Подойди сюда, бурлак, — просит отец.

Как он ослабел! Не может подняться. Кашель короткий, сухой, глаза потухли, на голове лысина.

Я сажусь возле отца.

— Ну, что там случилось с тобой?

Рассказываю по порядку. Мать и бабушка тоже слушают, вытянув лица. Боюсь, что мать разревется, и пропускаю самое страшное: ей незачем знать, как я тонул на заторах, как хоронили Колюньку и многое другое.

— Со мною тоже всяко бывало, — говорит отец, поглаживая мою руку. — Исходил я мест много, не видел счастливых людей. Счастья-то в обрез народу отпущено. Не хватает на каждого. Мечутся людишки туда-сюда. Ну, сколь ни кружат по чужой стороне, хвороба скрючит — домой едут, как я, грешный

праведник. Блуди землю, Матвейко. Земля не выдаст. Я, видно, долго еще пролежу в постели. Плохо вам придется. Потерпите.

— Ладно, батька, — отзываюсь я. — Вытянем, не беспокойся. На охоту скоро пойдем. Может быть, Семен Потапыч даст билет.

— Даст, непременно даст, — говорит отец. — Поправлюсь, сам к нему схожу.

Бабушка рассказывает новости: дед и Зинаида Сирота все еще сидят в губернском остроге, суда не было. Всеволод Евгеньевич, по слухам, тоже арестован в низовьях и отправлен в город. Дядя Ларион построил на горе ветряную мельницу, но никто не везет к нему зерно на помол, потому что жернова на ветряке плохие, мука получается крупная. Деньги, заработанные на муравьях, Ларион опять «просадил». Вот же неисправимый человек!

Я ловлю в озерах карасей. В речных заводях попадают щуки, хариусы, лещи. Рыбные пироги не сходят со стола, но бабушка скучает без молока и шанег. Когда деревенское стадо с мычаньем проходит по улице, она жалостно говорит:

— Не видать нам теперь своей коровки.

Я мучаюсь оттого, что не оправдал надежд семьи, что кормилец из меня выходит плохой. Жду зимы. Пойду на промысел, настреляю белок, добуду куницу, соболя, поправлю дела. Отец ласков со мной. Мать «простила» его. Они подолгу беседуют вечерами. Я присматриваюсь к отцу. Так хочется встряхнуть его, поднять на ноги, заставить улыбнуться, пройти по избе.

Умер отец ночью. Тихо и незаметно.

Моросит мелкий дождь, ветер трубит в медные трубы, облака низко бегут над землей. Спотыкаясь в лужах, идем за сосновым гробом. Дядя Нифонт ведет бабушку под руку. Мать голосит. Ей заунывно подвывает соседки. Бабий плач разрывает сердце, и кажется, будто деревья и травы тоже плачут под мокрым, холодным небом.

До чего же трудно хоронить близких людей!

Земля принимает гроб. Беру железную лопату. Сту-

чат комья о крышку. Мы притаптываем землю и ставим белый деревянный крест.

Никогда не увижу больше отца, не услышу его голоса.

Дядя Нифонт говорит:

— Ну, держись, хозяин: теперь сам — большой, сам — маленький. Я помогать стану. Но быстро не надейся. У меня свое семейство, а достатки — знаешь — какие. Сына-работника потерял...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Множество забот, о которых я раньше не знал, свалилось на мои плечи. Готовлюсь к зимней охоте. Достал порох, свинец, пистоны. И тут опять поперек дороги — Семен Потапыч. Снова мне отказано в свидетельстве на право охоты.

Хлеба мы собрали мало. Овощи тоже не уродились. Как жить зиму? За последние годы молодежь из Ивановки, Кочетов и других деревень устремлялась на отхожие промыслы, в город. Многие спивались или кормили клопов по тюрьмам, гибли без вести на чужой стороне. А иным везло: счастливицы попадали на теплые места, выписывали родственников, всех устраивали к делу. В престольные праздники они наезжали в деревню, одетые в городское платье, вызывая зависть и многочисленные толки у людей, прикованных к земле. Две семьи перебрались в город, заколотили избы, сдали в аренду земельный надел.

Может, податься в отходники?

Вместо Всеволода Евгеньевича прислали нового учителя — Федора Павловича Гладышева. Я думал, он прибыл из города, зашел к нему потолковать. Оказалось, Гладышев переведен из соседней волости, где тоже работал много лет в сельской школе. Там сменила его внучка, недавно окончившая епархиальное училище, и он перебрался в Кочеты. Это был тихонький, смиренный старичок с дряблым лицом и хриплым голосом.

Гладышев как-то сразу не понравился, пропала

охота советоваться с ним, но все-таки я спросил, не знает ли он, как в городе с работой. Тихий старичок вдруг ошетинился.

— Да что он дает вам, город? Здесь вы — спаянная, тесная семья, живущая старым укладом, а в городе человек человеку волк.

Он стал резко поносить города, ссылаясь на ученых, писателей, возвеличивавших деревню. Оглушенный его словами, я молчал.

— Ты пойми, — убеждал Федор Павлович, — чем ближе человек к земле, к растениям и животным, тем он чище и яснее. Счастье и мудрость жизни в лесу, в поле, под солнцем.

— Солнышко есть не будешь, — заметил я. — Жить нечем!

Гладышев, казалось, не слушал меня.

— За каждый рубль будешь платить городу здоровьем, весельем, радостью. Город изжует, высушит, сделает пролетарием. Понимаешь ли ты, что такое пролетарий? Тень человека! Ни кола, ни двора. Он, пьяненький, умирает под забором. Этого хочешь?

— Всеволод Евгеньевич говорил другое.

— Ах, этот ваш несчастный Никольский! Наслышан я о нем. Заблудшая овца. Вместо того чтоб учить вас грамоте, он занялся политикой. Теперь попал в острог. Неужели тебя прельщает его судьба?

Я слушал Федора Павловича и улыбался. Почему-то вспомнились слова зимогора Ефима, сказанные про кашевара Еремея: «Вредный мужичонка — утешитель!» Да и сам Гладышев казался каким-то вылинявшим, убогим. Он еще цеплялся за то, что давно отброшено, осуждено Всеволодом Евгеньевичем...

Я стал снаряжаться в город. В котомке было полпуда сухарей. Никто не провожал меня за околицу: в этот раз я не хотел никаких проводов, прощальных напутствий, слез. Бабушка еще в избе измучила наставлениями.

— Главное, живи по правде. Не забывай ее, правду-матушку. Советчиков будет много. Слушай всех, а делай по-своему.

Была осень, желтые листья тихо дрожали на бере-

зах. В ивановской церкви звонили колокола. Чистый и нежный звон колыхал воздух, нагонял тоску. Я зашел на могилу отца — проститься. Кто его знает, как обернутся мои дела и когда вернусь домой. Крест покосился в раскисшей от дождя земле. Я поправил, отоптал его ногами.

Я снял шапку и молча стоял у могилы. Сырой ветер обдавал холодком мое лицо, шевелил волосы.

— Прощай, отец! Благослови меня в путь!

Тихо было кругом, и казалось, отец слышит, все понимает.

Не оглядываясь, я зашагал берегом Полуденной. Гулко и светло в лесу. Ветер качает деревья. Знакомые сосны машут ветками: «Будь счастлив, парень. Не забывай нас».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первым долгом я навестил деда в остроге. Свидание было короткое — десять минут. Старик показался бодрым, веселым.

— В камере нас душ тридцать, — говорил он. — Все политические. Народ занятый, любопытнейший. Ах, какие хорошие люди есть! Никто не унывает. Всеволод Евгеньевич тоже попал сюда. Его крепко держат, в одиночке. Зинаида Сирота — в женском корпусе.

Простившись с дедом, я хотел еще повидаться с Зинаидой и Всеволодом Евгеньевичем. Дежурный надзиратель спросил:

— Родственник?

— Сосед.

— Соседям свиданий не положено, вали домой.

Я побывал на пушечном заводе, на заводе скобяных изделий, на спичечной фабрике, в железнодорожных мастерских, на скотобойне. Время было тревожное: еще не потухли зарева крестьянских восстаний. В конторах ловкие люди выспрашивали, кто я, откуда, почему пришел в город.

— Отец есть?

— Отец умер, а дедушка в остроге.

— За что посадили дедушку?

— За бунт.

— Не берем, проваливай, малый.

На том разговоры и заканчивались.

Спал я в ночлежке. С утра до вечера ходил в поисках работы. Улицы в городе длинные, узкие, как протоки в таежных озерах: побродишь часок-другой, глядь — заблудился. В тайге днем находил дорогу по солнцу, ночью помогали Полярная звезда, Большая Медведица, Три Волхва. Здесь, в городе, все туманно и непонятно. И люди чудные. Куда-то вечно торопятся.

Выпал снег, и город стал еще более неприятным, чужим. Деньги кончались. Я голодал, подумывал о том, как выбраться из города. В один из таких дней на базарной площади подошел ко мне старичок с козлиной бородой, оглядел маленькими бойкими глазами.

— Работенку* ищешь, земляк?

— Ищу.

— Паспорт имеешь?

— Имею.

— Айда-ка, побеседуем.

Он повернулся, зашагал по мостовой, не оглядываясь. Будто знал, что пойду я за ним куда угодно.

Пришли на окраину.

В Кочетах я наслушался страшных рассказов о злодействе горожан. Одно лето ходили слухи: городские мыловары зазывают крестьян в салотопню, бросают в кипящий котел, перегоняют на мыло.

Я спрашивал об этом учителя. Всеволод Евгеньевич смеялся, покачивал головой. Я понял тогда, что рассказы о мыловарах — брехня. Однако теперь подступили сомнения. Кто этот старик? Куда он ведет? Вдруг он и есть злодей-салотоп?

Остановились у голубого домика с резными наличниками на окнах.

— Моя усадьба, — сказал старик. — Звать меня — Агафон Петрович, а район наш — Веселая слобода.

В глубине двора стоял двухэтажный каменный флигель, у забора — аккуратно сложенные поленицы

березовых дров. Огромный черный кобель, гремя цепью, свирепо гавкал, носился по блоку.

Вошли в кухню, разделись. Глуповатая и плоская, как вобла, кухарка Фекла подала на стол самовар, тарелку холодного картофеля, плетеную хлебницу с ломтиками ржаного хлеба.

— Пей, ешь и давай толковать о деле, — сказал хозяин. — Я легковым извозом промышляю: шесть лошадей, три упряжки. Работник нужен. Двое ездят, третьего прогнал за пьянство и воровство.

Он спросил, из каких я мест, как попал в город, живы ли мои родители. Я выложил все, только умолчал про деда, сидящего в остроге: маленький опыт, накопленный мною за время хождения по заводским и фабричным конторам, подсказывал мне, что лучше не договаривать, чем сболтнуть лишнее.

За чаем быстро столковались. Я нанялся ездить, как все работники, в две смены: первая — с восьми утра до четырех дня, вторая — с пяти дня до двенадцати ночи.

— Положу тебе десять целковых в месяц, — важно проговорил Агафон Петрович. — Харчи, понятно, мои, за одним столом обедать будем. Я работников уважаю: что сам ем, то и они едят. Ну, первый месяц бесплатно поездишь.

Глаза у него широко открыты, неподвижный взгляд их по-детски чист. И он совсем не шутит, хозяин, хотя трудно понять, как это тридцать дней работать в две смены и не получать денег.

— Почему бесплатно?

— Да ведь ты деревня неотесанная, — ответил хозяин. — Улиц, переулков, поди, толком не знаешь. Седоки — жулье. Спервоначалу дешево возить будешь, на прокорм коням не хватит, я тебя обучать должен, а за науку деньги платят. Не хочешь — не надо, силком не тяну. Вас, голодранцев, сотни шляются. Другого найду.

Вздохнув, я согласился.

Старик взял мой паспорт, долго читал его, потом сунул в шкафчик под образами.

— Выручку воровать не смей. Копейку утаишь — сгною в тюрьме.

— Что ты, Агафон Петрович! Как можно?

— Помалкивай. Ныне все воры, мошенники. Вятский один батрачишка, Федором звали, у меня два года ездил, нахапал денег, свою биржу завел. Вот каков народ!

Беседа затянулась. Хозяин, мигая красноватыми веками, наставлял:

— Место, где стоят извозчики, называется «колода». Выбирать колоду надо умеючи. С одной то и дело подают, а на другой полдня без почину прстоишь. С господами, которые по форме одеты, будь осторожен, не груби, почтение оказывай. На улицах держись правой стороны, кто по левой ездит — штрафуют. Бойсь ломовиков — у них сани здоровые. Ломовик тебя стукнет, будто невзначай, — и готово: ставь экипаж на ремонт. Мастеровых в Горькую слободу не вози. Чистые разбойники: по шее накладут, денег не заплатят.

Я кивал. Агафон все бубнил и бубнил:

— Такса — пятнадцать копеек за первые четыре квартала, дальше — по гривеннику за каждые два квартала. В дождь, в мороз, в непогодь — с накидкой по соглашению. С пьяных дорожке проси. Будешь сдачу отсчитывать, недодай гривенник, а то и полтину. Жалеть таких нечего — все равно пропьют, а нам и семишник на пользу. Верно?

Я слушал, вспоминал бабушкин строгий наказ и думал: «Не легко будет жить по правде!»

Хозяин продолжал:

— Кавалера с барышнешкой повезешь — опять не зевай. Ему, кавалеру, неудобно перед женским полом конфузиться, старается показать себя богатым, благородным. На благородстве и лови: наездил по таксе на рубль, требуй два, три рубля. На овес, мол, цена поднялась, а сам возвышай голос: коли человек втюрившись, из него веревки вить можно, шуму страсть боится. Только с умом действуй. Допустим, седок с законной супругой — нажимать нельзя: хуже будет.

— Да как узнать, законные или не законные? Что у них, на лбу написано?

— Чудак, — усмехнулся хозяин. — Слушай, что говорят. Извозчик должен острый глаз иметь. Ежели

человек идет по улице со своей бабенкой, так за версту видно, что законная: он ее, как бревно, волочет под руку, по сторонам на всякие предметы поглядывает. Ну, с любовницей или мамзелькой — другое дело: мотыльком вьется, прижимается, в глаза глядит, лицо у него баранье, глупое. Уразумел ай нет?

— Уразумел, — шепчу я, а сам думаю: «Быть извозчиком потруднее, чем соболя ловить».

Пошли в конюшню смотреть лошадей, на которых я должен ездить. Тощую кривоногую гнедую кобылу зовут Касаткой, вислозадного серого жеребца — Бардадым. Хозяин объяснил, как запрягать лошадь, чистить сбрую, санки, полость. В передке санок висел молоток с заточенной шляпкой.

— А эта штука для чего?

— Ноги коням подбивать. Но ежели какой гусь нападет или побежит, не расплатившись, лупи молотком по башке. Я с полицией в дружбе: ничего не будет. И твое дело святое: наездил — плати!

Я гляжу на хозяина. «Ну, божий старичок!» В окно доносится приглушенный шум города. Где-то, совсем рядом, оглушительно стонет заводской гудок.

Вечером приехали работники. Я помогал им запрягать лошадей. Одного зовут Кузьмой. Это пожилой сутулый мужик с неподвижными глазами. Другой, по прозвищу Волчок, маленький, толстый парень лет двадцати пяти, здороваается со мною за руку.

— Ставь бутылку, беги за колбасой. Это — вспрыски. Дружить будем. А не хочешь — твое дело.

Я сказал, что денег у меня нет. Волчок улыбнулся.

— Как так? Хитришь, поди? Нехорошо выходит. Определился работать, магарыч обязан поставить.

Кузьма предложил:

— Мы тебе, Матвей Алексеевич, взаймы дадим, из первой получки вернешь. Согласен?

Еще бы не согласен!

Я готов был запродавать себя в кабалу на веки вечные, лишь бы утвердиться в городе.

Оглядываю коней. Спины и плечи сбиты, ребра выпирают наружу. Не могу понять, как в большом городе можно ездить на этих уродах.

— Заморили коней. Что ж вы, ребята?

— Дело хозяйское, — ответил Волчок. — На козе прикажет ехать — поедем.

Кузьма, оглянувшись на дверь, тихо говорит:

— Двадцать тысяч в банке лежит, а коней досыта не кормит. И куда хапает, дьявол? Один, как репей в поле. Был сын Митька, пьяница. Сына прогнал, лишил наследства, на порог не пускает. Только он не сдается, Митька. Сапожную мастерскую открыл на нашей улице: башмаки чинит.

Хозяину обидно: домовладелец, извозпромышленник, почетный гражданин, а сын — холодный сапожник. Да, постой, скоро увидим Митьку. Каждую субботу заявляется на водку просить. Тут, братец мой, такие спектакли бывают — живот надорвешь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Запрягаю Бардадыма, надеваю длиннополый хозяйский кафтан, сажусь на козлы. Фекла открывает ворота.

— С богом! — напутствует хозяин. — Гляди в оба, деревня!

Ночью была пороша. На улицах поблескивает свежий снежок, над городом кружатся стаи голубей, звонят колокола; густой звон уплывает в небо. Кончились мытарства, определился на место: все теперь зависит от меня. Только бы не проштрафиться в чем-нибудь, только бы не сплоскать, не сорваться с этой первой ступеньки, а там уж, оглядевшись и окрепнув, пойду дальше.

Остановливаюсь на первой колоде. Впереди до десятка извозчиков. Первоочередный, грузный мужик с кривым носом, сидит на козлах, остальные возятся около санок, пинают скатанный снежок.

Хочется спуститься с козел, поговорить с извозчиками, но боюсь — поднимут на смех: «Где тебе такой дурацкий кафтан сшили, малый?»

К санкам подходит мужчина в шубе с бобровым воротником, откидывает полость, садится.

— Очередь не моя, — робко говорю я.

— Меня это не касается, — громко отвечает седок. — В Русско-Азиатский банк.

В поисках работы я исходил город вдоль и поперек, и даже, наверное, видел Русско-Азиатский банк, но теперь не знаю, куда ехать. Седок не обиделся.

— А, новичок? Ну, поезжай прямо, там скажу.

Дергаю вожжи. Седок покрикивает:

— Направо! Налево!

Подъезжаем к банку. Вот он, Русско-Азиатский.

Буду помнить. У подъезда седок молча протягивает двугривенный. Я приободрился. Может, не так трудно ездить на козлах?

В полдень подсчитываю выручку. Два с полтиной. Для начала хватит. Пора обедать.

Хозяин принимает деньги, вывертывает мои карманы, щупает подкладку пиджака, лезет в голенища валенок.

— Что? Не веришь?

— Почему я должен верить? — говорит хозяин. — Что за человек? Я тебя на улице подобрал.

Вечером обыск повторяется. Агафон спрашивает, кого я возил, за сколько, знает всех купцов, чиновников города.

Стоит сказать:

— Посадил на углу Торговой и Шадриной толстого господина с палкой... — хозяин перебивает:

— Знаю, Осмоловский, до Благородного собрания, сорок пять копеек.

— С русой бородой, в золотых очках, посадил у ресторана «Белый медведь», повез...

— Мишка Пшеницын, ездит к любовнице на заимку — шесть гривен. Еще кого?

Называю третьего седока.

— В заведенья никого не возил?

Я молчу.

— Язык проглотил, что ли?

— Не знаю.

— Ну, понимаешь, дурные дома? Это на Сибирском тракту, около заставы целый квартал. Сахалин назы-

ваются. Живут там девки-гулены. Ездят на Сахалин пьянчужки разные, отпетый народишка. А бывает, и наш брат, степенные люди, закатываются покуролесить, когда шлея под хвост попадет. С вечера до утра блуд идет — содом-гоморра, не приведи господь. А которые людишки с панталыку сбились, те и днем на Сахалин наведываются. Им по колено море, шалопутным. С них дери без таксы, как можно дороже: бог простит!

Смотрю на хозяина, стараюсь запомнить все, что он говорит.

— В заведеньях хозяйки извозчикам на чай дают. У них конкуренция, как в торговом деле, и каждой хочется, чтобы ты гостя вез к ней, а не в соседний дом. За это умамливают извозчиков; чаевые не прикарманивай, будем считать за выручку.

Потекли дни. Все до мелочей повторяется. И сколько ни привожу денег, старик недоволен.

— Только два рубля? — говорит он, принимая выручку. — Почему же лошадь в пене? Где тебя носило? Дешево берешь или что?

По пальцам перечисляю ездки. Хозяин хмурится, подводит к божнице, приказывает:

— Поклянись перед ликом господа нашего Иуса Христа, что не украл.

Я клянусь.

Становится смешно. Порой охватывает ярость: хочется плюнуть хозяину в рожу, ломать стулья. Но встают перед глазами кочетовские картины. Голодная зима. Надо терпеть. Дальше что-нибудь изменится, будет легче. Огляжусь, подыщу другое место. Может, все-таки устроюсь на завод...

Хозяин наблюдает за мной. Желтые глаза его сухо поблескивают.

— Иди спать, дурак, и помни: бога обманывать нельзя. Он, владыка всевышний, все видит. Солжешь — в бараний рог скрючит.

Иду в каморку, укладываюсь на полу, прикрываясь хозяйским кафтаном. Форточки нет. От дурного, спертого воздуха кружится голова. А в горнице хозяин тем временем обыскивает Кузьму, Волчка. Сквозь

тонкую переборку доносится надоедливый скрипучий голос:

— Любопытно, куда это вы прячете деньги? Знаю — крадете, а поймать — не поймаешь!

— Плохо ищешь, — смеется Волчок. — Очки надень!

— Нечего зубы скалить! — возвышает голос Агафон. — Я не кто-нибудь — хозяин, меня уважать надо.

— Уважаем и почитаем, ваше степенство! — шутит Кузьма. — Денно и ночью бога молим за вас, как вы есть благодетель и кормилец наш.

— Идите ужинать, дьяволы! — сердится хозяин, понявший издевку.

В субботу хозяйский сын Митька не пришел. Кузьма и Волчок удивлены.

За ужином Агафон сидит с постным лицом.

— Издох под забором, к тому все клонилось. Покарал господь за непочтение к родителю.

Фекла вздыхает.

— О господи, грехи тяжкие. Неужто помер?

Хозяин зажигает лампаду, стоит на коленях перед темным киотом.

— Митька еще воскреснет, — смеется Волчок. — Он живучий, как чертополох. Побили его, отлежится — придет. Истинный бог, придет.

Митька и впрямь заявляется в воскресенье утром. На дворе громкие голоса. Волчок толкает меня локтем в бок.

— Представленье началось. Вставай, ребята!

Одеваемся, выходим во двор.

Невзрачный человек, одетый в тряпье, кричит:

— Загубили мою жизнь, папаша! Эх, папаша! Худо вам на том свете будет, папаша!

Хозяин щелкает зубами, как старый волк, окруженный собаками, топает ногой.

— Пошел вон, прощелыга!

— Не сгину. Обездолили, папаша. Где маменькино приданое? На вечное босячество обрекли меня, папаша. Эх...

— Сам себя обрек, вор, — вставляет хозяин.

— Вы не вор, папаша? Не вам говорить, не мне слушать.

— Молчи, бесстыжая морда! Как смеешь отцу говорить такое?

— Не отец вы, кашей бессмертный.

— Уходи, поганец! — грозит Агафон. — Полицию позову.

— Что ж, зовите. Только я от своего не отступлюсь. В полном праве требовать. В суд подам, к архиерею пойду, губернатору пожалуюсь. Осрамлю, опозорю на весь город, папаша.

— Не будет тебе, псу, ничего, — спокойно говорит хозяин. — Все равно пропьешь. Чужим людям богатство откажу, тебе не оставлю по кабакам носить. Не жди.

— Сожгу я вас, папаша. Клянусь прахом незабвенной родительницы, сожгу. Есть терпению предел, папаша.

— Зачем при свидетелях говоришь? — спрашивает хозяин. Глаза его сухо блестят. — Случись грехово дело, в тюрьму дурака посадят.

— Все едино конец, папаша.

Митька садится на чурбан, фальшиво голосит:

Пей же, моя буйная головушка, не спивайся.
Во пропое, моя буйная головушка, не печалься.
Я напьюсь, напьюсь, добрый молодец, сам проспуюсь,
С государевыми целовальниками расплачуся.

Митька икает, сплевывает под ноги.

Не по-летнему всхожее солнышко греет,
Не попрежнему отец с матушкой сына любят,
Соживают-то добра молодца со подворья,
Наделяют-то добра молодца путь-дорожкой.
Я пошел, пошел, добрый молодец, сам заплакал,
Со своими родителями не простился.

Песня тоскливая.

В щели забора подглядывают соседи. Из флигеля выползают жильцы, портнихи. Хозяин окидывает людей хмурым взглядом.

— Вам чего надо? А? Ну, глядите, любуйтесь, как сыновья родителей почитают. Эх, народ-люди!

А люди не уходят. Кто-то, невидимый из-за сугроба, весело кричит:

— Митька, дай старику под девятое ребро! Уважь родителя.

Кто-то вступается за хозяина.

— Двинь его кистенем по башке, Агафон Петрович, нету законов — над родителем издеваться.

Хозяин подталкивает сына к воротам. Митька смиренно просит:

— Дай хоть трешку на опохмелъе, папаша. Заказов нет, подыхаю с голоду. Эх, папаша!

Хозяин сует ему полтинник. Митька целует родительскую руку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На углу останавливается господин, машет тросточкой. Очередной дремлет на козлах. Остальные сбились в тесный круг у вторых санок, слушают, должно быть, веселую сказку, гогочут. Господин машет второй раз. Я трогаю жеребца. Везу седока в Купеческий клуб, возвращаюсь на колоду. Подходят извозчики.

— Давно ездешь, малый?

— Недавно.

— Вот оно что. Ну, слезай!

Меня стаскивают с козел, начинают бить. Яростно отбиваюсь, даю сдачу направо и налево. Двое падают от моих кулаков на снег. Кто-то сильно ударяет меня кнутовищем по лбу — в глазах искры...

Подходит городовой. Извозчики расступаются.

— В чем дело? — спрашивает городовой, подкручивая усы. — Почему беспорядок?

— Новичка учим. Баловней малый оказался.

— Семейное, значит, дело?

— Так точно, — по-солдатски отвечает старый извозчик в бархатном кафтане.

Городовой ушел.

Я вытираю разбитые губы, сажусь на козлы, еду в Веселую слободу. Вечер. В переулках темно. На тротуарах, как всегда, толпы людей, равнодушных к извозничьим делам и распрям, но кажется: все видели мой

позор, насмеваются надо мной. Рассказываю все хозяину.

— Сам виноват, — говорит он, зевая, — надо было крикнуть головному. Нешто можно подавать без очереди? Другое дело, ежели барин подходит к колоде и садится в санки, — тогда вези. Барин может выбирать, кого хочет. Бывают капризные господа: то лошадь не нравится, то покрывало, дескать, грязное. Я когда-то сам ездил, был у меня пегий киргиз, ход имел страшный, любого рысака обгонял. А господа браковали: «Не хочу на пегой лошади ехать». Что поделаешь? Пришлось продать пегаша. Убыток понес. Все узнали, почему продаю коня, — не покупают. А что побили — не горюй. Битье — на пользу человеку. Нутро не повредили? Кости целы?

— Кажись, целы.

— Ничего, обойдется.

Старик говорит скучно, в желтых глазах просвечивает холодок, сухое лицо с поджатыми губами кажется окаменевшим.

Я один в полутемной каморке. Лицо вспухло от синяков, ссадин. Мысли тяжелые, злые. Ворочаюсь на жесткой постели, не могу успокоиться. Пью из умывальника ледяную воду. В голове звон.

Приехали работники. Волчок, узнав от хозяина о том, что со мной случилось, говорит:

— На каждой колоде есть старик вожак, начальник, судья во всех спорах. Надо угощать стариков. Поставь по бутылочке, обрезков, что ли, на закуску поднеси. Сухая ложка рот дерет. Задобришь стариков, пальцем не тронут.

Я пугаюсь. Сколько нужно купить водки, колбасы, чтобы стать своим на главных колодах? Первый месяц я согласился ездить бесплатно, задолжал на угощение Волчку и Кузьме, а завтра, может, придется угощать околоточного, извозчичьего старосту, дворников и бог его знает еще какое начальство. Шагу ступить нельзя без магарычей!

— Не поставишь магарыч — бить будут, и поставишь — бить будут, — смеется Кузьма. — Новичков, особливо молодых, завсегда учат. Я скажу тебе, па-

рень, нынче бить не умеют. Вот когда я начинал, били черт-те как здорово: и салазки бывалыча загнут, и снегу в штаны насыплют, и темную на колоде сделают.

— Жаловался?

— Ни боже мой! — отвечает Кузьма. — Кому пойдешь судачить на мир? Супротив мира один человек не устоит. В мыслях не держи, малый.

Работники всхрапывают. Я не могу заснуть. Сколько еще таких дней впереди? Не лучше ли было бы сидеть в Кочетах, хлебать горькую тюрю с квасом, чем кидаться в городской омут?

Утром, заняв у Кузьмы рубль, покупаю колбасы, баранок, сахару, подъезжаю к острогу.

Сверток принимают, переписывают. Надзиратель ведет меня в «свиданку». Огромная комната с заплесневелыми стенами и паутиною по углам перегорожена двумя барьерами, над которыми висят до самого потолка густые проволочные сетки. В одной половине, позвякивая кандалами, толпятся арестанты, в другой — родственники, пришедшие на свидание. Между барьерами шагает надзиратель. Тесно и шумно. Люди разговаривают, припадая к сеткам, взмахивая руками, стараясь перекричать друг друга. Матери поднимают на руках детей, чтобы отцы, стоящие за двумя сетками, могли разглядеть их. Все сливается в трескучий гам, словно ветер гудит в этом окаянном майдане.

Вот показалась взъерошенная голова деда.

— Здорово, внучек! Экой ты прыткий! Опять добился свидания?

Вижу перед собой знакомое, родное лицо, живые, горячие глаза, в которых искрится радость, рассказываю о себе и не знаю, слышит ли он меня.

— Как живется, дедушка?

— Ничего, милай. Живем — не тужим. Только вот кормят худо, брюхо подвело.

— Подкармливать стану, не бойся.

— Спасибо, внучек, не забываешь. Суд еще неизвестно когда будет. Много нас — не успевают карать. Помру тут, наверно. А живой выберусь, на соболевку сходим, гусей-лебедей постреляем.

Мы говорим о Пестре, о жар-птице. Вспоминаем деревенские дела, Семена Потапыча. Дед весело улыбается, узнав о том, как я взорвал печь старосты.

— Свидание кончилось, — объявляет надзиратель.

Как незаметно промелькнуло время... Как много хотелось сказать и как мало сказано!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вожу маленького человека с птичьим носом. Объехали множество магазинов, останавливаемся у каменного особняка на перекрестке двух улиц.

— Подожди, — говорит он и скрывается в калитке.

Жду два часа. Морозно. Зеленые звезды горят в вышине. Идут обозы, едут ломовики. Поглядываю на ворота, слезаю с козел, бегаю вокруг лошади, подпрыгиваю, стараясь согреться. Как долго пропадает седок! Но это верный заработок: и лошадь отдыхает, и деньги идут. Седок занял на целый вечер, — он богатый человек. О чем беспокоиться?

Из ворот выходит дворник с метлою.

— Чего стоишь, охломон?

— Барина жду.

— Какого барина?

— Да такого: серый воротник, чемоданчик в руке.

— До второго пришествия ждать будешь!

— Что ты, дядя?

— Двор проходной, — поясняет дворник, — и барин твой небось чай попивает на квартире или другого извозчика взял. Здесь вашего брата завсегда надуют.

Он пошаркал метлой по снегу и опять исчез, будто выходил-то нарочно — объявить такую неприятность. На улице тишина, только ветер чуть-чуть поет в про водах. Ждать ли еще?

Ловко провели!

Еду перепрягать. В кармане пусто. Хозяин отчитывает, обещает удержать два рубля из получки. Я молчу: кругом виноват.

Теперь боюсь подвоха. Когда седок скрывается

в подъезде, не расплатившись, или обещает выслать деньги с горничной, я вздрагиваю. Опять уйдет! Опять штраф и ругань!

Дней через десять в вечернюю смену снова наскокил на меня этот человек, не заплативший денег.

«Теперь не убежишь!» — думаю я.

Была ли у него короткая память или обмануло его то, что в этот раз ездил я на Касатке, седок не чувял беды. Шутит со мной, беседует о погоде.

Долго кружим по городу. Подъезжаем к особняку.

— Обождешь.

С молотком в руке догоняю его у калитки, хватаю за шиворот.

— Ты... что, парень? — говорит он, подняв руку над головой. — Это как называется?

Еще раз оглядываю человека: не вышло ли ошибки? Нет, он. И теперь я держу его в руках.

— Плати!

Молоток занесен для удара.

— Уплачу. Только не дерись. Что за глупости? Я коммивояжёр. Денег нет, что ли?

И подает серебряный рубль.

Я опускаю деньги в карман.

— За старое два с полтиной кто платить будет?

— Ну? — удивляется он. — Я от тебя уже бегал? И долго ты ждал?

— Долгонько.

— Ай-ай-ай, какой глупый! Я сбежал, а ты все ждешь, ждешь?

И он так весело хохочет, так заливается, что злость моя тает.

И вот мы оба смеемся. Он щупает молоток, покачивает головой.

— Ты сурьезный дядя, как погляжу. А что, если бы денег не оказалось? Ударил?

— Обязательно.

Он, смеясь, дает смятую трешницу.

— Подай полтинник сдачи. Не прошел номер, плачу чистоганом. Ты не дуйся, должность моя такая: без обману нельзя.

Я обещаю в другой раз подвезти его дешевле. Мы расстаемся друзьями.

Вечером рассказываю об этом Кузьме и Волчку.

— Это что, — перебивает Кузьма. — У меня в прошлом годе случай был чище. Я проходные двory, как свои пальцы, знаю. И вот наскочил гусь вроде твоего, из себя — щупленький, ну прямо дохлятина. Ездили, ездили — от лошади пар валит. Уж каки-таки дела у дохляка в казенных присутствиях были — не знаю. Подъехали к проходному на Ильинской. Он велит ожидать, а сам, как мыша, юрк в ворота. Взяло меня сомнение. Не заплатит, думаю, паршивец. Я шасть в переулоч, подъезжаю к другим воротам. Глядь — он тут. Воротник у пальтишка поднял, руки в карманах. Я подлетел, распахиваю полость. «Куда, говорю, прикажете, ваше сиятельство фон барон?» Он смекнул, что карта бита, голову опустил. Я в те поры осерчал на стрекулистов. Сколько раз убегали, наконец бог послал одного на расправу. Я его на снежок, давай волтузить: «Принимай за всех проходимцев!» Переулоч глухой, однако народ сбежался. «За что, спрашивают, бьешь человека?» Я объяснил. Народ говорит: «Раз такое дело, бей, мужик, крепче, чтоб другим неповадно было». А куда крепче — я уж руки-ноги натрудил. Один прохожий, мастеровой человек, скорняк, помогать стал: отмолотили — красота.

Волчок смеется.

— Вот как надо, — говорит хозяин. — А ты своего отпустил, тычка в загривок не дал. Мотай на ус.

В ночную смену везу подвыпивших парней. Проехав три квартала, они платят двадцать копеек и слезают. Дома распрягаю лошадь, чищу санки: срезаю кожаная обивка сиденья, унесен подножный коврик.

Агафон осматривает повреждения.

— Ремонт за твой счет, Матвей Алексеевич. Не обессудь, милый человек. Я не миллионщик, чтобы твои убытки на себя принимать.

Через неделю, тоже ночью, седок, бородатый мужчина, срезал суконную подкладку полости. Что за люди!

И опять штраф.

— Не разевай рот, деревня, — ворчит хозяин. — Седоки видят, что на козлах вотяк сидит, ну и тащат. Скоро хомут с лошади снимут. Ей-богу, снимут. А ты думал — как? И самого разуют.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

У вокзала садится офицер. Седок молод, красив, новая шинель темносерого сукна ловко обтягивает его фигуру, на плечах золотые погоны с одним просветом и тремя звездочками, на левом боку сабля в кривых ножнах.

Едем в ресторан «Ялта».

Лестно везти этого седока. Может, он встречался на войне с моим отцом. Может, отец служил под его началом. В ресторане офицер пробыл долго и вышел навеселе.

— К девкам! Слушай, малый, — говорит он, тыча меня кулаком в спину. — Я — герой Ляояна. Вези к блондинкам. Блондинку хочу, с голубыми глазами. Знаешь, где голубоглазые живут?

— Нет.

— Как так? Обязан знать. Ну, черт с тобой, вместе искать будем. Валяй на Сахалин!

Сахалинские заведения «работают» круглые сутки. На дверях каменных особняков медные дощечки с фамилиями хозяек. Днем на Сахалине тихо, а по ночам играет музыка, в освещенные окна видны танцующие пары, вышибалы — саженого роста мужики — выбрасывают из дверей на снег скандалистов и опьяневших гостей.

В Кочетах я никогда не слыхал, чтобы женщину продавали, покупали. Здесь о покупке женщины на ночь, на час говорят, как о погоде и пище. Я не могу к этому привыкнуть, и каждый раз, когда везу кого-нибудь на Сахалин, становится не по себе, будто участвую в грязном и постыдном деле.

— Погоняй! — кричит офицер. — Не покойника везешь!

Стегаю кнутом Бардадыма. Седок, развалился в сиденье, напевает «Варяга» и бормочет: «Голубушка моя — сабля».

Объехали чуть не все заведения. Офицер, звеня шпорами, поднимается на второй этаж, с бранью выбегает обратно.

— Куда завез? Разве это девки! Пошел дальше!

В заведении мадам Похлебкиной он пробыл около часа. Вышел совершенно пьяный, с бледным лицом, в расстегнутой шинели.

Я распахиваю полость.

— Куда прикажете?

— На вокзал, единым духом! Опоздаем к поезду — изобью, как собаку!

Бардадым летит крупной рысью, но офицеру кажется, что едем недостаточно быстро.

— Гони! — покрикивает он. — Гони, а то изобью!

От жеребца валит пар, из-под копыт искры. У вокзала герой Ляояна слезает. Ночь. Падает редкий снежок. На площади пустынно. Даже городской, стоявший обычно на этом месте, куда-то исчез. Одиноко горят электрические фонари.

— Ваше благородье, деньги!

Офицер, повернув голову, качается на высоких ногах.

— Что?

— Деньги! Пять рублей по таксе.

— Я защитник царя и отечества, а ты, червь презренный, деньги спрашиваешь? Голову срублю.

Он вытаскивает из ножен саблю и, поскользнувшись на скрипучем снегу, падает.

Вытягиваю его кнутом по лицу раз, другой, гикаю, хлопаю вожжами. Бардадым уносит меня. Ветер дует в лицо. Чувствую на лбу колючий холодок.

По дороге встречается Кузьма. Рассказываю о своей беде.

— Идиет, — усмехается он. — Такие случаи бывают постоянно, и хозяину о том не следует говорить. Он в месяц штрафов напишет — в год не отработаешь.

— Да ведь денег нет. С чем приеду?

— Ну, как есть ты, братец мой, деревня! — удив-

ляется Кузьма. — Фартануло — все не отдавай. Мало заработал — добавь. Вот и выйдет середка на половинке. Без смекалки нашему брату подохнуть можно.

Я напоминаю про обыски.

— У меня найди попробуй, — хвастает Кузьма. — Подальше прячь.

Занимаю у Кузьмы два рубля, сдаю «выручку» Агафону.

Но нельзя занимать каждую неделю. Кузьма прав: надо приспособляться. Делаю тайничок за обшивкой санок. В удачные дни понемногу откладываю.

Во время перепряжки хозяин подходит к санкам, обметает снег, осматривает обивку. У меня падает сердце.

«А что, если найдет?»

Столкновения с седоками повторяются изо дня в день. Одни, не заплатив, убегают в проходные дворы, другие суют кулаком в нос, третьи норовят обсчитать, всучить в темноте фальшивый рубль.

Как жить по правде среди таких людей?

Без тайника в саях пропаду. Надо лгать, изворачиваться!

Я знаю проходные дворы, опасные переулки, научился угадывать любителей бесплатной езды. Крепнет дружба с Кузьмой и Волчком. Правда, работники любят порой зло пошутить, но все-таки они хорошие товарищи. Я ценю это. Кузьма и Волчок сильно выпивают. Домой привозить спиртное нельзя. Агафон бранится. Работники пьют на стоянках прямо из горлышка бутылок, закусывают печенкой. К вечеру оба едва держатся на ногах. По субботам приглашают на Сахалин. Я отказываюсь.

— Что мозгляка строишь? — спрашивает Волчок. — Один раз живем на свете. Гуляй, пока сердце горит да глаза не потухли.

— С души воротит, — признаюсь я, — отстань.

— Только до первого раза, — соблазняет Волчок. — Кто плавать не умеет, в воду прыгать спервоначалу тоже страшно, а потом — обойдется, каждый день тянет. Так и в этом деле. Попробуй, малый! И водку не пьешь. Какой ты мужчина?

Я молчу.

— Против бабы ни один святой не устоит, — вставляет Кузьма, и так странно слушать его глуховатый, с низкими переливами голос. — В прошлом годе барин книжку в пролетке оставил, сочинение графа Толстого, «Отец Сергий» называется. Ужасно занятная история. Один князь или граф, Степан Касатский, надумал стать святым, дал зарок не прикасаться к женскому полу. Сказано — сделано. Постригся в монахи, назвался отцом Сергием, выкопал пещеру-келью, живет, богу молится. Только узнает об этом одна красивая вдовушка-егоза, по фамилии Маковкина, тоже из богатых, является соблазнять отца Сергия. Он ее принял за беса, стал отгонять молитвой. Не помогает. Тяпнул топором по своей руке, отрубил палец. Вот до чего был тверд в боге человек. Бабенка, понятно, испугалась, дала стрекача.

— Устоял, значит? — говорит Волчок.

— В этот раз — да, — отвечает Кузьма. — Только все равно ему святость боком вышла. Много лет спустя доконала его бабенка, даже не красивая и дура. Не мог себя укротить, согрешил, пришлось бросить келью. В бродяги подался человек, стал Иваном-непомящим. Я читал книжку извозчикам. Смеху было!

— Что тут смешного? — спрашиваю я.

— Ты, видать, ни разу не переспал с женским полом? — скучным голосом допытывается Кузьма.

— Нет.

— Оно и видно.

Перед сном Кузьма рассказывает о своих любовных похождениях. И всегда что-нибудь грязное, мерзкое.

— Ездил я в том году у Федора Халявина, — начинает он шепотом, чтоб не услышал хозяин. — Кони — первые в городе, сам был молод, усы, как полагается. Ну, и девчонки, правду молвить, заглядывались. Кухарье, горничные, белешвейки. Подмигнешь бывало: «Эй, прокачу!» Девчонка садится, и вези ее, куда хочешь, вся твоя. Ночка темная да небо черное нам свидетели.

— Это чепуха, — перебивает Волчок, — ты, Кузя,

насчет благородных объясни. Удавалось благородных хороводить?

— Бывали благородные, — сознается Кузьма. — Катал купчиху Антонину Васильевну Рублеву. Мужа ейного я тоже знал — старик, на всех зверей похож. Антонина Васильевна в те поры годов тридцати была, — лицом белая, пышная. Везу ее. Она со мной — тары-бары, пустые амбары. Допытывается, есть ли жена, и тому подобное. Подъехали. Дает пятерку — наездили рубля на два — и сдачи не берет. Я, конечно, благодарю. День был субботний. Антонина Васильевна как бы невзначай спрашивает: «Что завтра делать будешь, господин извозчик?» — «Отдыхать по случаю воскресенья, ваше степенство». Она глаза опустила. «Не зайдешь ли кровать передвинуть? Супруг на ярмарку отлучился, одна управиться не могу».

Являюсь на другой день. Встречает как гостя. На столе — закуски, вино. Садимся, выпиваем, беседуем. В квартире никого нет. Прислуга на гулянку отправлена.

— Не томи, дьявол, сказывай: чем кончилось? — торопит Волчок.

Волчка не видать в темноте, но кажется, он глядит на Кузьму бараньими глазами, лицо у него глупое. Я укрываюсь одеялом, чтобы не слушать. Но работники, забывшись, говорят во весь голос.

— Конец известный, — внушительно говорит Кузьма.

— Ну? — смеется Волчок.

— Да, — хвастливо продолжает Кузьма. — И наладили мы с Антониной Васильевной: супруг из дому, я в дом. Одним словом, пожили душа в душу, нечего бога гневить.

— Теперь слушайте, — говорит Волчок, — я скажу, как офицеру жену на Липовую гору цветы собирать возил.

Хозяин стучит кулаком в стену.

— Эй, полуночники, раскаркались. Я вам поговорю!

Работники умолкают. Кузьма крестится и зевает. Через минуту он сладко храпит. Волчок тоже посвистывает носом. Я долго ворочаюсь в постели.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Мы стояли с Волчком на одной колоде. Поговорили по душам. Оказывается, звать Волчка Сергеем. Восемь лет назад он пришел в город, чтоб заработать на корову и немедля вернуться с деньгами домой: таков был наказ матери. Отец у него помер давно.

Когда было накоплено двадцать рублей, в ночную смену он столкнулся с ломовиком. Ломовик сильно помял и оцарапал ему санки. Хозяин оштрафовал Сергея на двадцать пять рублей. «Коровьи» деньги поглотил штраф. С горя Волчок запил, а дальше пошло и пошло!

— В деревне мать меня все еще ждет, — рассказывал он с тихой грустью в голосе. — Сперва посылал ей немного к праздникам, теперь же все пропиваю. Мать шлет жалостные письма, зовет домой, я даже не отвечаю. Некогда! Да и что ответишь? Стыдно, брат!

— Зачем же пьешь?

— Ах, зачем, почему? — встрепенулся Сергей. — Думаешь, легко объяснить и оправдаться? Жизнь какая-то непонятная — вот и пью. Сидишь на козлах целые сутки в любую погоду, вырабатываешь десятку в месяц. Тебя обыскивают, подозревают в воровстве, походя бранят. Ни одежды приличной, ни обуви — ничего нет. А глянешь кругом — ходят по улицам чистенькие, разодетые люди, ни черта не делают. Им театры, балы, благородные собрания, клубы, кинематографы, рестораны. Все им, тебе шиш! Почему такое? Задумаешься — тошно станет. Ахватишь стаканчик водки — все туманом обволакивается, и на душе легче.

Такая же неприглядная судьба у Кузьмы. Придя в город, он думал накопить деньжонок, завести лошадь, свою биржу, стать маленьким хозяйчиком. Двадцать лет ездит на чужих козлах, ничего не накопил. Мечты о своем хозяйстве давно забыты. Утешение — та же водка.

— Обасурманился, — сказал однажды про себя Кузьма. — Где уж на ноги встать? Дело мое пропащее.

Я пытаюсь представить будущее этих работников,

и мне становится страшно. Семьи у них нет, на черный день не сберегли ни гроша. А если заболеют? А придет неминуемая старость? Что тогда делать? Кто им поможет, кто позаботится о них? Говорят, есть какая-то богадельня или дом для одиноких стариков, но попасть туда не менее трудно, чем верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Судьбы Кузьмы и Сергея беспокоят меня.

«Неужто и я так? Неужто прав убогонький духом учитель Федор Павлович?»

В тот вечер работники приехали в более сильном подпитии, чем обычно.

Покончив с обыском, хозяин придвигается к ним вплотную.

— А ну-ка, дыхни!

— Что полоумство разводишь? — обороняется Кузьма. Глаза его, маленькие и острые, сверлят хозяина. — Мы не лакеи, да и крепостного права нынче нет.

— Дыши, а не то прогоню к чертям, — не отстает хозяин. — Я управу найду!

Они дышат ему в лицо сивушным перегаром.

— Нализались, — ворчит Агафон, взмахивая кулачками. — Насквозь протухли, курицыны дети.

Он бегаёт по комнате с острой усмешкой на губах.

— От мороза пьем, — оправдывается Кузьма, — целый день на козлах. От труда выпить не грех, я полагаю, и орать тут, хозяин, нечего. Весь народ пьет. Опять же погода...

— Восемнадцать часов работаем, как на барщине, — вставляет Волчок.

Хозяин подпрыгивает, как петух, брызгает слюной, бородка его трясется, щеки ровеют.

— На какие капиталы зелье трескаете? А? И что примечаю — есть мало стали: в обед сыты, вечером аппетита нет. Колбаску на колодах жрать навострились! А может, в ресторане «Ялта» на хозяйские денежки питаетесь? Я все вижу, меня не проведешь!

— А ты корми, как полагается, — сердито сказал Волчок. — Целый год угощаешь картошкой в мундире, кислой капустой да редькой с квасом. С души воротит!

— Я ем то же, что и вы, меня не воротит.

— Дело хозяйское, — усмехнулся Волчок. — Можешь лопать ржаную солому, а нам подавай настоящий харч, как у всех добрых людей заведено.

— Ишь, баре какие! — возмутился хозяин. — Свиных отбивных прикажете завтра подать? На третье — компот из яблок?

— Чего ты шумишь, старик? — насмешливо спросил Кузьма. — Ведь скоро помрешь. Сын твой — обалдуй-полоумок. И капиталы невесть кому достанутся. Все же прахом пойдет. Ты бы заодно с нами уж приналег на свиные отбивные, на компоты. Раскинь мозгами — тут резон определенный.

— Не ваше дело! — кричит хозяин. — В монастырь отдам, на помин души пойдет.

— А монахи тоже пропыют, с девками прогуляют, — не сдастся Кузьма.

Молчание. Хозяин крестится.

— Господи, владыка небесный, прости меня, раба недостойного, слушаю богомерзкие слова.

— Монахи — первые ерники, — говорит Волчок. — Это богу и всему свету давно известно.

— Врешь, углан! Врешь, сатана!

— Чего врать? — обижается Волчок. — Я кутейное племя сотни раз на Сахалин возил. Переоденутся в гражданскую одежду: «Вези к отроковицам».

Кузьма хохочет.

— Истинная правда. Я тоже возил: отроковиц монахи любят.

— Богохульники, икон постыдитесь! В полицию пожалуюсь.

— Экой ты гад! — грубо говорит Кузьма. — Чистая гадюка!

Хозяин ударяет его медным подсвечником по лицу.

— Ах, так! — кричит работник.

Хозяин опрокинут на пол. Кузьма пинает его ногами.

Я пытаюсь оттащить Кузьму. Волчок сердится, дергает меня за руку.

— Не смей, обоюдная драка. Хозяин первый начал.

Агафон катается по полу, кричит «караул».

Фекла выбегает во двор. Хозяин ругается, охает.

Падают стулья, горшки с цветами, опрокидывается стол. Волчок подзадоривает приятеля:

— Бей, Кузьма, круши! Садани под вздох.

Приходит городской с дворником. Работников уводят в участок. Утром захожу в хозяйскую половину. День теплый. Солнце, столь редкое в зимние дни, бросает сквозь оттаявшие стекла мягкие лучи. Агафон лежит на кровати, укутанный ватным одеялом, с подушками и ссадинами на щеках. Пахнет чем-то терпким, удушливым.

— Никак почки отбил, варнак, — шепчет хозяин, скривив лицо. — Порядки пошли, а? Эх, народ-люди! В своем доме убить могут. Скоро и ты запьешь, драться полезешь. Прогоню всех. Коней, санки, пролетки, сбрую — все продам. Войду компаньоном в свечной завод — приглашают давно. Там дело спокойное. Бунты кончились. Теперь народ богу молиться начнет, свечи ходко пойдут. Только бы встать на ноги, болит все тело.

Хочется напомнить хозяину слова: «Всякое битье на пользу», но почему-то жаль старика.

— Поддай-ка примочку, — просит он.

Я иду за лекарством.

Кузьму и Волчка держали в полиции два дня. Хозяин рассчитал обоих, продал упряжки, на которых они ездили.

Меня предупредил:

— Мотри, Матвейка. Ежели что — и тебя вытурю. Пойдешь мостовую гранить.

Я научился хитрить, штрафов стало меньше, но каждую неделю ношу передачи деду, Зинаиде Сироте, Всеволоду Евгеньевичу, и остается совсем немного денег, а в деревне бабушка ждет, когда-то pošлю ей пятнадцать рублей на корову.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Бойкий человек в клетчатом сером пальто, которого я отвез на вокзал, сунул прејскуранты.

— Погляди на досуге: может, что приглянется —

выпишешь. Только поторапливайся: спрос на издания велик. Опоздаешь — ничего не получишь. Подписку принимает любое почтовое отделение.

Я взглянул на цветные бумажки с отпечатанными в типографии буквами. Боже, сколько всяких вещей на свете! И цена подходящая.

Вот предлагается волшебная книга.

«Искусство сделаться даровитым писателем». Составил учитель словесности И. М. Погорельский (псевдоним). Цена 1 рубль.

Вот другое сочинение: «Смерти нет».

Вверху нарисован череп человека со скрещенными в его зубах костями. Под черепом написано:

«До сих пор люди боялись смерти из страха перед неизвестностью. Великие ученые раскрыли нам эту недосыгаемую тайну, подробно излагая нашу жизнь после смерти. Желая сделать великую тайну общедоступной, мы выпустили в свет книгу полного собрания сочинений Карла дю Преля «Тайна человека — спиритизм».

«Следуя указаниям нашей книги, каждый легко может вызвать из загробного мира тени умерших родных или близких. Цена книги в 200 стр. 1 рубль 50 коп. Наложением платежом 1 р. 75 коп. Вместо денег можно высылать марками. Деньги и марки адресовать: С.-Петербург, Невский проспект, д. № 105, кв. 19, в редакцию «Живое слово», отдел С. О. В. 20».

И вот еще прейскурант с изображением ведьмы, скачущей на помеле под звездным небом.

«Народные знахарства, заговоры и заклинания, или путь к успеху и исцелению недугов и болезней».

«Пропечатанная по истлевшим рукописям, нечаянно найденным в трубе жилища одной знахарки, эта книга убережет всякого от всех несчастий земных и болезней лютых. Прочтя ее, можно заговорить или напустить глаз, на кого тебе будет нужно. Из простых камней делать бриллианты, рубины, топазы. Цена с пересылкой 1 р. 25 коп. Вместо денег можно высылать почтовые и гербовые марки в заказном письме, а также высылается наложенным платежом без задатка за 1 р. 50 коп. Деньги и марки адресуйте: «Москва,

Лубянская площадь, книжный магазин «Надежда». Отделение С. О. В. № 3».

Я задумываюсь. Загробный мир, знахарства и разговоры не прельщают. Но «Искусство сделаться даровитым писателем» надо купить. Пушкин, Некрасов и Плещеев пользовались, наверное, этой самой книжкой псевдонима И. М. Погорельского. И мои стихи напечатывают в школьных хрестоматиях.

Вот она, жар-птица! И все это стоит один рубль!

Вспоминаю свою неудачную поэму о Симонихе, разговор о стихах со Всеволодом Евгеньевичем. Почему же тогда учитель не сказал про книгу «Искусство сделаться даровитым писателем»? Может, он ничего сам не знал об И. М. Погорельском? Да и немудрено! Кочеты — такая глушь. Учитель отстал от жизни.

Надо спешить. Я сажусь на облучок, гоню Бардадыма к почте. Седобородый чиновник в засаленном сюртуке принимает подписку, дает квитанцию. Чиновник смотрит на меня почему-то с усмешкой. Я не обращаю на это внимания. Будущее представляется как сказка.

В тот день приезжаю домой ранее обыкновенного. Хозяин не страшен. Что он теперь?

Должно быть, вид мой необычен. Агафон шурится.

— Что-то козырем ходить стал? Деньги нашел или что?

— Нашел.

— Много?

— Хватит, Агафон Петрович.

— Сурьезно разговариваю. Может, в санках кто бумажник оставил? Это бывает. Давай мне.

— Ничего не нашел, а скоро уйду. Ищи работника.

— Понимаю. Теплое местечко приглядел.

— Да уж, видно, так.

— Учишь вас, чертей деревенских, обтесываешь мозги, из сил выбиваешься, а вы чуть только оперились в городе — хвост дудкой: ищи другого.

...Невысокий худощавый человек в потертом пальтишке сам откидывает полость.

— В Горькую слободу, полтинник.

Цена подходящая, человек трезв, но я помню хозяйский наказ. Горькая слобода — опасно.

— Не поеду.

Седок уже не молод, черные волосы вылезают из-под каракулевой шапки.

— То есть как не поедешь? Занят, что ли?

— Не велено ездить в Горькую слободу.

И я выкладываю все, что слышал от хозяина. Человек улыбается.

— Потешный, должно быть, хозяин, да и ты хорош: сказкам веришь. Ну-ка, давай поехали.

Я трогаю Бардадыма. Будь что будет!

— Хочешь знать — лишь в Горькой слободы и живут настоящие люди, — говорит седок. — Запомни: рабочий человек не обидит. Бывают драки, поножовщина. Извозчиков, случается, бьют. Но это ведь огарки, не мастера. В семье не без урода. Вы уж с хозяином решили: вся Горькая слобода — жулье да разбойники. Нехорошо, брат.

Мне даже неловко за свой страх.

Всю дорогу разговариваем. Седок спрашивает обо всем: кто я, откуда родом, сколько зарабатываю, есть ли товарищи. Всегда было почему-то неприятно, если седоки, особенно подвыпившие, приставали с разговорами. В их словах я улавливал любопытство бездельников. На этот раз хочется выложить все.

— Зря, друг мой, нанялся в извозчики, — говорит седок. — Хозяин из тебя прохвоста или стяжателя делает. Шел бы на завод, на фабрику.

— Ходил... Не берут.

Подъезжаем к деревянному домику. Седок слезает, дает деньги.

— Заходи, побеседуем. Конь передохнет малость. Хочется зайти к нему и боязно.

А вдруг весь разговор направлен к тому, чтобы опутать, заманить и ограбить? Разденут самого, уognят лошадь.

Смотрю в лицо седока, и сомнения отпадают. Нет, с таким хорошим лицом нельзя быть грабителем.

Привязываю лошадь к тумбе. Переходим дворик. Седок протягивает руку.

— Давай познакомимся: Николай Павлович Яхонтов.

Я называю себя. И вот мы в комнате. В углу этажерка с книгами и журналами. Вдоль стен полки, тоже заставленные книгами. Какое богатство! Я никогда не видал столько книг.

— Неужто все прочитано?

Яхонтов кивает.

— Прочел, мой друг, прочел. И, кроме этих, еще кое-что читал, изучал. А что ты читал?

Вспоминаю кочетовскую библиотеку Всеволода Евгеньевича, купленные мною книжонки о сыщиках... Куда уж мне!

— Скоро сам буду сочинять книги, — важно говорю я, вспомнив о квитанции на заказанное «руководство» к достижению счастья.

— Да ну? — усмехается Николай Павлович. — Ты, брат, порядочный комик. Написать хорошую книгу — это значит потратить десяток лет упорного труда. Откуда пришла такая мысль?

Достаю из кармана преёскуранты, разворачиваю перед Яхонтовым.

— Вот, все это скоро получу. Можно и вам тоже выписать. На почте, наверно, еще берут заказы.

Николай Павлович смотрит на бумажки, как-то странно скосив глаза, и смеется. Потом лицо его темнеет, губы вздрагивают. Разорвав преёскуранты, он брезгливо швыряет их в угол.

— Негодяи, подлые души, — говорит он сдавленным голосом. — Что делают!

Я, оробев, опускаю голову.

— Садись, поговорим, — приглашает Яхонтов. — Тебе нужно понять многое. Не всякому слову можно верить, хотя оно и отпечатано в типографии на хорошей бумаге. Поглощать глупую болтовню продажных писак хуже и вреднее, чем не читать вовсе.

Он подает толстую книгу.

— На, читай, прочтешь — приходи за другой. Страницы не загибай, не пачкай, книгу любить надо. Чего не поймешь, объясню. Вообще, не стесняйся, заходи почаще, дружить будем.

Я озадачен: вчера город казался грязным пустырем, где одиноко бродят озлобленные, недовольные люди и, как могут, пакостят друг другу.

И теперь, без малейшего усилия с моей стороны, паутина разорвана. Незнакомый человек протянул руку. Значит, везде есть стоящие люди, только надо столкнуться с ними.

— Нравится город?

— Нет.

— Беда в том, что ты начал знакомство с городом не с того конца.

Каждое слово его значительно, голубые глаза светло улыбаются. Люди городских окраин, пьяницы, огарки и кошководы показались другими. Я рассказываю новому другу о дедушке, о Всеволоде Евгеньевиче, о Зинаиде Сироте.

— Как фамилии? — спрашивает он. — В какой камере сидят? Срочные? Следственные? Так, так. Это интересно.

Он записывает что-то на листке бумаги. Потом долго расспрашивает о кочетовской жизни, про Всеволода Евгеньевича.

— У тебя был золотой учитель, — говорит он внушительно. — Таких, к сожалению, мало еще в деревне. Удивляюсь, как ты, ученик Всеволода Никольского, польстился на глупые преysкуранты... Впрочем, возраст виноват: ветерок в голове. Это пройдет! Теперь что читаешь?

— Некогда читать.

— Как некогда? — возмущается он. — А на колодах вы иногда долго стоите в ожидании седоков. Вот и читай!

Я даже вздрагиваю. Как это в голову не пришло? Ведь сколько часов пропадает зря!

Пора уходить. Я понимаю это и все-таки не могу подняться: так хорошо в маленькой, бедно обставленной комнате, главным украшением которой служат книги. Улыбка не сходит с лица хозяина. Он кажется теперь моложе, чем на улице, мягче и добрее.

Прощаясь на лестнице, Яхонтов говорит:

— Постараюсь на завод устроить, потолкую кое

с кем из ребят. Не отчаивайся, парень. У тебя все впереди.

Завод! Чудесное обещание! Прейскуранты совсем вылетают из головы.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Книги я полюбил еще в Кочетах. Теперь они окончательно завладели мной. То и дело заворачиваю в Горькую слободу. Николай Павлович дает книги — одна интереснее другой. Чего только нет в этих книгах! И невозможно представить, что все написанное выдумка.

Ночью сижу на постели: тихая радость в сердце. Грущу, когда хорошие герои безвинно страдают, попадают на виселицу, гибнут, кончают самоубийством. Радуюсь, когда, пусть на короткий миг или слишком поздно, побеждает добродетель, злодеи наказаны.

Охотно вожу седоков в Горькую слободу, и никто не убегает, не заплатив денег. Высаживаю седока, заворачиваю к Яхонтову, и он встречает меня с улыбкой. Книжные полки, оживленное лицо хозяина, необычайный разговор, — как это все хорошо!

Яхонтов начинает давать книги посерьезнее. Фенимора Купера, Жюль Верна, Генриха Сенкевича и Александра Дюма сменяют Тургенев, Гамсун, Флобер, Мопассан. Эти книги ближе к жизни. Но в девяти из десятка прочитанных книг говорится о любви. И как говорится! Кажется, вот-вот герой поцелует героиню и они, счастливые, перешагнут разделяющую их черту. Но нет! Опять возникают препятствия. Это похоже на игру, забавляет.

Тонкие девушки в белых платьях порхают по страницам романов, как мотыльки. От них исходит сияние, они кажутся прозрачными, неземными и даже молчат как-то по-особенному умно. В жизни этого не вижу. Мучительно думаю: откуда разница? Почему одни живут так, другие иначе? Вопросов много. Я боюсь досаждать Николаю Павловичу. Пытаюсь разгадать сам, не нахожу ответа.

— Ну как? — спрашивает он. — Гамсун хорош?

— Хорошо пишет, только так не бывает, я думаю.

И похоже на правду, и — неправда.

Яхонтов, довольный, смеется.

— Ишь ты, гусь лапчатый, сходства с жизнью требует. Погоди, угощу.

И он достает очерки Николая Успенского, Н. Помяловского, Глеба Успенского.

— На, глотай, набирайся ума. Критики утверждают, что это мастера второго сорта. Между прочим, неверно. У них не все гладко и чисто, как у Флобера, но зато они кровью сердца пишут, статистические цифры и дробы нелепой действительности превращают в людей. Это, брат, подвижники, благородные характеры. Они рассказывают правду о жизни, а правда — самое трудное искусство на свете. Когда-нибудь поймешь, оценишь.

«Нравы Растеряевой улицы» перечитываю жадно. Сколько раз я видел своими глазами все это, описанное Глебом Успенским. Кажется, именно здесь, в Веселой слободе, в глухих предместьях города, он отыскал обглоданное племя сапожников, мастеровых, мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат, кривые улочки базаров, приземистые кособокие лачуги. В любой улице Веселой слободы есть свои Прохоры Прохорычи, медики Хрипушины, Семены Ивановичи, Парамоны-юродивые. Вспоминаю седоков, уличные сражения, картины слободской жизни, квартирантов и соседей Агафона. Сходство поразительное! Читаю книгу на колоде извозчикам. Сонные и вялые лица их постепенно оживляются. Удивление в глазах, улыбки.

— Наш город, что ли, описан? — прерывает старик Дмитрий Ончуков. — Вроде похоже.

Яша Ленков, запивоха и сквернослов, поправляет:

— Похоже, да не совсем. Ругаются не дуже хлестко: стрючкой, точеные ляжки, кошкин хвост. Али это ругань? Ты послухай, как наши слобожане в воскресный день костят друг друга — красота! Ежели б

за ругань царь медали давал, у нас бы все с медалями на грудях ходили.

Покончив с Глебом Успенским и Н. Помяловским, принимаюсь за Левитова, Решетникова. Каждая книга обжигает сердце. Я забываюсь, пропускаю очереди. Меньше зарабатываю.

Хозяин сердится, обзывает воров и дармоедом.

— Бывало три да четыре целковых привозил, теперь — два, полтора. Это как понимать? По торной дорожке пошел, обучили Кузьма с Волчком? Терплю, терплю, да прогоню!

Николаю Павловичу не удалось пристроить меня на завод. Везде сокращают рабочих, новичков совсем не берут. Я дорожку теперь местом у Агафона. Угроза «прогоню» пугает. Но власть книг неодолима. Становлюсь на глухую колоду, где поменьше седоков, простаиваю часы. Шуршат страницы книги, в голове туман — забываю все на свете. И досадно, когда все же подходит седок, опускается в санки. Плохо, если падает снег. Помня наказ Яхонтова беречь книги, поднимаю кожаный верх, забываюсь в задок. Там темно-вато, но уютно и сухо. Извозчики объезжают, подают без очереди.

Однажды на колоду заглянул хозяин, поймал на месте преступления.

— Читаешь? — шипел он. — Барин какой! Ну-ка, дай сюда, что за книга? Может, запрещенная?

Он вырывает из моих рук «В лесах» Мельникова-Печерского, вертит книгу, листает пожелтевшие страницы, нюхает переплет.

— Где взял?

— Купил.

— На какие дивиденды покупаешь? Ай разбогател сильно? Из моего кармана тянешь — знаю.

На колоду заворачивает извозчик, потом — другой. Хозяин шумит, взмахивая книгой, словно его в самом деле ограбили.

Извозчики прислушиваются.

Пузатый, красноглазый мужик, известный на колоде под кличку Боров, советует:

— Поучи, Агафон, паренька. Даром хлеб жрет.

День-деньской с книжкой сидит на козлах, а народ, сам знаешь, бессовестный — пользуются слабостью, объезжают.

— Святая правда, Агафон Петрович, — добавляет маленький, в зеленом кафтане. — Он в книжку нос уткнет, а мы, как, значит, барин с угла махнул, потихоньку — шмыг. Ладный работник, дай ему бог здоровья. Не мешает нам.

— Вот оно что! — орет хозяин. — Понимаю все теперь, понимаю.

Он рвет книгу на мелкие лоскутья. Белые листки, гонимые ветром, уплывают по воздуху. От книги остался один переплет. Агафон бросает его на снег, топчет ногами.

— Будешь знать! — грозит он. — Еще увижу книгу — прогоню!

Вечером подаю хозяину три рубля. Он молча берет деньги и как ни в чем не бывало обыскивает. За столом грозит деревянной ложкой:

— Упреждаю в последний раз: никаких книжек!

На другой день еду к Николаю Павловичу. Яхонтов чем-то озабочен. Кажется, не спал всю ночь.

— Книгу порвал, говоришь? Ну, ничего. А ты сам ему в морду! Лабазников словом не вразумишь. На ногу наступать не позволяй. Смирение и кротость — плохие качества. Уходить надо от хозяина, но куда? Квалификации ты не имеешь.

Меня с первой встречи занимает вопрос: чем живет Яхонтов?

О себе он обычно не говорит.

Теперь я, набравшись храбрости, все-таки спрашиваю, где он работает.

— Божьей милостью — интеллигент, — говорит он. — Папаша хотел сделать из меня священника, чтобы я отвлекал народ от тягостной жизни сказками об аде и рае, где последние будут первыми. Я избрал другой путь — тот самый, на который недавно вступил ваш кочетовский учитель Всеволод Евгеньевич.

— Значит, вы тоже против царя?

— Тоже, — усмехается он, — и не только против царя.

Яхонтов говорит о себе, как о постороннем лице, лукаво посмеивается над своими неудачами. О жизни, о революции, наоборот, просто и строго, как бабушка о боге.

— Кстати, насчет деда твоего, — вспоминает он. — Я узнавал. Там много наших сидит. Все от него в восторге. Замечательный, говорят, старик. Связался также с Зинаидой Сиротой и Всеволодом Никольским: друзья мои книги им подбрасывают, кое-что из съестного.

Я рассказываю про жар-птицу.

— Жар-птица? — спрашивает он. — Это здорово придумано. Помечтать не вредно.

Бардадым засек ногу, хозяин поставил его на неделю в стойло. Я выезжаю по утрам на Касатке — в одну смену. Вечера свободны. После работы обтираю санки, чищу сбрую и, пообедав, отправляюсь в Горькую слободу. Эта неделя крепко сближает меня с Николаем Павловичем. Раньше представлялось, что он целые дни сидит за столом над раскрытой книгой и может разговаривать с кем-нибудь лишь о том, что вычитано из книг. Теперь вижу его с другой стороны. Он — человек, как все, живой, веселый, впадающий порой в ребячество. Мы уходим на лыжах за город, катаемся по реке на коньках. Он не боится мороза, не устает, и это удивляет меня. Я рассказываю об охоте.

— Увлекательно, черт возьми! — говорит он. — Погоди, весной достанем у приятелей ружьишки да закатимся на глухариный ток. Ты научишь, как подсакивать к петухам. Костер в лесу разведем. Будет удачная охота, спляшем у костра танец дикарей. Вот здорово, а?

И оба мы смеемся.

Однажды прихожу к нему раньше, чем условился. Застаю девушку. Николай Павлович шутит, смеется.

— Хороша дивчина? — спрашивает он, кивая на гостью.

И девушка тоже смеется. У нее голубые глаза, волнистые, коротко подстриженные волосы, темножелтые, как лен. «Наверное, невеста, — думаю я. — Вот счаст-

ливый человек. Она часто здесь бывает, вместе читают книги, спорят».

— Наташа, — говорит Николай Павлович, — поедем с нами на лыжах.

Она отказывается. Ей надо куда-то поспеть до двух часов. Простившись, она уходит.

Мы берем лыжи, скользим по мягкому снегу. Хочется порасспросить Яхонтова о девушке: кто она? откуда? Но лицо его теперь строго, и я не решаюсь говорить об этом.

На пригорке у меня обрывается юкса. Пока чиню ее, Николай Павлович катится под гору, исчезает в ельнике.

Разыскиваю его по следу. Он ссутулился, опустил голову, сидит между елок. У него вздрагивают плечи.

Может, подойти, успокоить? А я стою, пораженный, не могу тронуться с места. Какое же горе навалилось, если этот человек плачет!

День теплый. Солнце. Слюдяной блеск снегов. Тишина. Я боюсь кашлянуть, чтобы не испугать Николая Павловича. Я-то ведь знаю: когда мужчина плачет, ему не очень приятно иметь свидетелей.

Он поднимает голову, берет кайки, становится на лыжи, тихо бредет по склону. Я иду за ним в отдалении.

Потом он поворачивает ко мне. Глаза его сухо поблескивают, лицо опухло и покраснело.

— Домой, — коротко говорит он.

Всю дорогу идем молча.

Так и не спросил я о девушке. И он ничего не сказал.

Я засиделся у Яхонтова. В слободских окнах гаснут огни. Николай Павлович много курит, посматривает на часы.

Я собираюсь уходить, надеваю кафтан. В подоконник стучат. Яхонтов открывает дверь. Входят два жандарма, какой-то офицер, двое слободских мещан — понятия.

Офицер показывает бумажку.

— Пожалуйста, — сухо говорит Николай Павлович. — Вы блюстители порядка. В чем дело?

Офицер замечает меня в углу.

— Что тут делаешь?

Понимаю: нужно сказать неправду.

— Да вот привез господина, за деньгами зашел.

— Ишь ты! Безработные на извозчиках ездят.

Хочу выйти.

— Сиди, — грубо говорит офицер, — пока обыск идет, не выпущу.

Сажусь на табуретку. Мещане стоят у дверей, как истуканы. Жандармы перетряхивают постель, распарывают матрац, обстукивают стены, пробуют даже поднять половицы, но доски крепко прибиты гвоздями — не поддаются. Потом осматривают книги.

Николай Павлович, заложив руки за спину, ходит по комнате. Как он изменился! Лицо стало суровым и жестким. Сощуренные глаза налились сдержанной яростью. Нахохлившийся, подтянутый, весь собранный в комок, он кажется зверем, готовым к прыжку.

Обыск продолжался часа два. Жандармы составляют протокол, дают подписать Яхонтову, идут к выходу, унося связки книг.

— Зачем же книги берете? — спрашивает Николай Павлович. — Это Некрасов, Салтыков-Щедрин — все легальное.

— Тут ваши пометочки на полях, — с какой-то вежливой злостью говорит офицер. — Интересуемся. Ежели ничего предосудительного — вернем. До свиданья. Думаю, что еще встретимся, господин Яхонтов.

Николай Павлович закрывает дверь, подходит к окну и весело говорит:

— Не тут искали, голубчики. Видал? — он поворачивается ко мне, поблескивая глазами. — Не смущайся, брат. Наше дело такое — с часу на час незваных гостей жди. Ты теперь пореже заглядывай, а то на заметку попадешь. Тебе в наши дела путаться рано.

— Командир у вас есть, Николай Павлович?

Он улыбнулся и просиял.

— А как же? Есть, есть! Только слово это неподходящее — командир. Он — вождь. В России жить ему не дают. Он за границей. Но он все видит и знает, что делается на родине. Это великий человек, Матвей. Его

пока знают немногие. Скоро о нём заговорит весь мир. И ты услышишь, узнаешь, его зовут — Ленин. Запомни.

— Мне уже говорил о нём Всеволод Евгеньевич, — вспомнил я вслух. — Тоже хвалил его.

— Вот и отлично. Если тебе суждено когда-нибудь поймать свою жар-птицу, ты поймаешь ее с помощью Ленина. Он щедрый, всех наделит счастьем!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Во втором этаже хозяйского флигеля белошвейная мастерская Елены Федоровны Губиной. Белошвейки живут в той же комнате где работают, спят на столах. Девушки часто меняются, и трудно сказать, сколько их служит у Губиной. Мадам строга. Девушки по воскресеньям ходят под ее командой к обедне. Мадам хвастается порядками своего заведения. На дворе звенит елейный голосок этой седоволосой женщины в уродливой шляпе с павлиньим пером:

— Я слежу за нравственностью девочек, многих вывела в люди, выдала замуж за почтенных и обеспеченных граждан. Девочки меня уважают, как родную мать.

Толстая и круглая, как бочка, закутанная в беличью шубу, она медленно проплывает по двору. Щеки ее лоснятся, точно смазанные жиром. Мадам Губина не нравится мне, и я, помню, обрадовался, когда один заказчик, которого пришлось отвезить со двора, обозвал ее:

— Ханжушка.

Я не знал тогда, что обозначает это слово, но мысленно объяснил себе: «Дрянь».

Заказчик продолжал:

— Отравила родную тетку, завладела ее богатством, купила швейные машины, открыла заведение, и вот, пожалуйста, ханжушка — знатная особа!

Белошвейки встречаются со мной во дворе. Есть среди них бледнолицые, чахоточные обитательницы городских предместий; они напоминают засохшие

в горшках цветы. Есть деревенские хохотуни, нахлынувшие в город за счастьем: в звонком смехе еще не потухла радость, город не успел отравить их тела, согнать румянец со щек. Я замечаю Тоню, веселую девушку с глубокими черными глазами. Мадам посылает ее разносить заказчикам белье. Каждый день бегают Тоня с лубяной коробкой в руках. Одета в ватный жакетик, она, должно быть, зябнет и оттого всегда торопится, держит прямо свое гибкое, сильное тело. Концы голубого шарфа вздуваются на ветру, как паруса. Однажды мы сталкиваемся в воротах. Я выезжаю на работу. Над слободой густой дым. Телеграфные провода и ветки берез в куржаке. Сизые вороны сидят на деревьях не шелохнувшись, словно окаменевшие.

— Подвези, миленький, — улыбаясь, просит девушка. — Все равно до колоды едешь порожняком.

— Садись.

И она садится. Доезжаем до заставы, не обмолвившись словом. Девушка легко спрыгивает, стройная, подобранная.

— Спасибо, миленький!

Щеки ее, расцвеченные морозом, пунцовеют.

— Не говори подругам, — прошу я Тонию. — Они скажут мадаме, она — хозяину, и мне попадет за то, что подвез тебя.

— Не беспокойся, миленький, все понимаю.

Мы не сговариваемся, но с этого дня как-то само собой повелось: Тоня выходит со двора, когда запрягаю Бардадыма или Касатку. Я догоняю девушку в переулке. Она прыгает на ходу в санки.

— Ты из деревни, миленький?

— Да, миленькая.

Девушка, смеясь, колотит меня в спину, брови ее лукаво вздрагивают.

— Не смей дразниться.

Тоня расспрашивает о деревне. Я отвечаю.

— Ты подумай, я в лесу никогда не бывала, — признается она. — Так хочется побегать по зеленой полянке, набрать цветов, собирать грибы, ягоды. Ах, как это, наверно, забавно!

Развеселившись, она щебечет, как птица.

— Знаешь, что: давай поженемся, уедем крестьянствовать. Эх, заживем! Я хорошая хозяйка буду. Честное слово! Только не бей меня.

Глаза ее улыбаются, и трудно понять: шутит она или серьезно.

— Худо, Тоня, в деревне. Сам оттуда сбежал. Ее личико темнеет.

— Должно быть, нашему брату везде плохо, и убежать некуда.

Помолчав, добавляет:

— Точно мне: хозяйка хуже ведьмы. Зудит с утра до вечера. Если девушки ошибаются на примерке или строчку пройдут не так, она булавками тычет. Бывают деньки — с лестницы вниз головой прыгнуть охота. Старик один сватался. Чуть-чуть замуж не вышла. Подруги, спасибо, отговорили.

Иногда Тоня долго не появляется на улице. Я слушаю. Хочется пойти в мастерскую, узнать, что такое стряслось, но пугает встреча с Еленой Федоровной. И когда Тоня все же выбегает во двор с лубяной коробкой, у меня замирает что-то в груди.

Вспоминаю книги, где рассказывается о любви, и думаю: неужто это и есть любовь?

Бардадым лягнул меня в бедро. Ушибленное место вспухло, началось воспаление. Я слег в постель. Голова горит, стены кружатся, и все проваливается в какую-то серую муть. Придя в себя, вижу в каморке Тоню. Она поправляет подушку, укрывает мои ноги старой попоной. И так досадно, что девушка забегает только украдкой, когда нет хозяина.

Дни проходят. Я начинаю поправляться. Заглядывает хозяин.

— Лежишь? На даровых харчах можно дрыхнуть. А кони стоят, убыток несую.

— Что ж делать? Видишь, вот нога...

— Превозмоги хворобу, — советует хозяин. — Парень молодой, нечего киснуть. Понатужься и встань, разомнешься как-нибудь.

Я пытаюсь подняться. Боль опять валит в постель. Хозяин уходит обиженный.

Прошу Тоню отнести Яхонтову прочитанную книгу

и взять, если разрешит, новую. Девушка возвращается с двумя книгами, сияющая, оживленная.

— Николай Павлович кланяется и говорит — не нужно ли доктора? У него есть знакомый доктор. Все, говорит, бесплатно сделает, лекарства даст.

— Понравился Яхонтов?

— Ужасно, миленький. Такой обходительный, добрый.

Я хочу, чтобы Тоня почитала вслух. Она краснеет.

— Смеяться будешь. Я ведь не могу быстро.

Читать ей в самом деле трудно: спотыкается на каждой строчке, перевирает слова. Закрыв глаза, слушаю, забываю про боль. Прочитав страницу, Тоня убегает во флигель: ее ждут дела.

Через неделю, еще слабый после болезни, вожусь около санок, перетягиваю гужи. Калитка с шумом открывается, вбегает Тоня. За ней гонится высокая женщина в плисовой кацавейке, визгливо кричит:

— Шлюха! Законных мужей отбивать вздумала. Я тебе зенки выдеру.

Она хватает Тоню за воротник. Тоня отбивается. Во двор выбегают жильцы, белошвейки, обитатели соседних домов.

— С женатиком схлестнулась девчонка. Ну и ну!

Все до того непонятно, что я стою над хомутом, не могу произнести слова.

Никто еще не знает, в чем дело, но все поверили, что девушка совершила дурной поступок. Бабы волнуются. Пожилая прачка Матрена, захлебываясь, кричит женщине в кацавейке:

— Ульяна, дай ей выволочку! Взяли моду, бесстыдницы, к женатым прилабуниваться. Али порядок?

— Луи, кроши, поддавай! — подстегивает кривой мещанин. — Бабоньки, милые, покажите, почем сотня грешков!

Ульяна ободрилась. В цепких руках ее голубой шарф, и она рвет его на мелкие ленты.

Я кидаюсь на помощь Тоне. Прачка хватает меня жилистыми руками за карман.

— Не твое дело, парень, не суйся, когда бабы дерутся.

Наотмашь ударяю прачку по затылку. Она покачулась. Еще две бабы наваливаются на меня, опрокидывают в снег. А женщины помогают Ульяне избивать Тоню. Слышу ее надрывный крик.

— Не стыдно вам, бабы? — кричит незнакомый старик в бобриковой поддевке. Он расталкивает баб. — Ну и народ! Расходись по домам!

Я поднимаюсь на ноги. Тоня, растрепанная, идет в мастерскую. Навстречу выплывает Елена Федоровна.

— Прочь, мерзавка! — говорит мадам. — Я не позволю пачкать имя моей мастерской.

Тоня молча шагает в подъезд.

...Елена Федоровна уволила Тоню. Я отвожу девушку в город. Тоня сидит в санках, смятая и грустная, с заплаканным лицом.

— Не виновата я, Мотя, ни в чем не виновата, — говорит она. — Я его, мужа этой дурехи, совсем не знаю. Шла по улице, он привязался, идет рядом со мной, болтает всякую чепуху, а она из переулка бросилась, как бешеная! Господи, до чего люди злые и непонятные!

Я знаю, что девушка не лжет. Думаю, как бы ей помочь, и ничего не могу придумать.

— Куда пойдешь?

— Место искать буду, — говорит она. — Может быть, в другую мастерскую поступлю или в прислуги. Только вот горе: везде начнут бумажку о прежней службе спрашивать, а я ничего не взяла от мадам: разве даст она хорошую рекомендацию?

Тоня обещает написать мне, когда устроится.

Прощаемся в центре города. Я остаюсь на колоде. Девушка медленно идет по тротуару, помахивая узелком. Уходит мое счастье, уходит моя радость!

— Не забывай меня, миленький!

— Не забуду!

Как стало пусто и одиноко!

Тоня снится по ночам, и днем, что бы я ни делал, мысли заполнены девушкой. Я жду от нее письма.

А она — словно в воду канула. Сколько раз я обознавался. Мелькнет где-нибудь на перекрестке голубой

шарфик, срываюсь с колоды, гоню Бардадыма, заглядываю в лицо проходящей девушке.

Нет, не она...

Вечера длинные, ночи тяжелые. За окном трещит мороз. Печь в комнате испортилась и дымит. Тусклый чад поднимается к потолку. При бледном свете копилки раскрываю полученные от Яхонтова книги. Комнатушка опять наполняется песнями, музыкой, солнцем, улыбками далеких и близких людей. Но даже книги теперь не увлекают, и только «Спартак» Джiovаниоли читаю в эти дни жадно, волнуясь и плача. Легионы восставших рабов, казалось, шагают где-то совсем рядом, и в завываниях ветра под окном долго чудится шум великой битвы, звенят мечи гладиаторов, идущих на смерть.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К хозяину заглядывает сваха — упитанная, бойкая мещанка. Ее круглое лицо покрыто сетью красных жилок, в разговоре тонкие губы брезгливо выпячиваются. Попивая из блюдца чай маленькими глотками, она закатывает глаза, хвалит невесту. Хозяин щурится.

— Что ты, какой я жених в мои-то годы?

— Не притворяйся, Агафон Петрович, ты мужчина в полном соку, — льстиво улыбается сваха. — На тебя заглядится любая. Что толку в молодых-то? Молодые ноне хлибкие. Старички вполне надежнее.

— На мои капиталы зарится, шельма, — ворчит хозяин. — Чую, куда гнет.

— Ой, да за кого меня считаешь? — обижается сваха. — Неужто подсуну какую вертихвостку?

— Надумаю в брак вступить, капиталы на церковь отпишу, — говорит Агафон. — Жене после моей смерти ничего не достанется. Коли денежный интерес имеет — просчиталась. Так и скажи.

— Господи! — вздыхает сваха. — Ничего-то ей не надо. Это ж ангел — не девушка. Восемнадцать годов исполнилось, совсем еще дитенок, несмышленная отроковица.

— Несмышленная, а жениха с богатым карманом ловит. Про мои капиталы весь город наслышан.

Сваха обтирает подолом платья лицо, крестится на иконы, вновь начинает:

— Одно пойми: бедность, сиротство — ни отца, ни матери. Ну куда ей податься? А девка — золото: тихая, смиренная. Благодарить будешь. Ей не деньги, а хороший человек нужен.

— Знаем вас, женский пол, не улещай.

Хозяин достает из сундука толстую книгу в кожаном переплете с медными застежками, надевает очки.

— Ты послухай-ка, что святые отцы писали о бабах. — «Что есть жена? — читает он гнусаво. — Сеть прельщения человекам. Светла лицом и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща и огонь лютый в членах возгорающа. Что есть жена? Покоище змеиное, соблазн адский, увет дьявола».

— Это скопцы-монахи злобствуют на бабу, — улыбается сваха. — Естество им обрезали, а плоть все ж таки свое требует, по ночам беспокоит. Вот они и ругаются. Здоровому человеку такие слова ни к чему. Без бабы род людской давно бы кончился, а господь наказывал людям жить, размножаться.

Хозяин сдается. Сваха ведет его на смотрины.

— Женюсь, брат, — говорит хозяин, придя со смотрин. — Придется тебя поселить на кухне, сундук поставим, на нем спать будешь. Здесь неудобно чужого человека держать: переборка тонкая, все слышно, да и парень ты на возрасте. Разгорится глаз на молодуху, а я ревнивый.

Он нехорошо смеется.

Начались приготовления к свадьбе. Квартиру чистят, моют, скребут. Сваха распоряжается как дома. Ей помогает во всем ханжушка Елена Федоровна Губина. Глуповатая Фекла, видимо, боится, что молодая хозяйка вытеснит ее, — ходит злая-презлая.

Венчание состоялось днем. Я везу новобрачных из церкви на убранном цветами, лентами и бубенцами Бардадыме. Сзади едут дружки и шафера. Хозяин доволен, шутит:

— Погоняй, извозчик, на чай получишь.

На свадебный пир приглашены соседи, приятели Агафона. Со стороны невесты явились дядя с сыном — шумные мещане в старинных сюртуках.

Хозяин усаживает меня за стол.

— Садись как гость, но веди себя прилично, много не пей, вино дорогое.

Я гляжу на молодую — девушку среднего роста с веснушчатым лицом и голубыми глазами. Кисейное платье — подарок хозяина — сидит на ней мешковато. Хороши у нее только волосы — пышные, с золотистым отливом.

Гости пьют вино и пиво. Кричат «горько». Хозяин наклоняется к молодой, чмокает в губы. Молодая конфузится и робеет. Подвыпившая сваха командует ново-брачной:

— Евдокия Васильевна, не вешай голову, не кручинь хозяина! День-то какой сегодня!

Заводят граммофон. Под звуки вальса пары кружатся по комнате, тяжело топая ногами. Хозяин улыбается.

В разгар веселья под окном появился хозяйский сын. Я вижу его красное лицо, прислоненное к оттаявшему стеклу, вытаращенные глаза. Митька оглядывает гостей. Потом лицо его исчезает. Он возвращается с колом, выданным из забора, и ударяет по раме. Стекла сыплются на пол. Женщины, опрокидывая стулья, кидаются по углам. Мужчины вскакивают. Митька выбивает вторую раму. Под окном — пьяный торжествующий голос:

— Что, папаша, на молоденькую потянуло? Я те покажу, грабитель! Отдай мою долю, папаша. Материно приданое чужим людям пойдет. Не дозволю. Эх, папаша, сатана твою кровь смущает!

Холодный воздух тянется в комнату. Фекла убирает посуду, проливая на голубую салфетку соусы и вино из рюмок.

Молодая плачет, прислонившись к стене.

— Что же это, господи? — испуганно шепчет сваха. — В такую минуту дьявол принес смутьяна. Мужики! Что вы смотрите?

— Сынок любезный, — с горечью говорит хо-

зяин. — Лупите в мою голову. Дозволю всем — бейте. Только не до смерти.

Дядя молодой выбегает на улицу. За ним с поленом в руках — друг Елены Федоровны, широколобый, с клочком бороды под нижней губой, приказчик Степан Хлебников.

Женщина, в пестром платье, с огромными дутыми серьгами в ушах, хлопает себя по бедрам и, захлебываясь пьяным смехом, жалуется неизвестно кому:

— Угостили, приветили. Век не забудем свадебку. Задал пир Агафон Петрович!

— Не будет счастья молодым, не будет, — говорит Елена Федоровна. — Уж коли так началось — добра не жди. Агафона Петровича...

Хозяин топает ногою.

— Цыц, вы, трепалки!

Голос у него спокойный, глуховатый.

В комнате становится тихо. Под окном слышны удары, криканье, сочная слободская брань.

Митьку бьют долго, усердно. Хозяин стоит у окна, тихонько покрикивает:

— По мягкому месту лупите, мужики, ребра не поломайте: лечить придется его, злыдня, доктора да костоправы разорят.

— Знаем, Агафон Петрович, не впервые! — весело отзывается Степан Хлебников. — Отойди от окна, не расстраивайся.

Под окном собираются слобожане — любители драк. Шум нарастает. Свистит городской. Гости молчат, прислушиваясь к тому, что делается на улице. Всем ясно; вечер испорчен. Стряпуха завешивает окно байковым одеялом.

Гости одеваются, уходят...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В субботу Яхонтов говорит:

— Завтра иду на вечеринку, если хочешь — пойдем со мной. Народ собирается всякий: политики, местные любители музыки, живописи, литературы. Есть пута-

ники, но есть и люди с огоньком. Тебе, я думаю, не вредно поглазеть. Слушай, что будут говорить, но не всему верь.

В воскресенье, как назло, хозяин заставил чистить конюшню. Навозу накопилось много, пришлось задержаться. Яхонтов долго ждал меня. На вечеринку мы опоздали. Еще в передней, снимая полушубок, я слышу, кто-то читает стихи:

Но снова я отвагу ощущаю,
Хочу бороться, победить желаю,
За шагом шаг пойду вперед смелее,
Смирная море. Вот моя идея.

Дверь открывается. Шагаю вслед за Яхонтовым в комнату. Чтец умолк. В середине стоит большой стол. Яхонтов здоровается, подталкивает меня к столу.

— Сын земли, весьма любознательный малый. Прощу познакомиться.

Полная женщина, сидевшая за столом, говорит:

— Милости просим.

— Хозяйка, — кивает Яхонтов. — Ольга Васильевна.

Мы устраиваемся на диване, где уже сидят двое: курносый парень с бараньими глазами и сивобородый, колючий старик в байковой блузе, с очками на мясистом носу. У окна в высоком дубовом кресле — бритый пожилой мужчина.

В углу стоит молодой человек — в синей косоворотке, подстриженный в скобку, с книгой в руках. Остальные сидят на стульях, расставленных вдоль стены.

— Митя, читай дальше, — говорит сивобородый старик.

Митя держит раскрытую книгу на вытянутой левой руке, а правой взмахивает, как бы подрубая прочитанное. Рот у него маленький круглый. Слова весомо и крепко падают в тишину. Сочный голос звучит ровно и спокойно.

Конечный вывод мудрости земной —
Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой.
Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной
Дитя, и муж, и старец пусть ведет,
Чтоб я увидел в блеске силы дивной
Свободный край, свободный мой народ.

Тогда сказал бы я: мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой,
И не смело б веков течение
Следа, оставленного мной...
В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг вкушаю ныне свой.

Митя закрывает книгу.

— Хорошо! — вздохнул курносый парень. — За сердце берет.

— Хорошо? — фыркает сивобородый старик. — Вам, что ни читай, все сойдет. А по-моему, не то, что надо. Оно, конечно, великий писатель, мастер, слова отточены, как иглы, зацепляют и держат, только этого мало. Смысл подайте, идею. В чем тут идея?

— Слушать надо было, — возражает человек, сидевший в кресле. — Идея глубоко закопана.

— Я слушал, — обидчиво говорит старик. — Однако смысла не вижу. Писатель зовет на бой старцев и юношей. Отлично. Мы не против. Но с кем биться? За что? Почему? Не ясно.

— Сказано: за свободу — чего тебе еще? — улыбается Митя. — Любишь придирааться, Иван Иванович.

Старик вытирает ладонью лицо.

— Что такое свобода? Каждый класс понимает ее на свой лад. Буржую требуется одна свобода, помещику — другая, мне, пролетарию, третья. Так или нет?

— Так, дядя Ваня, — отвечает Яхонтов.

— Гёте недоговаривает, за какую свободу он, — продолжает старик. — Но, сдастся, во всяком случае не мечтает о свободе для рабов.

— Гёте против трусливого мещанства, против обломовщины, — вставляет хозяйка. — Он зовет на великую борьбу с природой: возводить плотины, покорять океаны, осушать болота, дабы людям было просторно, дабы человек стал счастлив! Ясная и возвышенная цель.

— Вот именно, — говорит Митя, — молодец, Ольга Васильевна.

Садимся пить чай. Звенят стаканы. Разговор стал общим. Яхонтов говорил мало, но всегда дельно и едко. Я замечаю, что Николая Павловича уважают здесь, хотя и не все с ним согласны.

— Болота, моря, океаны, плотины — размах большой, что и говорить, — громко начинает опять Иван Иванович. — А позвольте спросить: зачем это нужно? Я, допустим, болото осушил, а приходит помещик: «Земелька эта моя». Так?

— Так, — отвечает несколько голосов.

— Вот я и говорю: позвольте сперва на земле, в государстве, порядок навести, а уж тогда можно двинуть народную силу на овладение природой, в воздух, под землю и еще куда там потребуется.

— Твоими устами глаголет истина, — с усмешкой говорит хозяйка. — Все великие люди ошибаются, один ты прав.

Спор снова закипает. И опять непонятные слова: гуманизм, психология, программа, тактика, прогресс, декадентство. Спорят о мужике, о деревенских порядках, и просто удивление берет, как это люди могут о простых вещах говорить столь умно и какими-то нерусскими словами. Только старик доступен мне, близок.

— Не дают великие писатели ответа на вопрос: что делать? Куда идти? — четко говорит он, взмахивая рукой. — Вот недавно прочел я рассказик великого писателя земли русской, Льва Толстого. Обрисован мужик Пахом. Заявился Пахом к башкирам землю покупать. Получили башкиры тысячу рублей и говорят: «Что за день обойдешь — все твое». А земля хороша: чернозем, целина, степь ковыльная. Пожадничал Пахом, велик разгон взял, надорвался и к вечеру помер. Схоронили его, и оказалось: три аршина человеку земли требуется.

— Так ему и надо, — острит Митя. — Кулачок был Пахом, стяжатель, работника имел.

— Не в том суть, что кулак, — продолжал Иван Иванович. — Лев Толстой учит: будь скромн, ни к чему не стремись, — все равно подохнешь, и тебе потребуется

только три аршина земли. Ловко? А это вздор. Человеку много нужно. Вся земля нужна человеку.

— Какому человеку? — спрашивает курносый парень. — Они разные бывают, человеки. Иной вершка не заслужил.

— Трудовому человеку, — отвечает старик, — тому, кто ее обрабатывает, — как же иначе? А для завоевания земли трудовой человек должен сплотиться воедино, организовать волю свою согласно разуму. И вот сколько я ни читаю великих писателей, сколько ни слушаю — не туда гнут. На полдороге останавливаются или зовут в обход, в бурьян, в чащобу.

Яхонтов вступается за писателей.

— Верно: ни Толстой, ни Гёте не указывают выхода. Но они подвергли критике многие стороны жизни. Что ж, и на том спасибо. Заслуга немалая. А что делать — читайте другие книги. Они есть, написаны для вас. Правда, их запрещают, сжигают, авто-ров гонят в места отдаленные, но истина все-таки победит.

От вечера остается путаница в голове. Как мало я знаю и как прав Николай Павлович, что надо учиться.

Легко сказать — учись. Я работаю в две смены. Встаю в семь часов утра и только к двенадцати ночи приезжаю в Веселую слободу, чтобы поужинать.

У Николая Павловича встречаю жителей Горькой слободы: медников, слесарей, токарей, электромонтеров. Молодые, простецкие парни. Они тоже берут книги, любят, уважают Яхонтова. Однажды Николай Павлович пошел на чердак разыскивать какую-то книгу. Рыжий токарь Миша Галандин достает из кармана восьмушку чаю, кулек с сахаром, ставит все это в шкафчик над столом. Как бы в чем-то оправдываясь, токарь говорит:

— Денег у него нет, голодает, а такой, понимаешь, человек, что не пожалуется, не попросит. Вот мы и сговорились поддерживать его. Зайдешь и оставишь чего-нибудь тайком. Народу бывает много. Дознайся, кто оставил. Он сердится, спрашивает: «Кто принес?» Все отпираемся.

С этого дня я тоже кое-что приношу Николаю Павловичу. Но, должно быть, я не очень ловок в таких делах. Он ловит меня и отчитывает:

— Не смей заниматься благотворительностью! У тебя на шее дед сидит, бабушка в деревне святым духом питается. Зарабатываешь десятку в месяц, да еще вздумал чужих подкармливать!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Молодая заметно полнеет. Сквозь веснушчатую кожу на щеках проступает румянец, глаза горят бесстыдно и ярко. С хозяином держится развязно, грубит.

— Дуняха, где моя ватная жилетка? — спрашивает хозяин.

— Я почем знаю.

— А ты поищи.

— Очень-то нужно. Сам не маленький — найдешь. Хозяин поднимает брови.

— С кем говоришь, халда? — в хриплом голосе его обида, ярость. — Не забывайся! Из мусорной ямы вытянул на свет божий, одел, обул. Жрешь до отвала, как свинья. Благодарить должна.

Молодая дергает плечами.

— Подумаешь!

Она вытягивается, как сытая кошка, и ходит вокруг стола. Хозяин глядит на нее, качает головой.

— Ты, Дуняха, не задирай нос. Я терплю, терплю, да как примусь охаживать кнутом!

— Подумаешь!

— Нешто можно дерзить законному супругу, Евдокия Васильевна? — говорит Фекла. — Крест есть глава церкви, муж — глава жены. Подчиняться надо, а ты бесперечь гордыню оказываешь. Бог накажет.

— Подумаешь!

— Чего рот разинул? — говорит мне хозяин. — Выдь на улицу. Без свидетелей обойдемся.

Я одеваюсь, выхожу.

Когда Фекла стирает или моет полы, молодая

сама ездит на рынок за провизией. Утром подсаживаю ее в санки, по пути отвожу. Обратнo она идет пешком. Перед поездкой, уже одетая в баранью шубейку, она подходит к зеркалу, пудрит нос, щеки. Крупная пудра расплзается по лицу, как отруби. Мне смешно.

— Вырядилась, нарумянилась, хоть на выставку, — ворчит хозяйн. — У, вытяжная модель! — Он плюется, растирает плевок ногой и тонко взвизгивает: — Кобелей приманивать собираешься? Да? Места живого не оставлю!

— Подумаешь! — отвечает молодая.

Хозяин повертывается ко мне.

— Чего уставился опять? Подслушиваешь? Иди запрягай. Нет, постой, ты поглядывай за ней в городе. Я тебе доверяю. Чуть что — сказывай мне. Иди. Ох, согрешил с вами, будь вы прокляты!

— Трудно тебе с ним? — спрашиваю я молодую.

Она, приподняв белесые брови, сознается:

— Да уж куда труднее!

— Зачем пошла за него? Видела, какой он.

— Дядья спокoю не давали, жить нечем — вот и пошла. От добра такую кочерыжку не полюбишь.

— Ты бы на фабрику или еще куда поступила.

— На фабрику ходила — не берут, места заняты, а в прислуги идти, горшки с дермом из-под кровати выносить — очень-то нужно.

— Зато вольный человек.

— Подумаешь! — вскинув голову, произносит она любимое слово. — Вот Агафон сдохнет, наследство получи, хозяйкой стану, выйду за молодого вроде тебя. Возьмешь аль побрезгуешь после старика?

— Он еще не скоро умрет, — шучу я. — Заждешься вдовьих радостей.

Молодая как-то лихо и нагловатo поводит бровью.

— Можно ускорить. Купить один порошок, подсыпать в квас — и будь здоров, старичок!

— Ой, дурная! — возмущаюсь я. — За это ж в острог сядешь!

— Кто с умом делает, никогда не сядет, — упрямо говорит она.

И я думаю: «А ведь может убить».

Какое-то двойственное чувство испытываю я к Агафону. Временами он вызывает во мне омерзение, ненависть. Но когда я взвешиваю всю жизнь этого непонятного старика, становится его жаль. Кузьма и Сергей Волчок не думают о завтрашнем дне, и это худо. Они пропивают заработок — тоже худо. Но для чего живет Агафон? Его тысячи в банке — мертвые деньги. Он жадничает, суетится, как помешанный. Повздорил с сыном, первую жену заморил голодом и побоями вогнал преждевременно в гроб, как поведала мне Фекла. Кузьма чуть не убил его. Молодая жена собирается отравить «порошочком». Да понимает ли Агафон, сколь страшна и безотрадна эта жизнь? Может быть, есть в неумной жадности хозяина что-то недоступное моему разуму?

— Помнишь старика Ивана Иваныча? — спросил Яхонтов. — Он спорил со всеми на вечеринке у Ольги Васильевны.

— Помню.

— Видишь ли, какая штука. Завтра на вокзал придет арестантский вагон с политическими. Группу товарищей гонят из Москвы в Сибирь на каторгу. Они будут две недели сидеть в пересыльном отделении местной тюрьмы, ожидая следующего этапа. Их поведут с вокзала через город под конвоем. И нужно так сделать, чтобы на улицах было побольше народу. Пусть видят и знают. Мы заготовили кое-что на сей предмет. Не отвезешь ли прокламации к Ивану Иванычу? А уж он знает, кому и как вручить. Предупреждаю: дело серьезное. Накроют — сядешь за решетку. Подумай и скажи честно.

Мог ли я отказаться? О чем тут думать? Я готов каждый день возить целые тюки куда угодно. Я ведь понимаю, что это не менее важно, чем наша поездка с дедом к вогулам, которых мы освобождали от ясака.

Николай Павлович дал бумажку с адресом, пачку прокламаций, перевязанную алой тесемкой.

— Гляди! Дело сугубо секретное. Сверток при чужих Ивану Иванычу не отдавай. Вручи обязательно сегодня. Если дома не застанешь, зайди попозднее.

— Николай Павлович, разве я маленький?

— Ну-ну. Посмотрим.

Иван Иваныч жил на окраине, в подвальном этаже кирпичного домика. Я постучал в обитую кошкою дверь. Вышла старуха, высокая и худая, с глубоко запавшими глазами.

— Кого надобно?

— Ивана Иваныча.

— Ты кто такой?

— От Николая Павловича. В собственные руки посылку передать должен.

— Нет его.

— Вы, случаем, не жена Ивана Иваныча?

— Жена, — грубовато ответила старуха. — Только нет его дома и не будет. Увезли моего голубчика, проклятые!

— Куда увезли?

— Известно, куда возят хороших людей, — в тюрьму. Ступай, милый, откуда пришел.

Дверь захлопнулась.

Вот незадача! Но Иван Иваныч не единственный человек в городе, способный раздать листовки. У Николая Павловича десятки друзей, помощников. Скорее, пока не упущено время, к Яхонтову. Пусть дает другой адрес.

Я поехал в Горькую слободу. Николая Павловича дома не было.

Я ждал около часа и, сам не свой, выехал на ближайшую колоду.

Вечером снова завернул в Горькую слободу. На дверях домика Яхонтова все еще висел замок.

Вечерняя смена выдалась трудная: седоки подваливали один за другим — на колоде остановиться некогда. Мысль о листовках не выходила из головы. Люди должны читать их сегодня ночью. Завтра — поздно. И как же быть? Посоветоваться не с кем.

В двенадцатом часу я выехал на главную улицу. Как всегда, на тротуарах множество народа. Номер

на спинке санок я залепил снегом, пустил Бардадыма крупной рысью и стал раскидывать прокламации по обе стороны. Люди сначала будто не поняли, в чем дело. Потом к белым листкам, колыхавшимся в воздухе, потянулись десятки рук. Дребезжал полицейский свисток. Меня это не пугало. Я роздал все, что имел. Плохо ли, хорошо ли сделано, — бумажки пошли по рукам. Не уменьшая ход жеребца, свернул в темный переулок. Позади — тревожные крики. У заставы я слез с козел, оглядел санки. Кусочек снега, которым был залеплен номер, отвалился, и, словно поддразнивая, выглядывала пятерка.

Утром я заехал к Николаю Павловичу.

— Дубина стоеросовая! — сказал он, сузив строгие глаза. — Понимаешь, что натворил? Это игра в бирюльки? Неужели думаешь, что листовки приготовлены для кобелей в бобровых воротниках, слоняющихся по главной улице? Нам заводы, фабрики поднять нужно было. Эх, черт! И я хорош, связался с мальчишкой!..

Яхонтов ходил по комнате, лицо его покрылось красными пятнами.

— Ну, попадет мне, парень, — вздохнул он. — Молод ты, зелен, переоценил твои способности, да и, главное, не предвидел, что старика могут схватить архангелы.

— Простите, Николай Павлович!

Он достал папиросу, чиркнул спичкой и горько усмехнулся.

— Ах ты, лесной дьявол! Завтра весь город узнает — извозчики стали революционерами. Что рабочие и студенты занимаются такими делами — к этому привыкли. А тут извозчик! Это, брат, штука. Полицеймейстер и губернатор с ума сойдут. Ну, теперь выметайся! Некогда.

Так и не узнал я: простил он или не простил?

На другой день заехал к нему менять книги. Мы встретились у калитки. Два жандарма уводили Николая Павловича со двора. Я ринулся было к нему, чтобы обнять на прощанье. Арестованный свирепо глянул, отвел глаза: «Я тебя не знаю, и ты не знаешь...»

Жандармы шагали крупно.

«Известно, куда хороших людей уводят!» — вспомнил я слова жены Ивана Иваныча.

Меня и Агафона вызвали в городскую управу. По дороге старик допытывался:

— Ай чего набедокурил? Может, седока ограбил? — Оловянные глаза его смотрели прямо и сухо. — Или к барышнешке приставал?

Я догадывался, в чем дело, но тряс головой.

— Ей-богу, не виноват, Агафон Петрович.

— Врешь! Зря не позовут. Сейчас увидим.

Вызваны были извозчики, в номерах которых имеется пятерка. В небольшой, тесной комнате собралось десятков шесть мужиков. За столом сидел извозчий староста Сергей Желтухин, толстый, с заплывшими глазками. Он гладит рукой бороду.

— Ну, канальи, кто прокламации сеял?

Извозчики переглядывались. Хозяин шепнул мне в ухо:

— Ежели ты — молчи, свиненок, не сознавайся.

«Бойся, старый хрыч! За себя бойся».

— Сознавайтесь, мерзавцы! — сказал опять староста. — Все одно ведь дознаемся. За упорство хуже будет.

Все молчали.

— Стало быть, не хочет виновник себя оказать? — спросил полицейский. — Хорошо-с. Так и запишем. Но, предупреждаю, господа: всем попадет.

— Помилуйте, ваше высокородие, непричастны мы к пакостям, в глаза не видали, — бормотал одутловатый извозчик в зеленом кафтане. — За что всех карать? Кто нашкодил, тот пускай ответ держит. Мы — непричастные, под присягу пойдем, коли надо. Святой крест и евангелие целовать станем. Поищите виновника, где следует. Вы за то деньги получаете: ищите!

— Истинные твои слова, Федот Лукич, — гудели остальные. — Мы за других не ответчики. Нету законов, чтобы круговой порукой.

— Молчать! — крикнул староста. — Его высокородие покажет закон. Не шуточки — прокламации в народ кидать. Это есть крамола супротив государя императора.

Я сидел в углу за хозяйской спиной. Беспокойство, охватившее меня в первые минуты, прошло. Полиция не знает точных примет виновника. Пятерка еще не доказательство. Мог быть номер 15 и 275. Зимних номеров у извозчиков до восьмисот.

— Мы все понимаем, Сергей Петрович, — смиренно говорил Федот. — Только наше дело сторона. Веди к присяге.

— Веди! — настаивали извозчики. — Не покривим душою перед богом. Али мы не православные?

Нас выгнали во двор. Староста с полицейским чиновом и маленьким человечком в рыжем бобриковом пальто осматривали санки. Полицейский поочередно тыкал пальцем лошадей:

— Случаем, не эта?

— Не могу знать, — мигал человек в бобрике. — Он гнал ходко, лошадь была в куржаке, масть установить нельзя. Опять же ночь: свет фонарей отливает так и сяк. Но пятерку я запомнил. Снежок отвалился, и пятерка, стало быть, обозначилась на задке. Это хорошо помню.

Полицейский чин поморщился.

— Раззява, недоглядел. Телескоп на шею вам вешать, что ли?

Всех отпустили по домам.

На другой день было объявлено решение: извозчики, в номерах которых есть пятерки, лишаются права езды на год.

Агафон рассчитал меня.

— Приглядывался к тебе, парень, все время и скажу, — начал он свой последний разговор со мною, — под забором умрешь, на чужие деньги похоронят. У Кузьмы с Волчком есть стремление — нажраться водки, колбасой утробу набить. У тебя даже этого стремления нет! Не вижу в тебе азарта к делу. Сонный ты какой-то, вялый. Знаешь, как надо выбиваться в люди? Всех локтями раздвигать в стороны! Я начал жизнь без гроша в кармане. Нужники чистил в городе. Это занятие грязное, никто не хочет браться, потому и платят хорошо. Протух я, провонял насквозь дермом, ни одна девка со мною гулять не хочет: «Золо-

тарь!» А мне наплевать. Гну свою линию, зашибаю деньгу. Так вот и оперился, пошел в гору, теперь добрые люди уважают.

«Кто уважает? — подумал я. — Помри ты завтра, ни одна живая душа слезы не прольет над могилой!»

Он посмотрел на меня колючим взглядом.

— А прокламашки-то на улице сеял, оказывается, ты.

— Откуда это видно?

— Когда еще в управе нас допрашивали, я догадался — ты. По глазам твоим понял. А сегодня улику добыл. Один крамольный листочек ты обронил в передок, притоптал ногами. Эти дела надо хитрее делать! И наставники твои хороши: не могли обучить.

Я не верил ушам своим.

— Не смущайся, однако, — миролюбиво сказал хозяин. — Доносить в полицию не пойду. За донос медали не дадут, а канители будет до черта. По судам как свидетеля затаскают. У меня своих дел хватает.

Я улыбнулся.

— Спасибо на добром слове, хозяин!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда я уже отчаялся найти место, вдруг повезло: поступил дворником к присяжному поверенному Валериану Семенычу Жукову. В двухэтажном каменном особняке было множество комнат. Наверху жили барин с барыней и горничная Панька, вертлявая девка лет двадцати. В первом этаже — кухня, кладовая и людская.

Жуков имел свой выезд. В конюшне стояли два рысака: золотистый с белыми бабками Святогор и гнедой Сокол.

Я подметал обширный двор, топил печи, убирал стойла, кормил рысаков, выполнял разные поручения. Панька то и дело спускалась в людскую, вытягивала лисью мордочку.

— Дворняжка, ступай на почту.

— Дворяжка, сбегай в кондитерскую за пирожным.

Гоняли к портному, в аптеку, за делами клиентов, и я бегал во все концы. Правда, здесь меньше ругали, не обыскивали, но иногда, измученный бегом, начинал думать, что служить у Агафона было не так уж плохо. Там я отдыхал по воскресеньям. Здесь в воскресенье и в будни — работа. Особенно доставалось, когда валил снег или разыгрывалась поземка. На дворе вырастали большие сугробы. Приходилось вывозить снег на санках к реке. Нудное дело! Я попросил для вывозки лошадей.

Кучер Силантий, ленивый, вечно заспанный, обросший рыжим волосом мужик, глянул так, будто его подговаривают на воровство.

— Надо сперва подумать, потом чесать языком. Дозволит хозяйка животных утруждать на таком деле? Знаешь, сколь рысак стоит? Нам с тобой за всю жизнь на одного не заработать.

Барыня, Ирина Филипповна, ходит медленно и прямо, будто аршин проглотила, презрительно щурится на всех. Дряблое лицо ее густо напудрено. Должно быть, у нее неважная память: она зовет меня то Сидором, то Никитой, то Никанором. Это смешно. Иногда я робко поправляю:

— Матвей.

— А не все равно? — говорит Ирина Филипповна.

Горничная Панька по секрету сказала мне, что барыня — дочь известного миллионера-мукомола — старше мужа на восемь лет. Валериан Семеныч женился на ней из-за большого приданого, и еще потому, что зятю миллионера, молодому безвестному адвокату, легко открывался «ход» в купеческий мир, где он собирался делать карьеру.

Валерьяну Семенычу под сорок. Он моложав, красив, статен. С нами держится просто, иногда шутит. Он кажется добрым и доступным для всех. Всезнающая Панька говорит, что барин «стреляет» за девочками, — где-то на заимке у него есть домик для тайных свиданий.

Огромный кабинет заставлен шкафами с книгами,

журналами. Книги дорогие, в кожаных переплетах с золотым тиснением на корешках. Однажды, растапливая камин, я набрался духу и попросил какую-нибудь книгу для чтения.

Хозяин дал томик Генриха Сенкевича.

— Только обращайся аккуратно.

При выходе из кабинета я столкнулся с барыней. Она увидела книгу в моих руках, зашипела:

— Это еще что такое? Кто позволил?

— Валерьян Семеныч.

— Вот новости! Поставь книгу на место!

Я вернулся в кабинет, поставил Сенкевича в шкаф. Хозяин молча посмотрел на меня, улыбнулся, развел руками. Это, наверно, означало: «Тут я, братец мой, помочь не могу. Видишь, какая она!»

С того дня еще больше возненавидел я Ирину Филипповну, и когда Панька, желая посплетничать, щебетала, что Силантий опять повез барина к «птичке» на свидание, я мысленно говорил: «Так ей и надо, нашей фуфуре!»

— Наш барин — первое лицо в городе, — говорит Силантий в людской. — Большие тысячи в месяц огребают. Ведет дела первогильдейских купцов, промышленников. Супротив него ни один прокурор не устоит. Коли Валериан Семеныч взялся дело вести, будьте покойны — выиграет. Мастер зубы заговаривать. Хотя, правду сказать, он с судьями делится — потому и везет в делах.

— Врешь!

— Чего врать? — посмеивается кучер. — Сам отвозил. Кому в пакетике сторублевую бумажку, а кому свиную тушу или бадейку меду, осетрины или там варенья бочонок.

— Что ты? — удивляюсь я, глядя на его спутанную бороду. — Нешто судьи берут?

— Мимо рта пропускают. Жалованье им не больно велико идет, а жить всяк человек хочет, у иных семья, детей обучать требуется, — вот и поддеюливают, где можно.

Я знаю: в деревнях урядники, старшины, волостные

писаря и судьи берут сырым и вареным, выносят неправедные приговоры, кривят душой. Но в городах, думалось, все по-другому. На белой стене окружного суда я читал золотые слова: «Правда и милость да царствуют в судах!»

Оказывается, правда — только на вывесках.

Помолчав, кучер хвастается лошадьми:

— Рысаки у нас первые в городе. Чистых кровей кони. У губернатора таких нет. Хозяева быструю езду любят. «Ежели кто обгонит на улице, тебя, Силантий, без промедления уволим». Ну, куда обогнать! Мы всех обгоняем: кони — чистые звери!

Голосок Силантия звучит мягко, конопатое лицо серьезно. Он может рассказывать с утра до вечера.

Порой к подъезду жуковского дома подворачивают мужики в рваных зипунах, с котомками за плечами. У них тоже судебные дела — с графом Строгановым, графом Шуваловым, князем Абамелек-Лазаревым и другими богачами, поделившими между собой богатейший край.

Горничная Панька отгоняет ходоков.

— Пошли прочь, нету барина и не будет. На охоту уехавши.

Если Панька занята, навстречу мужикам выходит Силантий. Держится он важно, ведет скуки ради пустые разговоры.

— Что приключилось, земляки? — ласково спрашивает он. — Опять бревна в чужом лесу порубили? Или княжескую землю оттягать вздумали?

Мужики снимают шапки, кланяются.

— Допусти, кормилец, к его высокому благородию, Валерьяну Семенычу. Нуждишка неотложная.

Силантий слушает длинный сказ о «нуждишке».

— Так, знаю дело. Что и говорить, это уж как пить дать. Ребятенки, чай, имеются?

— Мал мала меньше. Куда ж от них денесси?

— И жрать, верно, нечего?

— И-и, мил человек, к рождеству все подъели, и не знаем, как до весны дотянуть. Животишки подвело.

— Несчастные, стало быть, люди?

— Да уж куда хуже.

— Ах, сердешные вы мои! Горемыки, богом забытые.

В глазах мужиков — надежда. Все чаще срываются с языка их лстивые слова: благодетель, отец родной, кормилец.

А Силантий, вымотав из ходоков и просителей души, сладко зевает.

— Ну, хватит, покалякали. Ступайте по домам. Меня дела ждут: рысаков чистить надо.

Мужики снова кланяются.

Силантий надувает щеки.

— Проваливай, землячки!

— Допусти-ка, — может смилуется его высокоблагородие, выручит из беды? Ведь не даром: собрали с миру по нитке.

— Кишка тонка у вас нанимать барина, — ухмыляется кучер. — По синенькой за одно слово берет. Скажет сто слов — пятьсот целковых. Вот цена какова. С потрохами вашу деревню продать, и то навряд хватит. Поняли?

Он хлопает дверью и отходит, тяжело ступая ногами по паркету.

Мужицкая нужда мне близка и понятна. Я сержусь на кучера. Разве трудно Валерьяну Семенычу похлопотать за них?

— Чудак, — сухо говорит Силантий. — Только вникни в дело. Сколь в губернии графов, князей да дворян именитых? По пальцам перечтешь. А мужиков? Мильен. Мужик жрет редьку с квасом, в хлеб мякину подмешивает, а плодится нещадно, и все ему тесно, все мало. Вот он и сутяжничает с господами. Ну, теперь посуди: может государство потрафлять мужику и давить белую кость? Взять, к примеру, нашего рысак: он, поди-ка не одну сотню деревенских кляч перетянет, кровя у него благородные. То же граф и князь. Нешто Валерьян Семеныч супротив князей, супротив власти предержавшей пойдет?

— По закону просят.

— Да кто ж тебе сказал, что законы для мужиков писаны? Что такое мужик? Дым, туман, слякоти!

Почему-то думалось, что Валерьян Семеныч не знает, как выпроваживают мужиков Панька и Силантий. Я сказал ему об этом.

— Что, брат, поделаешь? — серьезно проговорил он. — Кончив университет, я хотел заняться мужицкими делами, защищать обездоленных, бедных. Хотел! Но ведь нищеты в России — океан. Разве всем сможешь? Тут любой адвокат бессилён. Беда в государственном устройстве. А начни «болеть» за мужика — нетрудно в Сибирь попасть. Я избалован жизнью, на подвиги не способен. Да какой герой вообще в силах помочь вымирающей, утонувшей в дикости деревне? Тебе трудно это понять...

Он достал из шкафа книгу, раскрыл ее, прочел вслух:

— «В течение зимы и лета бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут несогласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик».

Писал Антон Чехов. Это был трезвый ум, честнейший литератор, и он знал современную деревню! А ежели деревня такова, будет ли польза от моей заступы? Ну, выиграю два-три дела о порубке леса мужиками у графа Строганова. Бревна эти все равно пропьют, и жизнь не изменится. Понятно?

Я все понял и больше не пытался уговаривать хозяина хлопотать за мужиков: все, что сказал он, было нужно ему для оправдания своей собственной жизни...

По субботам у Жуковых собирались гости. Ужин затягивался часов до трех ночи. Потом мужчины разбредались по отдельным комнатам, садились за карточные столы, играли до утра. Игроки курили терпкие сигары, и приторный табачный дым волнами растекался по всему дому.

В воскресенье утром, после отъезда гостей, в доме начиналась кутерьма. Ирину Филипповну от табачного дыма мучила мигрень. Все ходили по комнатам на цыпочках, Панька выключала телефон, звонок у парадной двери обвертывала ватой, открывала все форточки. Мне наказывали нещадно топить печи, каминь. И боже упаси — стукнуть поленом о пол или хлопнуть печной дверцей! Даже легкое потрескивание ольховых дров в камине усиливало мигрень у хозяйки. Ирина Филипповна, укутанная в пуховую шаль, страдальчески морщилась и шипела:

— Пантелей, где достал такие ужасные дрова? Убери, замени другими.

Я вытаскивал из каминь горящие поленья, совал их в ведро с водой, выносил в кухню. Если новые поленья тоже трещали, хозяйка окончательно выходила из себя: грубо ругалась, топала ногами. Валерьян Семеныч посылал кучера за доктором.

Чем сильнее старался я в такие минуты не греметь и не стучать в комнате хозяйки, тем легче, оказывается, было устроить невероятный гром: осторожность — палка о двух концах. Открывая трубу голландской печи, я уронил чугунную вьюшку на паркет. Грохот получился отменный. Ирина Филипповна в истерическом припадке истошно допрашивала:

— Сидор, ты нарочно это сделал? Нарочно, да? Я прикажу тебя колотить по пяткам бамбуковыми палками!

Следовало, склонив голову, покорно слушать злые слова бесившейся с жиру хозяйки, но я не выдержал и расхохотался. Насмешили бамбуковые палки. Бамбук на Урале не растет, и я знал, что во всем городе вряд ли найдется одна палка, потребная для моего вразумления. Хозяйка хотела немедленно прогнать меня со двора, и лишь горячая защита Валерьяна Семеныча склонила чашу весов в мою пользу.

— Ну полно, любушка, полно, — уговаривал он хозяйку. — И так прислугу меняем каждые два месяца. Люди над нами смеются. Нельзя же так!

Великим постом Силантий заболел. Обязанности кучера временно переходят ко мне. По утрам отвожу барина в суд, потом катаю Ирину Филипповну. Укутанная в меха, она семенит от крыльца мелкими шажками, словно проходит через реку по жердочке, молча садится в экипаж. Выезжаю из ворот на улицу. И так весело мчатся на рысаке по звонким, обледенелым мостовым навстречу ветру!

Кузьма и Волчок опять устроились извозчиками у какой-то вдовы-мещанки. Мы встречаемся изредка на улицах. Они с завистью оглядывают статную лошадь, на которой я проношусь, как черт, дорогую упряжь и мой кафтан с галунами.

...Проезжая с барыней по главной улице, слышу позади цокот, жаркое дыхание разгоряченной лошади. Оглядываюсь: седой от инея жеребец полицмейстера. В санках женщина с белой собачкой на руках. Полицмейстерский кучер старается обогнать. Ирина Филипповна оглянулась, грозит рукою:

— Сидор! Обгонят — уволю!

Дался ей этот Сидор!.. Я натянул вожжи, хлестнул Святогора кнутом, а рысаков хлестать не следует. Жеребец закусил удила и понес. Полицмейстерский кучер нажимал. Скосив направо глаза, я увидел на козлах чернобородого истукана с медно-красным лицом. Во мне тоже проснулось что-то дикое, и я опять огрел Святогора кнутом. Рысак полицмейстерши, бежавший одно время почти рядом, отстал. Близок конец Главной улицы. Дальше обгонять негде.

Льдинка из-под копыт жеребца попала мне в глаз. Я вскрикнул от боли, опустил вожжи. Впереди улицу пересекал крестьянский обоз. Святогор сам повернул в переулок. На повороте санки со страшной силой ударились о тумбу. Оглобли переломились, как обрезанные пилой. Я кубарем вылетел на снег. Жеребец убежал налегке, без санок, и снежный вихрь крутился за ним.

...Хозяйка лежала возле тумбы, подвернув правую ногу, лицо ее было сведено судорогой, из разбитой головы текла кровь, окрашивая притоптанный снег. Сбежался народ. Кто-то суетливо приказывал кому-то бежать за доктором.

Ирину Филипповну уложили в санки проезжавшего мимо извозчика. Кто-то спросил адрес.

Как в чаду, я побрел в особняк Жукова.

«Что теперь будет? Рассчитает Валерьян Семеныч? Может, посадит в острог?»

Лежу в людской голодный и одинокий. Никто не бранит, не допрашивает.

...Горничная Панька вынесла паспорт, пять рублей денег.

— Убирайся-ка, малый, на все четыре стороны. Твое счастье, что барин даже радуется смерти Ирины Филипповны. Руки у него теперь совсем развязаны. Скоро женится на молодой, и будет хозяйкой нашей Валентина Георгиевна. А то — не миновать бы тебе острога.

— Повезло сиволдаю, — ухмыльнулся кучер. — Благодарю бога и отставного генерала дочку — Валентину Георгиевну.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В день свиданий я зашел в острог.

Дед еще не знал, что я без места. На лице у него радость.

— Приятеля твоего отыскал. Николая Павловича Яхонтова. В одиночке держат, строго. Человек душевный. Через глазок побеседовали.

Я рассказываю о своих мытарствах. Старик задумался.

— Ступай, Матвеешко, в деревню. Не ко двору, видать, пришелся в городе.

— А как же ты? И передачу никто не принесет.

— Ничего, милой, вытяну, привыкать стал, — молчит он головой. — Тебе жить надо, мне — умирать. Да и недолго здесь пробуду. Есть слушок — после суда всех политиков погонят в Сибирь.

И опять я брожу по городу, ищу работу. Везде просят бумажку от прежнего хозяина. Ни от Агафона Петровича, ни от Валерьяна Семеныча я бумажку не взял, и всюду — отказ. Удивительное дело! В большом

городе нет дела для одного человека. Часами простаиваю у заводских ворот, прислушиваюсь к реву гудков. Беседы с Николаем Павловичем, встречи с мастеровым людом причудили меня уважать завод, ценить и любить рабочего человека. Стоять за станком, управлять машиной, создавать своими руками вещи, необходимые людям, — что может быть лучше? И в какое сравнение с этим трудом можно поставить труд извозчика, развозящего пьяных купцов и офицеров по Сахалинам да ресторанам, или труд дворника, подметающего улицу?

Яхонтов рассказывал, что многие мастеровые учатся на вечерних курсах, выписывают газеты, журналы.

Я должен стать рабочим, только рабочим, и никем другим быть не желаю! Но даже в маленьких кустарных мастерских все станки заняты.

Сколько раз обошел я город от края до края. Ветер забирается под куртку, леденит спину, а я стою против заводских ворот.

«Может, сегодня возьмут? Умер кто-нибудь — и место освободилось? Мало ли что бывает».

Из проходной выходят мастеровые, отработавшие смену, у них лица и руки черны от копоти, глаза воспалены, одежда испачкана машинным маслом. Они на ходу перекидываются словами, и кажется, в голосах звучит радость.

Счастливы!

Я опять очутился в 'ночлежке. Пахнет гнилью, зловонием. В тусклых корпусах, на грязных нарах, копошится людское охвостье: мелкие воры, безногие и безрукие уроды, слепые, глухонемые, нищенки, потерявшие человеческий облик пьянчуги. Отвратительный муравейник. Ночью драки, поножовщина. Изрезанных, убитых увозят в больницу. Часто наведывается полиция. Кого-то ищут, куда-то уводят.

Злобная сварливость обитателей ночлежки необъяснима. Калеки, в синих и багровых подтеках, словно поросшие плесенью, навсегда утратившие способность смеяться, похабно ругаются хриплыми голосами, ни с того ни с сего хватают друг друга за горло, падают, кликушествуют с пеной на губах. Глядя на них, не верится, что в городе есть чистые квартиры, населен-

ные здоровыми, счастливыми людьми. Ночлежка напоминает собой таежную падь, где гниет бурелом, отравляя чистый лесной воздух.

Я задыхаюсь в этом омуте.

Многие прожили тут годы и не пытаются выбиться на поверхность. Что же это такое? Ведь они, как я, были когда-то молоды, на что-то надеялись, чего-то ждали, искали свою жар-птицу...

Забываюсь только во сне.

Вспоминаю адрес рыжего Миши Галандина, с которым познакомился у Николая Павловича. Авось поможет, даст дельный совет. Иду к нему вечером, стучу в калитку. Выглядывает седобородый старичок.

— Мне бы Мишу повидать.

— Забрали в тюрьму, — отвечает старик. — Ты дружок его будешь, что ли? Осторожней ходи. В переулках псы из охраны дежурят. Кабы не замели. Народу похватали ужась сколько.

Я бегом пустился в ночлежку, и чудится — по бокам бегут черные тени, вот-вот крикнут: «Стой!»

Других приятелей Николая Павловича не разыскиваю.

Кругом стоят каменные громады, наводящие тоску. Вспоминается первый день, проведенный в городе. Так же, как сейчас, я слонялся, подыскивая работу, и серые загоны улиц теснили, давили со всех сторон. Холодная осенняя пыль, камень, кирпич, асфальт; ни цветка, ни клочочка зеленой травы, чтобы порадовать глаз. Иногда я пытался выйти к окраине, хоть на миг взглянуть на простор, напоминающий Кочеты, и попал в тупик. Город держал меня в плену. Я чувствовал себя запертым в ловушке. Теперь я не новичок. Мне известны многие тайны города...

Шагаю, опустив плечи, ничего не видя перед собой. Подхожу к ночлежке и не могу переступить порог. Опять к ворам и калекам? Опять слушать надоевшие жалобы, стоны, ругань и несусветное вранье, от которого тошнит? Довольно! Буду лучше спать на скамейке в городском саду. Кто прогонит оттуда?

Полдень. По-весеннему греет солнце. На снегу свер-

кают первые лужицы, голые деревья качаются под ветром.

Скоро будет тепло. Забушуют ручьи и реки, камни заговорят в воде. В Кочетах начинается весна. Казалось, слышу крики птиц над бурой, вспотевшей землей. Летят журавли, кружатся над моим скрадом. Я поднимаю ружье...

Кто-то негромко окликает меня. Вздвогнув, открываю глаза: учитель Федор Павлович Гладышев, сидя в задке цветной бородулинской кошевы, сдерживает гнедого мерина.

— Ну, иди сюда, блудный сын, поведай, как живешь.

Подбегаю к нему.

— Приезжал в земскую управу по школьным делам, — говорит учитель. — Бабушка твоя наказывала: огыщи, дескать, внука, попроси денег и письмишко. Я искал, искал, совсем уж отчаялся найти, возвращаюсь в Кочеты, а тут, глядь, на ловца и зверь бежит. Да ты что молчишь?

Я рассказываю все. Гладышев качает головой.

— Несчастные страдают в ночлежках и гибнут потому, что у них нет земли, им некуда податься. Другое дело ты, Матвей. Тебя ждет земля. Земля, на пышной и щедрой груди которой, как чирьи, неизвестно почему, выросли эти подлые города с тюрьмами, церквами, кабаками, Сахалинами, тысячами безработных и босяков. Земля примет тебя и за муки, перенесенные в городе, наградит покоем и счастьем. Едем, что ли, байстриук?

Я еще колеблюсь.

— Есть в Кочетах нечего, Федор Павлович. Здесь худо, и там нехорошо. Как быть — не знаю.

Он хмурится.

— Как хочешь: не маленький. Люб город — оставайся, проси подавание под окнами, гложи рыбы головы, вылизывай вместе с собаками консервные банки на помойках. Авось сдохнешь где-нибудь в мусорной свалке: завидная доля. Эх, Матвей!

Он стегнул мерина, едет шагом вдоль улицы. Я догоняю его, сажусь в кошеву. Выезжаем на окраину, пересекаем обледенелый холм, спускаемся в долину.

Я оглядываюсь. В небе горят далекие купола городских церквей.

Темно и смутно в душе. Мысли о том, что город вытолкнул меня, как пробку из бутылки, вгрызаются в сердце. Чувствую себя маленьким и несчастным, как в те дни, когда дед не брал на соболевку.

Но все-таки не прощаюсь с городом навсегда. Нет. Город двоится в моих глазах. На одной стороне маячат хозяева, домовладельцы, городовые, пройдохи, жулье, а на другой — Николай Павлович, умный, сердечный старик Иван Иваныч, добродушные парни Горькой слободы, веселая заводская мастеровщина. Слова учителя не доходят до моего сердца.

«Ничего! Когда-нибудь вернусь...»



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Промысел — дело гадательное: когда густо, когда и пусто. Бывают годы — белка и куница уходят почему-то в дальние места, и охотники за всю зиму добывают несколько штук на ружье.

Я решил засеять всю пашню, поднять десятину целины, чтобы не зависеть от капризной удачи в тайге.

Заготавливаем семенной ячмень. Денег нет. Продаем холсты, половики, дедовы бахилы, кое-что из одежды. Подсчитали — не хватает. У бабушки хранится в сундуке лисья шуба — дедов подарок в удачливый год. Старуха надевает ее раз-другой в зиму и очень бережет от моли, постоянно вытряхивает, перекладывает пихтовыми лапками. Не поднимается язык говорить о шубе, хотя знаю, что дадут за нее пудов пятнадцать. Однако догадливая бабушка сама выкладывает на стол сокровище.

— Снеси, Матвей, в Ивановку. Пофорсила, нагулялась Наталья Денисовна в лисьей шубе, обойдется и без нее.

Шубу продал и, чтоб успокоить старуху, обещаю:

— Не горюй, бабушка, выпадет хороший год, новую справлю.

— Куда уж! — отмахивается она. — В понитке прохожу, лишь бы хозяйство поднять.

Семена готовы. Новая забота — добывать лошадь. Мерин дяди Нифонта охромел, еле ходит. Надеяться на него нельзя. В деревне один человек, который может

нас поддержать: староста Семен Потапыч. Он с каждым годом лезет в гору. Поля обрабатывают должники или помочане за стакан водки. Семен Потапыч, как уполномоченный по надзору за лесом, получил от графской конторы парусный ботник, шныряет по горным речкам: продает спирт, дробь, порох, скупает пушнину.

Бабушка хочет идти с поклоном к старосте. Я не пускаю старуху: нечего унижаться перед таким жмотом!

— Да он уж старое забыл. Мало ли чего промеж соседей бывает. Подойдем поласковее, поклонимся пониже — простит, не каменный человек. У него три лошади на дворе, не считая выездного жеребца. Окромя Семена Потапыча, куда пойдешь? Или меня на старости лет в соху запрячь надумал?

Я наконец сдался. Перед пасхой отправляемся к Бородулину.

— Насчет коня, Семен Потапыч, — кланяясь, говорит бабушка, — дай вешну вспахать, взборонить, не откажи, благодетель.

— Ха-ха! Благодетель! А кто срамил на всю деревню? «Бородулин — живоглот. Бородулин — мошенник». А приперла нуждишка — Семен Потапыч, пожалей. Ды-ть как вас жалеть, злоязыких да дерзких? Кто чурку с порохом в печь подсунул? Кто спалить грозил?

Я смотрю в потолок и молчу. Слова старосты камнем падают в мою душу. Хочется ругаться, а нужно слушать с покорностью на лице.

— Несмышленьш он, Матвейко-то, пустая голова, не серчай, — говорит бабушка. — По гроб жизни помнить будем.

— Несмышленьш, а лаяться да пакостить горазд. От такого змееныша добра не жди. Подрстет еще — по дедовой дорожке прямо на каторгу.

Он долго ворчит, вспоминая старые обиды.

Однако бабушка уламывает его.

— Ладно, Денисовна! Коли время такое подоспело, мы, православные, обязаны помогать друг дружке. Бог велел прощать супостатов. Я прощаю...

Рядимся о цене.

— Мерина даю, — загибает палец староста. — Вы осенью пудиков сорок ячменя привезете, вспахать можете, сено убрать кликну деньков на пять — вот и все. Я по-божецки, вас жалеючи, соглашаюсь. Мне что? Рукой махну — сто человек сбегутся пособлять. Семена Потапыча уважают.

Я хочу поторговаться, раскрываю рот, бабушка поводит бровью, строго кашляет.

Семен Потапыч достает с божницы листок засиженной мухами бумаги, расправляет на столе.

— Поставь-ко тут на всякий случай фамилию, а условия, как договорились, потом заставлю внести писаря. По закону обстригает.

Я расписываюсь. Бабушка следит за моей рукой, выводящей прямые крупные буквы. Бумаги внушают ей страх.

Целую неделю собираем на выгоне в лесу коровий и конский помет, таскаем к полю. Пашня запущена, давно не уваживалась. Надо постараться.

Наступает время сева. Я обрабатываю свой надел и широкие полосы Семена Потапыча. Радостно ходить за сохою по мягкой земле, слушать воркотню жаворонков. От тайги к полям наплывает горьковатое тепло. Мошкара пляшет над бороздами. Как много возни с целиной! Корчую молодую поросль. На целине обычно сеют лен или коноплю. Я — овес и горох. Приходится разрыхлять пласты топором и граблями, разбивать колотушкой каждый комок, месить землю, как тесто. Весна дружная, дождливая. Ячмень и овес всходят хорошо. От сырости на полосах вырастает сорняк, грозит заглушить посевы.

Кочетовцы не занимались прополкой яровых. Я от зари до зари ползаю на коленках по пашне, выдираю желтуху, чернобыльник, пырей, лебеду. И как быстро ни работаю, сорняки обгоняют: через два-три дня снова расползаются по всему полю, как лишай. Пальцы мои потрескались, по вечерам болит поясница. На коленках язвы, опухоли. Едва удалось покончить с сорняками — новая напасть: улитки, слизняки, долгоносики, прожорливые гусеницы, травяные кобылки, червяки. Они взбираются на стебли, стригут, сосут, по-

едают мой хлеб. Обкуриваю поле дымом, посыпаю из лукошка золой.

— Бога перехитрить хочешь, Матвей? — посмеиваются соседи. — Не удастся!

«Посмотрим, кто кого перехитрит».

Полевая работа захватывает. Бросаю охоту и рыболовство.

В конце мая начался суходей — редкий гость в наших краях. Солнце жжет поля, скрючивает молодые побеги, земля покрывается трещинами.

Что-то гнетущее и унылое в нескончаемой жаре. Птицы молчат даже по утрам. Листья на березах, рябине, черемухе пожелтели, как в сентябре, свертываются и опадают. Трава ломается под ногой. В тайге исчезли родники, маленькие речки. Только не сдается большая река. Обмелевшая наполовину, она тихо катит воды мимо деревни. Вековые болота просохли. Там, где были озера, — ковшеобразные ямы с трещинами по всему дну. Вороны и стервятники слетаются к ямам, клюют подошедшую рыбу. В котловинах, блестящих от подсыхающего ила, белеют вороха рыбьих костей. В лесу мертво и тихо. Клюква, брусника, морошка — все погибло. Шишки елей и сосен падают на обугленную траву, словно кто подрезает их ножницами. Хвоя на старых деревьях краснеет, осыпается. Толстые кедры стоят, как высохшие рогатые скелеты. Воздух горячий, грозово-тусклый. Порою с гор выходят черные дождевые тучи, гремит гром. Над лесом сверкают молнии. Вот-вот ударит ливень, которого ждут все. Но каждый раз дождь убегает далеко в низовья. Камни в руслах пересохших речек побелели, так нагреваются от солнца, что нельзя тронуть рукой.

Никто не ходит в лес, не стреляет, не разводит костров. Боятся пожара.

И все-таки однажды в полдень у склона Ястребиной горы взметнулся лисий хвост огня, тайга запылала. Легкий ветерок дует в сторону деревни. Я сижу на крыше. Птицы с криком летят над лесом. И как быстро разливается жадный треск огня! Смоляные пихты дымятся, сверкают золотом углей, шевелятся, как живые. На березах вспыхивает вначале кора и быстро

потухает. Кедровые деревья загораются медленно, будто выполняют скучную повинность, а потом пылают ярче всех деревьев. Дым закрывает небо. Скот с ревом бежит к деревне. Окидываю взглядом тайгу. Огонь пляшет на горах, в долинах. Моховые болота, где мы стреляли косачей, вспыхивают оранжевым светом, как посыпанные порохом. Валяются деревья. Все кругом сереет, покрывается рыжей ржавчиной, рассыпая зеленовато-красные искры. Горящие лапки ельника с веселым треском поднимаются над красным морем, летят по ветру, разносят пожар в новые места. Трава курится густым синим дымом.

Звери выбегают из леса и, не боясь людей, возле самой деревни скачут по берегу. Волчица, опустив до земли хвост, прижав уши, бежит рядом с зайцем, не трогает его. Лоси, медведи, фыркая, переплывают реку. На той стороне встряхиваются, проворно бегут на запад. Глухари кружатся в дыму и, обессиленные, садятся в горящий можжевельник. Мужики скашивают литовками сухую траву на окрайках, чтобы огонь не подобрался к хлебам. Бабы поливают стены и крыши водой. Во дворах воют собаки.

А воздух душен, жгуч, нестерпим. Невозможно дышать в смрадной и едкой духоте.

Ночью светло, как днем, и еще страшнее. Когда рассеивается дым, в небе — сверкающие полосы огня. Мы спим не раздеваясь. Только сомкнешь глаза, прикорнув на крыльце или в сарае, опять верещит колодушка ночного сторожа, дяди Михея, и звонкий голос тревожит людей:

— Вставай, мужики! Лапки летят, не загорелось бы.

В каждой семье дежурят на крыше с ведром воды.

Стаи белых куропаток садятся на огороде, бродят меж гряд капусты. Подхожу к ним. Они прижимаются к земле, закрывают глаза. Должно быть, спасаясь от огня, птицы натрудили крылья, не могут подняться. У многих перья на спинках обожжены, почернели. Осторожно глажу их.

— Напугались, миляги? Ну, ничего, отдохните.

Огонь бушует неделю. У бабушки пожелтели щеки,

она почти ничего не ест. Не понимаю, как старуха все-таки держится на ногах. Избы черны от копоти. Удивительно, что не загорелся ни один дом.

На восьмой день хлынул дождь, и огонь потух.

Я иду в тайгу.

Кое-где чадят головешки. Над торфяным болотом вишневый столб дыма, и багряное, как шиповник, солнце низко висит над лесом. И так тоскливо на пожарище, будто у самого горьким пеплом выжжено сердце. Кругом — ни зверька, ни птицы. Даже утки не плавают на протоках. У самой дороги под корневищем — обгорелая туша медведя.

Леса горели каждое лето, и к пожарам привыкли, как привыкают к дождю и снегу. Но пожар того года надолго остался в памяти у всех.

Зной не спадает. Травы и хлеба высыхают окончательно. Надо спасать посевы.

Я копаю канавы, поливаю свое поле. Воду приходится возить с реки на тележке. Опрокинув кадушку на край поля, в главную канаву, смотрю, как, журча, разбегается вода по бороздам, как затягиваются трещины в напоенной досыта земле. Голодное поле ненасытно, требует еще и еще.

«Не уступлю, — думаю я. — Хватит воды в реке».

Бабушка стара и слаба. Мать не помогает, наводит тоску карканьем:

— Все равно ничего не выйдет. Брось, Матюха.

У нее опустились руки. Жалко смотреть, как она ходит по усадьбе, хнычет, молится богу.

Сколько я перетаскал воды по крутому берегу! От лямки жжет плечи, подсекаются ноги. Черные круги плывут перед глазами. На миг теряю сознание, падаю. Вода проливается на полпути к полю.

Труд не пропал даром. Ячмень поднимается густой и ровный. Колосья тучнеют, наливаются крупным зерном. Земля возвращает мой пот и кровь.

— С хлебом будем, Матвей, — радостно вздыхает бабушка, оглядывая волнистые гоны ячменя и овса.

В моем сердце — огромная спокойная радость. Пусть трещат зимою морозы, воеет под окном вьюга. Запасу дров, на столе будут каждый день ячмен-

ные пироги. Насушим сухарей, пошлем дедушке в острог.

Убираю хлеб раньше всех. Осень солнечная, сухая. Ячмень подсох в поле. Принимаемся за молотьбу. Весело стучат на току цепи. От ударов ломаются колосья, и янтарное, налитое зерно осыпается, радуя глаз.

В воскресенье везем Семену Потапычу долг. Он взвешивает на весах мешки, отмечает в книжке, хвалит зерно. Бабушка стоит рядом со мной и наблюдает, чтобы староста не обвесил. Кончены расчеты. В амбаре осталось пудов шестьдесят.

Сдаю мерина Семену Потапычу, встряхиваю пустые мешки.

— Остатнее когда привезешь? — спрашивает Бородулин.

Бабушка вздрагивает.

— Ты о чем, Семен Потапыч?

— Ай не знаешь? — усмехается староста. — Будя дурака валять. За тобой еще сорок пудов.

— Семен Потапыч! Что ты плетешь?

— Не ори. Я давно Семен Потапыч, а по условию ты обязан привезти восемьдесят пудов.

Мы горячимся, спорим.

Бабушка плачет. Беру ее за руку, веду домой.

— Матюша, что теперь будет? — бормочет она. — Ограбит, ненасытная утроба.

— Не ограбит, — успокаиваю старуху. — Пусть придет: в шею вытурю. Восемьдесят пудов? Приснилось ему, что ли?

Дома весь вечер толкуем об этой беде. Мать и бабушка встревожены.

На другой день из Ивановки приезжает урядник Финогеныч. Не поздоровавшись, садится за стол.

— Почему долг старосте не уплатил?

— Уплочено. Все сполна отдали.

— Сколько?

— Сорок пудов.

— Подпиши на бумаге: «Уплатил сорок пудов».

Не ожидая подвоха, смело ставлю подпись. Урядник достает из кармана другую бумажку.

— А эта подпись внизу твоя?

Чувствую, как начинают дрожать ноги.
— Грамоте знаешь? Прочти, пожалуйста.

Читаю вслух:

— «Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне деревни Кочеты, Семен Потапыч Бородулин, с одной стороны, и Матвей Алексеевич Соломин, с другой стороны, заключили настоящее условие в том, что первый одалживает второму лошадь для вспашки вешны, паров и бороньбы, а второй обязуется осенью уплатить первому восемьдесят пудов ячменя, каковой должен быть сухим, чисто провеянным и отсортированным. Кроме того, Матвей Соломин обязуется помогать С. П. Бородулину, когда потребуется в хозяйстве, на сенокосе и уборке хлеба. В случае нарушения сего договора одной из сторон дело передается в волостной суд для взыскания, а также возмещения всех проторей и убытков, вызванных тяжбой. К сему подписуемся».

Тут стоят каракули Семена Потапыча и моя подпись. Внизу — печать волостного правления.

Бабушка так испугалась, что даже не плачет. Я объясняю Финогенычу, как объегорил нас Бородулин, заставив подписать чистую бумажку, а потом вместо сорока вписал восемьдесят пудов.

— Ничего не знаю, — говорит Финогеныч. — Я не был, когда условие сочиняли, а бумага правильная, законную силу имеет. Насыпай мешки. У меня делов, знаешь, сколько. Один на всю волость, а вас, чертей, сотни.

В избу входит староста.

— Где у тебя совесть, Семен Потапыч? — с горечью спрашивает бабушка. — Не было того в уговоре, что написано.

— Как не было? Вы запомнили. Видит бог, запомнили. Хошь — под присягу пойду. Соседским добром отродясь не корыстовался.

— Не было, не было! — горячится бабушка. — Хорошо помню. Разорить надумал. Нам до рождества хлеба не хватит. Отрыгнется тебе чужая беда, Семен Потапыч.

— Не пори горячку, Денисовна! — звонко кричит Бородулин. — Зря прибедряешься. Вся деревня знает,

сколь вы хлеба собрали. На зерно в городе цена падает. Что восемьдесят пудов? Я и так убыток терплю. Еще за порванный гуж не взыскал, у бороны зуб сломали. Следовало накинуть пудиков пять, да ладно уж, бог с вами.

Бабушка ахает, спорит. Мать с застывшим лицом стоит у печки.

Урядник молча сидит за столом. Семен Потапыч так горячо клянется и божится, что меня охватывает сомнение:

«А может, в самом деле я запамятовал?»

Батрачка Семена Потапыча, Секлетяя Коровья смерть, с понатыми нагребает из нашего амбара девять мешков ячменя и мешок овса. Финогеныч помогает укладывать зерно в телегу. Бабушка отвернулась от окна, чтобы не глядеть, как хозяйничают чужие на дворе. Нагруженная хлебом телега проплывает по улице.

Мать подходит к божнице, крестится.

— Бог! — говорит она громко. — Ты видишь, что делается? Видишь или не видишь?

— Отойди, Степанида, — просит бабушка и, взяв мать за руку, ведет ее к лавке. — Что ты, безумная! Разве можно так с богом?

Мать закрывает руками лицо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пришло письмо от деда: состоялся суд. Всеволоду Евгеньевичу дали десять лет, деду и Николаю Павловичу Яхонтову — по восьми, Зинаиде Сироте — пять. Осужденных держат в губернском остроге, насчет отправки в Сибирь ничего не известно.

У дяди Нифонта загорелась конюшня. Красные ошметки летят вдоль деревни. Дяди нет дома: он рубит в лесу дрова. Я кидаюсь в пылающий двор — вывести хромого мерина. Подгоревшие балки обломились, мне обожгло бок, повредило ногу.

Ивановский фельдшер что-то режет в моей ноге. Кричу от боли, бранюсь.

— Молчи, — уговаривает фельдшер, — а то без ноги останешься, охотник.

Уложив ногу в лубки, лекарь уехал. Рана в боку гноится, долго не заживает.

За зиму бабушка продает все, что можно продать.

Только весной поднимаюсь наконец с постели.

И как мало нужно человеку! Радуюсь, что здоров и, не хромя, могу бежать с удочками на Полуденную — ловить окуней.

Мать очень любила отца, смерть его подорвала ее душевные силы. Она часто, неведомо чего, пугается, вздрагивает, плачет. Иногда с ней случаются припадки.

Она исхудала, на нее страшно смотреть. Монашка, гостившая весной, подговорила ее уйти в кержацкие скиты. Перед уходом мать ссорится с бабушкой, не садится за стол обедать. Бабушка теперь совсем старая, худая и сгорбленная.

— Не дури, Степаха. У тебя сын есть.

— Надоело все, маменька. Матвей вырос, без меня проживет. Не отпустите — руки наложу.

— Терпи, — просит бабушка. — Мука твоя на том свете зачтется. Али одна терпишь? Он все видит, бог-то. Сожми сердце в кулак и живи.

— Мочи нет! — выкрикивает мать. — Натерпелась.

В день ухода мать добрая, печальная. Положив мою голову к себе на колени, гладит меня.

— Сиротинка несчастная, горемыка...

Я провожаю ее до таежной тропы.

— Что будешь там делать, мамка?

— Грехи замаливать.

— Скоро придешь домой?

— Не знаю, сынок. Может, умру в скитах: не поминай лихом.

Какие грехи у матери? Чем она провинилась? Хочется спросить, но пугают сухие, горящие глаза: может наговорить такое, после чего страшно будет жить. И она уходит, не открыв своих грехов. Панева болтается на ногах и хлопает под ветром, как крылья. Стою у изгороди, смотрю вслед. Мать не оглянулась.

День ясный. В березнике посвистывают молодые дрозды.

Иду к озеру — посмотреть на уток. Чирки-хлопунцы поднимаются на крыло, делают круги над водою. Кряквы уже проворно летают.

Скоро можно стрелять.

Дома застаю бабушку.

— Не отговорил мать? Скоро умру, пуговицу тебе никто не пришьет. Один, как синь порох в глазу. С кем жить станешь?

Я молчу.

— Деда упекли, отца нет, мать от двора откачнулась. Беда на беду по нитке идет.

Неожиданно бабушка говорит:

— Женить тебя надо, Матвейко: что гусь без воды, то и мужик без жены. По нужде и в шестнадцать лет женятся, а тебе восемнадцатый.

Я не согласен. Пусть думать не смеет об этом.

— Земля запущена, хозяйство на волосу висит, — не унимается бабушка. — Да не верти головой-то. Я сегодня жива, завтра ноги протяну. На том свете бог ответ потребует: «Как ты, Наталья Денисовна, внука на путь наставила?» А что отвечу? Оженю, правнука дождусь, умру спокойно, и не стыдно будет предстать пред светлые очи господни.

Я сижу с бьющимся сердцем. Вот еще напасть!

Разговор о женитьбе повторяется изо дня в день. Бабушка действует исподволь, не приказывает, а просит, и столько теплоты, ласки в немудрых ее словах!

Бабушка даже нового учителя подстрекнула уламывать меня. Федор Павлович заходит в избу, начинает елейный разговор:

— Это хорошо — женитьба. Якорь будет брошен, и тебе не оторваться от земли, Матвей. Пойдут дети — новые якоря. Вкушать хлеб, возделанный своими руками, и медок, добытый своими пчелками, пить молоко своих коров... Что может быть лучше? Поверь: счастье в земле! Люди, тоскующие в душных городах, рано или поздно это поймут, и города опустеют: все вернутся в леса и поля, к солнцу и воде, к истокам радостной жизни. Лошади нет? Трудолюбие и терпение

все превозмогут. Будет со временем конь, будет хлеб в закромах. Женись, молодой человек!

Дядя Нифонт страшает, что бабушка скоро умрет и некому будет хлеба испечь. Ему вторит Палага Лариониха. И сам дядя Ларион — непутевый коммерсант — подбивает меня жениться.

Когда несколько человек твердят одно и то же, очень трудно выдержать напор. Я сдался и сказал бабушке:

— Посылай сватов!

— Вот и ладно, — обрадовалась она. — Поедем на смотрины в Ивановку, к Ермилу Потяеву. Дочь у него, Анна, одних годов с тобою. Девка, говорят, работающая, скромная.

Дядя Нифонт запрягает в телегу мерина. Я надеваю отцовские штаны, новую рубаху. Мерин тоже принаряжен: в гриве алые ленты, на шее гремят ширкунцы, на спине широкий ременный перевес с медными бляхами, начищенный пемзой до блеска. Мы с бабушкой садимся в задок, дядя — на облучке.

— Все, как у людей, — улыбается бабушка. — Спасибо, Нифонт Савельич. Только бы господь послал удачи. Обеднели мы, правду молвить, не заломался бы Ермил Потяев.

— Есть о чем горевать, — куражится дядя, — на девок ноне урожай. Не столкнемся — найдем другую. Женишок козырной. Всем вышел: и ростом, и удалью, и в работе никому не уступит. Баловства за ним не чутко. Ты, мать, не попади впросак с приданным-то.

— Что такое? Не пугай, Нифонтушко, я и так боюсь.

— Народ всяк пошел, к смотринам понатаскают чужого добра, а потом — кукиш с маслом: жених в дураках останется.

— Что ты? Что ты? — Бабушка испуганно машет руками. — Нешто можно обманывать? У нас, в Кочетах, отродясь такого не бывало.

— То Кочеты, а то Ивановка. Начистоту надо, без фальши. Я, как родня и сват, должен упредить, а там — что хошь делай.

У Потяевых полная изба народу. Невеста, в кубо-

вом сарафане, в желтой кофте, со стеклянными бу-сами на шее, выходит из горницы, кланяется нам. По заведенному обычаю, невесту сажают на лавку, же-ниха напротив нее — на стул.

— Гляди, Матвей Алексеевич, гляди как следует, на всю жизнь выбираешь, — говорит дядя Нифонт.

В избе тихо. Даже ребятишки, возившиеся дотоле на полатах, угомонились. Мне стыдно. Бабы и мужики смотрят, ждут.

Я окидываю взглядом желтые волосы невесты, пе-ревитые алой лентой, всю ее крепкую, стройную фи-гуру, и глаза наши встречаются.

— Ну, Мотя? — спрашивает дядя Нифонт.

Надо ответить, хороша ли невеста. Мы совсем не знаем друг друга, не успели поговорить, а уже сводят на веки вечные.

В самую последнюю минуту думаю о том, что, мо-жет, обождать немного с женитьбой, но невозможно обидеть девушку при свидетелях.

— Вполне хороша, — говорю я, и сердце обры-вается, словно подписываю страшный приговор.

Ермил Потяев, еще не старый, плотный мужик с окладистой русой бородой, вздыхает, крестится.

Соседи наперебой галдят, что Анна — девка хоть куда, что изъянов у нее никаких нету, что всем она вышла: и лицом хороша, и все у нее кипит в руках.

Курносый мужичонка, дядя невесты, поздравляет, просит поднести «хощь маленький стаканчик». В избе шум. Поздравления и шутки — со всех сторон. Ба-бушка оторопело мигает. Тут вмешивается дядя Ни-фонт, вспомнивший о том, что он сват.

— Нет, стой. Нас на кривой не объедешь. Мы хо-тим, чтобы без обману, по всей форме. Пусть Анна Ермиловна покажет себя, как порядок требует. Торо-питься некуда. Верно, старички?

Старички согласно кивают. Курносый мужичонка начинает шуметь, что напрасно затягивают дело. Его стыдят, и он умолкает.

— Действуй, Анна! — кричит Ермил дочери.

Невеста, под смешок соседей, идет по избе, пля-шет, подметает пол, прыдет, даже садится за стоявшие

в углу кросна, несколько раз прогоняет по основе челнок, прихлопывает бердом. Все проделано ловко и весело.

— Молодец, Анна Ермиловна, — говорит дядя Нифонт. — Много вам благодарны.

Оглядываюсь на бабушку. Она тоже зарделась от счастья: невеста ей нравится. Потом дядя и бабушка отправляются с Ермилом в клеть осматривать приданое. Мать невесты подносит соседям ковши пенной браги. Я чувствую себя неловко. Невеста, осмелев, разглядывает меня, о чем-то спрашивает, а я сижу, уставившись глазами в стену, и ничего не понимаю.

Пришла бабушка, шепчет мне в ухо:

— Нельзя сказать, чтобы много всего, ну на первое время хватит, одежда добротная, одеяла, подушки, перина... Уж так-то я рада за тебя, так рада!..

Сваты сговорились. Мы с невестой берем друг друга за руки. Опускаемся на колени. Ермил Потяев накрывает нас потемневшей иконой. Благословение состоялось.

Девки затягивают песню:

Кто у нас в беседе,
Кто богатый человек?
Матвеюшко богат,
Алексеевич хорош.

Бросаю певуньям на блюдо серебряную мелочь.

Дядя Нифонт откупоривает полуштоф. Курносый мужичонка пьет, крикает, лихо откалывает трепака.

Хлопоты первого дня кончились.

В воскресенье — свадьба. Срок надвигается, как часовая стрелка, и мне страшно: чувствую, что жениться не могу. В воскресенье утром беру фузею, набиваю пестерь сухарями и, сбежав в тайгу, неделю не прихожу домой. Меня ищут в лесу, в камышах возле озер. Не находят.

Вернувшись домой, объясняю бабушке причину бегства. Как она сердится, старуха!

— Девку ославил, обесчестил на всю волость. Да Ермил Потяев голову твою непутевую колом разобьет,

и никто его не осудит. Разве можно шутить в таких делах? Высватали, благословили, мяса наварили свадьбу играть, а женишок в бега пустился.

Я молчу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Приближается начало охоты по перу. В Петров день стар и млад выходят на промысел. В хорошие годы за неделю на одно ружье добывают много уток, гусей, тетеревов, рябчиков, глухарей. Птицу солят в кадках, вялят на солнце, коптят в банях и питаются ею до рождества. Я готовлюсь к охоте. Есть при этом такая думка. Я тяжело переношу ссору с бабушкой. Помирить нас теперь может богатая добыча. Стоит притащить мешок птицы, бабушка забудет все, и станем мы жить душа в душу. А потом — надо послать копченой дичи деду, Зинаиде Сироте, Всеволоду Евгеньевичу, Николаю Павловичу Яхонтову. Дядя Ларийон часто ездит в город: он отвезет мои дары заключенным...

Чищу и протираю керосином дедушкину фузею. На последние деньги покупаю пороху, дрови и, для всякого случая, десятка два медвежьих пуль.

Накануне Петрова дня иду к Семену Потапычу за свидетельством. Эти месяцы я вел себя смирно, не задирал старосту, и надеюсь — не откажет. Лишить охотника права на отстрел птицы и зверя — значит обречь семью на погибель. Но староста неумолим.

— И думать забудь про охоту, — говорит он. — Имею полномочия давать свидетельство надежным людям. А на тебя какая надея? Ты лес поджечь можешь. Обойдетесь без дичины. Картошку жрать можете. Огород есть...

Бегу к дяде Нифонту, спрашиваю его, как быть.

— А никак, — отвечает он. — Бери ружье да стреляй. Кто в лесу словит? Но все-таки маленько остерегайся. По деревне с добычей не ходи.

В Петров день я отправляюсь на дальние озера, где редко кто охотится. Дичи много. Стреляю до вечера и остаюсь ночевать в лесу. Ночь темная, не видно дороги. Утром иду к деревне. В моем пестере больше

пуда уток, молодых гусей. Сдам бабушке добычу, пообедаю и опять на промысел.

Вдруг передо мной, около бани, как черт в сказке, Семен Потапыч.

— Самовольничать вздумал? Покажи, что несешь?

— Не лезь, дай пройти.

— Позову мужиков, протокол составлю! — кричит он. — Не старые годы — без билета охотиться.

И хватает рукой за ствол фузею.

— Давай ружье! Штраф уплотишь — возверну.

Отобрать дедушкину фузею, которую я обещал бегать, как свои глаза! Вся ненависть к старосте, накопившаяся за эти годы, поднимается во мне.

— Не отдам, ни за что не отдам! Возьми уток, гусей, а ружье не трогай!

Он дергает ствол к себе. Не помню: был взведен курок раньше или я в борьбе невзначай оттянул его. Выстрел грянул неожиданно. Семен Потапыч откинул голову, тяжело рухнул на бок. Заряд дробы кучей ударил в грудь, разворотил огромную рану...

Ведь знал он, что заряжена фузея! Так зачем же схватился за ствол? Я совсем не думал убивать... Может, слышали выстрел, вот-вот сбегутся люди. И уже мерещится урядник, арестантский халат, кандалы на ногах, острог, свидания с бабушкой сквозь острожные проволочные сетки над барьерами.

Бежать, бежать! Вхожу в избу. Бабушки нет дома. Вытряхиваю дичь, набиваю пестерь сухарями, беру порох, дробь, охотничий котелок, нож, кремь для добывания огня и быстрым шагом иду через двор в поле. Пестря рвется за мной, гремит цепью.

Хочется подойти к собаке, приласкать ее на прощанье, но боль сдавила сердце, — не оглядываясь, ухожу. Обиженный хриплый лай долетает со двора.

Добегаю до реки, сажусь в лодку. Уключины скрипят. Лодка нехотя, толчками идет против течения. Я плохо соображаю в эти минуты. Ведь не пустяк — убить человека! Громкий лай заставляет меня поднять голову. Пестря с обрывком цепи на шее скачет по берегу. Как же быть? Он начнет облаивать белок, загремит на весь лес. Разве спрячешься?

— Пестря, назад! Пошел домой!

Он прыгает в воду, плывет наперекос лодке. Бросаю весла, вскидываю ружье, прицеливаюсь в лобастую голову. Но не могу спустить курок.

— Черт этакий! — ругаюсь я и кладу ружье на корму.

Пестря подплывает к борту. Хватаю его за ошейник, втаскиваю в лодку. Он встряхивается, радостно повизгивает, ложится возле моих ног. И такая преданность в темных собачьих глазах! Как мог поднять на него фузею? Конечно, собака необходима. Без нее в тайге пропадешь. Она ни зверя, ни человека не подпустит и не польстится на мои сухари. Мало ли корму под ногами: мышь из земли выроет, бурундука схватит. Итак — едем вдвоем!

Лодка уносит нас дальше и дальше.

Оглядываюсь на деревню: на улицах тихо. Не знаю еще, куда еду. Мысли спутаны. Какая-то сила гонит меня, как зверя лесной пожар, дальше от опасности. Пусть поищут сотские да десятские с урядником. Тайга велика. Сколько по разным трущобам беглого народу скрывается. «Давай, давай!» — говорю я себе и налегаю на весла.

Вечер застает нас далеко в тайге. Над рекой табун уток. Вскидываю ружье, и кряковый селезень падает на воду. Выстрел пугает: эхо долетит до Кочетов. Там сообразят: «Ага, вот он где, убивец». Долго сижу, боясь шевельнуться. Страх постепенно проходит. Подбираю птицу, причаливаю к берегу, развожу костер. Обжигаясь, тяну из кружки горячую воду. Потом ощипываю, подвешиваю над огнем селезня. Потроха кидаю собаке.

Тихо поет река, с гор катится туман. Темно, и каждый шорох пугает. Даже пламя костра кажется слишком ярким, враждебным. Много ночей — зимою и летом — провел я в тайге, сроднился с нею, спал под ветвями деревьев так же спокойно, как горожане спят в своих кроватях. И вдруг тайга стала чужой. Мое беспокойство передается собаке. Она вздрагивает, поднимает тонкую морду, нюхает воздух.

Чувствую себя в западне. Сотские подкрадутся в

обманчивой тишине, скрытые тьмою. Не доверяя собаке, придвигаю поближе фузею. Хочется нырнуть в темную чашу. Но я сильно измучился за день, и так тепло у костра. Может, ничего не случится? Сижу, стараюсь побороть сон, а рядом лежит собака, положив голову на мое колено. Где остановиться? Как жить?

«Поеду к манси, — решаю я к утру. — В паул Яргунь дорогу найду. Еще подняться по реке, свернуть на левый берег. Манси укроют, помогут в беде».

Собака прыгает в лодку, и мы плывем, окутанные туманом, сквозь туман просвечивает солнце.

Река идет извилинами, разделяется на множество протоков, исчезает в гуще таволожника, в зарослях камыша. На мелких местах складываю весла, отгалкиваюсь шестом, вырубленным на привале. Хорошо, что в лодке оказался топор. Уходя из дому, я не подумал о нем. Что бы стал делать без топора?

Тревога улеглась. Теперь-то меня уж не поймают. Но я чувствую — случилось непоправимое. Ах, зачем Семен Потапыч схватился за мое ружье!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Яргунцев нет в пауле. Я совсем забыл, что это зимнее жильё. Весной манси откочевывают на другие места. Одни живут в летних чумах возле озер или по берегам рек, ловят рыбу. Другие, у кого есть олени, угоняют стада к пастбищам, на склоны горного хребта.

Куда ушли жители паула? Надо искать. Выгружаю из лодки поклажу, отправляюсь на север. Куда-нибудь приду. Не встречу яргунцев, найду кутаньцев, салбантальцев.

Птицы в тайге много, и мы с Пестрей всегда добываем что-нибудь для обеда и ужина. На второй день в кедровнике попадаютя настороженные луки с заржавленными стрелами. Значит — люди недалеко. У корней кедров и в кустах наталкиваюсь на страшные «самопалы», загнутые из целого дерева. Стрелы толщиной в палец. Нечаянно задень тонкую нитку насторожки, лук разогнется, и стрела сразит наповал. Знаю

- от деда — эти стрелы намертво убивают оленя, лося, даже медведя. Беру собаку за сворку. Идем тихо. На каждом шагу из травы глядит смерть. Потом встречается маленький ветхий амбарчик на двух столбах. Поднимаюсь в него по лестнице, открываю дверь. В углу сидит, как человек, кукла в мехах, цветных шарфах, опоясках, с тремя остроконечными шапками на голове — из черного, синего и красного сукна, — надетыми одна на другую. Из-за мехов, шарфов и надвинутых на глаза шапок у куклы почти не видно лица.

Приподнимаю шапки. Передо мною — идол с оловянными глазами и кривым носом, сделанный из кедрового сука. Это — Чохрынь-Ойка. Старый знакомый. Нам приходилось встречаться в паулах. Спустившись на землю по скрипучей лестнице, отправляюсь искать людей.

...Сквозь заросли мелькнула большая река. Совсем близко — удары топора по дереву. Тявкает собака. Белеют под солнцем берестяные крыши чумов. Синий дымок вьется над соснами. Меня встречают собаки, женщины и старики. Манси гостеприимны. Каждый путник найдет у них кров, угощение. Как они рады!

— Пайся, рума, пайся! — несется со всех сторон.

Приглашают отдохнуть, пообедать, спрашивают, кто я, откуда, какие новости привез. Меня не узнают. Но все равно: я — желанный гость.

Молодых мужчин не видно. Они где-то недалеко рыбачат.

Подходит, хромая, старый шунгур.

Мы присаживаемся на обрубок сосны.

— Как живут манси, здоровы ли мужчины, ловится ли рыба?

— Худо живут манси, — отвечает Савва. — Позапрошлой зимой приезжал русский охотник Спиридон, с ним был голубоглазый парень. Спиридон снял ясак и все долги. Стало хорошо. Потом налетели весною стражники, стреляли оленей, собак, поджигали паулы, оскверняли нээ¹, вишнэ², мужчин стегали нагайками.

¹ Нээ — женщина.

² Вишнэ — девушка.

Тосмана подвешивали за ноги на кедр, били палками. Он полгода лежал на нарах, чуть не умер. Купцы снова приехали за долгами, старшина — за ясаком. Ясак увеличили вдвое против прежних лет. Шайтан помутил рассудок старшины. Боги отвернулись от манси. Спит богатырь Мадур-Ваза, забыл нас охотник Спиридон. Манси ждут Спиридона, а куда он уехал, никто не знает. Может, ты знаешь, молодой охотник?

— Царь посадил охотника Спиридона в острог, а парень, что приезжал с ним и слушал твои песни, — это я.

Шунгур качает головой.

— Гляди-ко, вырос ты как! Совсем женить можно.

Вечером мужчины приносят рыбу. Лов был удачным. Все веселы. Тосман ведет меня в свой чум, и мы долго беседуем.

На другой день иду с мужчинами на рыбную ловлю. Над рекой спокойное летнее солнце.

Работаю легко и радостно. Вечером — сытный ужин у костра. Я свой человек в большой дружной семье манси. В каждом чуме друзья. И Пестря смело ходит от чума к чуму, и собаки не кусают его. Он тоже гость!

В сильный ветер на реке волны, нельзя рыбачить. Отправляюсь на охоту. Манси хорошие стрелки. Они снимают с кедра белку пулей из своих кремневых ружей, и я не видал при этом промахов. Но, живя в местах, богатых птицей и зверем, покупая по дорогой цене свинец и порох, они привыкли бить только на верный выстрел, даже не пытаются стрелять летящую над головой птицу, бегущего зверя. На их глазах я сбиваю из фузев высоко летящих гусей. Меня называют «вача» — великий стрелок.

Недалеко от чумов пасутся олени яргуньцев — голов двести. Лобсинья тоже перекочевал сюда, но его олени не смешиваются с общим стадом. Кругом бродят медведи, рыси, росомахи, волки. Больше всего погибает от волчьих зубов телят. Звери внезапно кидаются из густой травы на оленей, отбивают от стада пугливых важенок. Молодые глупы, не убегают от волков, как старые, покусанные зверем олени. Я видел, как волчица катается, играет на поляне, подманивая

оленят. Они принимают ее за собаку, подходят, вытянув смешные мордочки, и она хватает их за горло.

Порою днем, отдыхая в юртах или беседуя у костров, слышим отчаянные крики, лай собак: волки пришли за добычей. Мужчины хватают ружья, бегут на помощь пастухам. Если удастся отбить у волков задушенного или покусанного оленя, мясо не пропадает.

Ночью манси не охотятся на волков.

— Как стрелять в темноте? — говорят они. — Попадешь в шайтана, худо будет. Шайтан осердится, оленей погубит.

Храбрые, сильные охотники, они во многом — дети. В каждой пади им чудится нечистая сила, в омуте — водяной. Мохнатый валун, кривой кедр, уродливую сосну принимают за злого духа. Страх перед нечистой силой мешает жить, ловить рыбу, охотиться.

Сговорившись с Тосманом, я в одну неделю отваживаю волков от стада. Двадцать волчьих шкур растянута на пялах. Манси хвалят мою фузею, спрашивают, где можно купить такое дальнобойное ружье. Их кремневки в самом деле плохи.

Кроме волков, за стадом ходит большой медведь. Он хитер, этот бурый великан. В его лапах побывали многие яргуньцы, и сам храбрый Тосман боится встречи с ним. Зверь живет в каменной пещере на взлобке горы. Логово обставлено настороженными луками, но медведь всегда обходит насторожку. Подкравшись темной ночью, зверь бросается в середину оленьего стада, гоняет крупных быков. Лают собаки. Гром разносится по тайге. Не боясь ни собак, ни криков, медведь валит оленя, ломает ему хребет.

У свежей туши задранного оленя я делаю полати. Сажусь караулить. Вечер опускается над лесом. Я один в густом кедровнике. Светлая, тихая ночь. Напрасно жду до утра. Зверь не пришел.

— Вот видишь, — говорят манси, — это не простой медведь. Он знает, что охотник в засаде, и не показывается. Не надо выслеживать. Пусть кормится оленями. Бог так велел. День богом отдан человеку, ночь — зверю. Не нарушай порядок, русский охотник:

худо будет. Ружье не выстрелит, медведь съест тебя самого.

— Ничего, поглядим.

На третью ночь моя пуля кладет зверя наповал. Тосман и Савва поражены.

Меня радует удача. Я доказал, что можно охотиться ночью, не задевая шайтанов, не боясь злых духов.

«Если манси поймут, — думаю я, — жизнь пойдет по-другому: уберегут стада от зверей, и в чумах всегда будет оленьё мясо».

Два дня пировали, поедая медведя. Был большой праздник. И мне, как гостю и победителю, подносили лакомые части зверя. Теперь я окончательно сблизился со всеми. Жить привольно и хорошо. Шунгур Савва поет песни, учит играть на «лебедь», разговаривать по-вогульски. Садимся под деревом, в холодке. Савва начинает:

— Ас'я — река, ампа — собака, еза — лыжи, кассай — нож, котлег — солнце. Понял? Запомнишь надолго? Маа — земля, уй — зверь, тохт — глухарь. Ну, назови, как я сказал.

Повторяю слова. Если ошибаюсь — оба смеемся. У Саввы дочь — Кеть, смуглолицая хохотунья. Мы ходим собирать бруснику, морошку. Набрав полные плетухи ягод, садимся на мшистом берегу лесного озера. Она хочет все знать, эта востроглазая Кеть.

— Ты откуда приехал, там какие чумы? Был в городе? Сколько в городе юрт? Городские шаманы похожи на наших? Какая рыба ловится в городе?

Что греха таить: я обманываю девушку, говорю о том, чего нет на свете. Она верит, и нам хорошо. Так, забываясь, болтаем до темноты. Иногда молча слушаем тайгу. Если долго смотреть на небо, оно меняет краски. Кеть спрашивает:

— Скажи, есть край неба? А за небом что?

Она спрашивает много такого, чего я не знаю, и приходится сочинять всякие небылицы. Мужчине должно все знать. Шелестит ночной ветер. Озеро покрывается рябью. Караси выплывают на поверхность, выскакивают из воды с громким плеском, тяжелые и свер-

кающие чешуей. Не видя нас, подходят на водопой олени, опускают в воду передние копытца. Первыми всегда — важенки. За ними тянутся быки, оленята. Лунный свет серебрит ворсистые спины зверей. Оленята ныряют, плавают, вспугивая карасей.

Во тьме воют волки. Олени вздрагивают и, разбрызгивая воду, фыркают, мчатся в тайгу. Подвываю волкам. Волчица откликается, подходит так близко, что слышен шорох в кустах.

— Не надо, — пугается Кеть, — прогони скорее.

Закладываю в рот пальцы. Свист ломает тишину. Волки убегают. Затихает тайга, и только крики гагар на озерах взрывают молчание леса. Потом, взявшись за руки, идем к становой. Савва видит, что мы ходим часто с Кетью по тайге, и вот взбрело ж ему в голову такое:

— Возьми в жены мою девку, русский охотник.

Шунгура нельзя обижать, я говорю, что подумаю.

Ах, эти пожилые люди! Кажется, одно у них на уме: женить молодых. Едва удалось избавиться от одной невесты, навязывают другую. Слов нет, Кеть лучше Анны Потяевой, да не хочу я жениться!

В чуме Саввы лежит закопченный барабан. На полке — чучело вогульского божка, рядом — небольшой деревянный крест с фигурой распятого Христа.

Хочется спросить шунгура, почему держит двух богов, которого больше почитает, но манси не любят толковать о богах, и я не знаю, как подступиться к Савве. Однажды утром, проходя возле чума Саввы, слышу негромкий разговор, заглядываю в щелку.

Шунгур выговаривает что-то по-вогульски божку. Вот ударил божка, повернул лицом к стене. Зажег перед распятием восковую свечу, опустил на колени, заговорил по-русски жалобно, гневно и горько:

— Слушай меня, русский бог. Пошто худо делаешь манси? Вогулы молятся, ставят дорогие свечи, кормят твоего попа, — а что ты сделал для них? А, бог? Молчишь? Стыдно тебе, бог? Выгорают леса, мелеют реки, зверь убегает, птицы стало меньше, рыбы меньше. Раньше приносили полные корзины хариусов, налимов. Рыба не укладывалась в корзины. Снимали

штаны, клали в них рыбу. Полные штаны приносили рыбы. А кто теперь приносит рыбу в штанах? Куда дел рыбу, бог? Русский царь — злой человек и разбойник, а ты помогаешь ему, бог. Зачем помогаешь? Я долго терпел, бог, но скоро начну бить по голове, вымажу твое лицо оленьим пометом. Хорошо будет? Слушай, бог....

Я поставил себе отдельный чум. В нем просторно и чисто. Вечерами заходит Кеть. Садится на чурбан, смотрит доверчивыми глазами.

— Всегда у нас жить будешь?

— Всегда, Кеть.

Она вздыхает, отводит глаза.

— А там, где ты жил раньше, у тебя есть жена?

— Нет, — смеюсь я, — хотели женить, да сбежал от невесты.

Кеть одобрительно чмокает языком.

— Наверное, была худая девка.

— Худая.

— Я так и знала: от хорошей невесты жених не бегаает.

...В чум заходит Тосман.

— Слушай, вача, беда! Лобсинья узнал, что ты здесь. Ругается. Хочет ехать к уряднику. «Этого парня, говорит, надо в острог посадить». Мы не выдадим. Но жить здесь нельзя. Приедут ночью, схватят.

— Куда уходить?

— Иди на запад — найдешь речку, спустишься по ней до большой реки, где стоят юрты казым-гуи¹. Тебя примут, как брата. Начальство к казым-гуи не заглядывает. Там хорошо. Скажи: «Я друг Тосмана», — никто не обидит.

Савва и Тосман кладут в мой пестерь сушеную рыбу, свинец, порох.

Прощаюсь с яргуньцами, и мы с Пестрею идем оленьей тропой на запад. Справа обрывается круто гора и далеко вниз уходит кипящее море тайги, а слева по скату — зеленые кусты, трава меж кустов

¹ Казым-гуи — остяки.

прорастает желтыми, голубыми и розовыми цветами. Оборачиваюсь, вижу дымок над чумами, слышу крики пастухов. Как жаль покидать это место, бывшее, пусть недолго, второй родиной! Только Пестря весел, прыгает у моих ног: наверно, думает о дальнем походе на охоту.

Кеть провожает нас. Лицо девушки грустно.

— Охотник, охотник, зачем уходишь? Знаешь, как тебя любят манси?

Девушка не говорит: «Как тебя любит Кеть». Но я-то ведь знаю, о чем она думает.

На перевале мы прощаемся. Девушка желает мне счастливой дороги. В моих ушах еще долго звенит ее голос: «Охотник, охотник.. Знаешь, как тебя любят манси?»

Знаю, милая Кеть, все знаю...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Дни знойные. Земля потрескалась от солнца и шелушится, как вяленая рыба. Днем жарко, ночью не дает покоя гнус. Тучи комаров и мошек наседают со всех сторон. Моя желтая куртка становится серой от ползающих по ней насекомых. Гнус не боится ни огня, ни дыма костра. Пестря залезает в гущеру, но и там находят его эти враги. Он ползет на брюхе, взвизгивает, катается по земле, лижет мне руки. И такие у него сердитые глаза.

Он ведь все понимает. Умей говорить, он сказал бы:

— Куда идем? Зачем полезли в дикие, мертвые трущобы? Разве плохо было у яргуньцев? Кеть давала рыбу, жирные куски мяса. Вернемся, хозяин!

Я видал вогульских лаек и оленей, заеденных комарами, ослепших от укусов, заживо гниющих, покинутых хозяевами.

Никогда этого не забыть! Становится зябко от мысли, что придется хоронить собаку в твердой чужой земле.

Укладываю Пестрю, накрываю азымчиком, пода-

ренным на прощанье Госманом. Он короток и узок, этот азымчик, на двоих не хватает. Прижимаемся друг к другу. Комариный рой гудит — невозможно высунуть руку из-под азыма.

Долго не могу заснуть. Думаю о Кеть. Вспоминаю прогулки на озеро, ее голос, улыбку.

«Охотник, охотник, зачем ты уходишь?»

Повторяю эти слова, и они звучат как музыка. Становится очень грустно. Ах, если бы не Лобсинья!..

В облачные дни трудно идти даже в комарнике, сделанном из запасной рубахи и пучка конского волоса.

И до чего стало хорошо, когда с гор подул холодный сиверко! Гнуса — как не бывало. Убиваю глухаря, черпаю в ручейке воду, кипячу котелок. Отдыхаем и обедаем.

Тайга поредела. Кедровые сменяются худосочными ивами, низкорослыми березками. Идти в холодке приятно.

Но недолго радуемся хорошей погоде. К вечеру небо закрывает молочный туман, сочится на землю, как мелкий дождь из сита. Становится холодно. И все повяло, сморщилось кругом. Цветы закрывают головки лепестками. Только мох да лишайник ярко зеленеют на полянках. Я промок и озяб. Ничего не видно в двух шагах. Нельзя развести костер. Глухарь, выпорхнув из-под ног, исчезают в беловатой мгле, прежде чем раздастся мой выстрел. Тайга черна, непроницаема. Иду, боязливо протягивая руки, не вижу Пестри. Он повизгивает у моих ног. Хочется выйти куда-нибудь на высокое место.

Натыкаюсь лицом на острые сучья, буреломины и корневища. Передо мною вдруг вырастает кедр, и я стучаюсь лбом о шершавую мокрую кору. Потом падаю в каменистый овраг. Дальше идти нельзя.

Отсиживаемся в расщелине скалы. Там — небольшая берлога, и в ней сухо. Туман держит нас три дня. Питаемся рыбой — дарами яргуньцев. Когда хочется пить, кладу шапку за чело берлоги. Шапка намокает. Выжимаю воду себе в рот, так же пою собаку.

Наконец ветер прогнал белую вату, солнце обсу-

шило землю. Светло и весело. Трава осыпана золотой пылью. Цветы распускают чашечки, в них сверкает роса. Вскидываю на плечи котомку, беру фузею, под-свистываю собаке.

Отдохнувшие ноги легко несут по звериной тропе. В полдень выходим на берег пенистого горного потока. Конец тяжелой дороге. Скоро встретятся казым-гуи. Но та ли это речка, о которой говорил Тосман?

Из сушины выдалбливаю топором лодку. Она не особенно устойчива. Поздней осенью я бы не двинулся в такой посудине по незнакомой реке. Теперь не страшно. Если опрокинусь, вода теплая, и я плаваю не хуже моей собаки.

Садимся в лодку. Взмахиваю веслом. Речка то суживается, зажата в каменное русло, то разливается во всю ширь, образует отмели, перекаты.

Мелькают зеленые берега. Куда несешь ты меня, река?

Возле борта взметнулась большая рыбина. Нагибаюсь схватить ее. Она ускользает, лениво плещется на перекате. Захотелось отдохнуть, наловить рыбы. Вытаскиваю лодку на берег, развожу костер. С наметкой в руках лезу в голубоватую воду. В трещине каменистого дна что-то блестит. Протягиваю руку, достаю желтоватый кусок металла.

Самородок в полфунта весом, обтертый водою и гранитом, сверкает на моей ладони. Удивленный находкой, стою в потоке. Вода ледяная, как в горном ручье. Плещут хариусы. Надо мной проносятся табуны уток. Самородок пахнет водорослями, рыбьей чешуей. Пестря лает, зовет к посаженной на дереве птице. Лай нетерпеливый, напористый. Не дозвется собака... Кладу самородок в лодку, снова лезу в воду. На охоте всегда так: убил птицу, ищи поблизости выводок. Ковыряю щомполом дно реки. Чуть не в каждой трещине следы золота, словно кто-то разбросал его здесь на радость людям. Без малейшего усилия выковыриваю увесистые плитки, бруски. Оставляю мелкие крупинки, рассыпанные всюду, как зерна: не стоят они того, чтобы возиться с ними.

Охватывает азарт, как в погоне за красным зве-

рем. Взвешиваю добычу на ладони, улыбаюсь, и опять ныряю в шумящий поток. Острые камни режут подошвы. Срываю ноготь на большом пальце правой ноги. Вода пузырится кровью. Но разве боль остановит охотника? В детские годы, помнится, с таким же увлечением собирал белые грибы. Словно обеспамятев, носился в густом ельнике с плетухой в руках. Ветки царапали мое лицо, шею, срывали шапку. Я ничего не видел перед собой, кроме нежнокоричневых головок грибов, поднимавшихся гнездами над зеленым, седоватым мхом. Приходил в себя, когда плетуха наполнялась доверху и ее трудно было поднимать.

Пестря прибежал к воде и, разинув пасть, смотрит, как занимаюсь непонятным для него делом. Охваченный приступом веселья, кричу собаке:

— Помогай, Пестря! Ищи!

Он бросается в воду. Подплывает, делает круги, фыркает и, сконфуженный, вылезает на берег, шумно отряхивая воду.

К вечеру грудка золота лежит на дне лодки.

Сколько выручу денег? В фунте девяносто шесть золотников. Старатели сбывали золото, как объяснял когда-то Данила, по четыре с полтиной золотник. Вот — разбогател в один день!

Да золото ли я нашел в этом Ледяном ручье? Вдруг самая обыкновенная медь или какой зряшный металл? Подкидываю сосновых веток в костер. Пламя вспыхивает ярче. В свете огня снова разглядываю самородки, пробую на зуб, стучу ими о камень. Надо проверить. Но как? Только в городе могут сказать, что за металл.

Вспоминаю разговоры с дедом на соболевке. «Золото — кровь людская, горе вселенское». Как мог я забыть об этом? Ведь обещал старику не прикасаться к золоту руками! Может, на погибель мою оно послано, а я обалдел от радости. Солнце рассыпает лучи по земле. Надо мною, в зелени листья, поют птицы. Утки пролетают над рекою. Каждый зверь, каждая птаха знают, что делать. Одни спят, наевшись за ночь, другие, радуясь теплу и солнцу, спешат добывать корм. Только я не знаю, как быть и что делать. Хочется вы-

бросить шальную добычу в воду, отправиться на рыски казым-гуи. Но когда наклоняюсь к лодке, чтобы расшвырять то, что собрал вчера, немеют руки, противная дрожь пробегает по телу. А что, если я счастливый?

Стоит ли топить свое счастье?

Сажусь на траву и опять думаю.

Из бабушкиных сказок знаю, как с помощью золота открывались крепкие острожные засовы, и люди, осужденные на вечное заточение, выходили на волю. Да и Всеволод Евгеньевич, помнится, тоже говорил: «Богачу не трудно освободиться из тюрьмы». Кто пометает пустить самородки на хорошее дело?

— Поедем-ко, волчья сыть, в город, — говорю я собаке. — Обменяем золотишко на деньги, а с теми деньгами отправимся в острог к деду Спиридону, Зинаиде Сироте, Всеволоду Евгеньевичу, Николаю Павловичу, обрадуем их... Подкупят они сторожей, выйдут на волю. Ежели что останется, бабушке в деревню пошлем.

Пестря гавкает в ответ, крутит хвостом.

Знаю: маленькие речки впадают в большую реку. На большой реке — город. Надо спускаться в низовья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Подкинуло с вышины порога в гранитное русло, где пенится и ревет вода, сжатая берегами. Лодка перевернулась вверх дном, уплыла по стремнине. Собака раньше меня выбралась на землю и смотрит, как я иду к берегу, держа в одной руке фузею, а в другой котомку с золотом и топор. Хорошо, что тут не очень глубоко и удалось спасти крупные вещи. Сушеную рыбу, соль, порох, пули, дробь и кремень для добывания огня заглотала река. Выбравшись на берег, рублю сушинник, сколачиваю плот. Кто знает, сколько еще порохов на пути! Плот надежнее лодки, хотя он движется не так быстро. Но чем буду кормиться? Остался один дробовой заряд, и его нельзя потратить на глухаря.

Плот готов. Голодный, усталый, сижу на камнях и думаю, как раздобыть съестного.

Молодой лось идет на водопой к реке. Поднимаю руку. Это приказание собаке, и она ложится, где стояла. Я подползаю травой к зверю. Он стоит передними ногами на гальке, пьет воду. Наглотавшись, поднимает голову. С мокрых губ падают капли, от капель расплываются круги по заводи. Свалить лося дробью можно только в упор. В пяти шагах от него поднимаюсь. Я не промахнулся. Нет. И он лег бы от страшной раны в лопатку, но, должно быть, в ствол попала вода, порох отсырел. Выстрел слабый, затяжной. Сохач вскидывает рога на спину, убегает в лес, оставляя на траве кровавые следы.

Пестря кидается за ним, гоняет на больших кругах. Я сижу, подавленный горем, зову собаку. Она, разгоряченная гоним, не слышит. Надо что-то делать. Нарезаю ивовых прутьев, плету вершу, ставлю ее на перекате. Пес возвращается к вечеру: идет шагом, еле передвигая натруженные ноги. Обиженный, он даже не ласкается. И так, оба голодные, ложимся спать. Утром достаю из воды вершу. Счастье еще с нами: в ней трепыхаются хариусы. Пестря глядит на добычу, весело крутит хвостом. Едим сырую рыбу без соли и хлеба.

И опять несет река через пороги, валуны. С боков, из таежных падей, с шумом выбегают ручейки, течение убыстряется, заметно ширятся плесы. Караваны гусей на зорях пролетают над плотом. Неужто знают серые крикуны, что едет охотник без зарядов? На ночь причаливаю к берегу, ловлю вершей рыбу, делаю топором затеси на деревьях. Плот послушен, устойчив. Я легонько подгребаю веслом.

Вот и Полуденная!

Нас треплет встречный ветер. В лесу гудит. Падают деревья. Плот скрипит на волнах, становится дыбом. Еще немного — опрокинется и придавит, как гробовая крышка. Собака может сорваться в воду. Я привязываю ее к скрепям. Мою заботу Пестря понимает как наказание: скулит, грызет поводок. К счастью, ветер скоро стихает. Изо всех сил работаю веслом. Знако-

мые берега. Въезжаем в кочетовские уголья. Что, если встретятся рыбаки?

Загоняю плот в заросли — переждать день. В темноте проезжаю мимо Кочетов. Мигают огоньки. В окнах нашей избы темно. Если бы знала бабушка, что плыву по реке!

Мы — в городе. Утром ставлю плот на прикол ниже пароходных пристаней. Сажусь на песчаную косу. В тайге все представлялось просто, а приехал — не знаю, что делать, куда идти.

Богач, открывший золотую россыпь, не имею рубля на обед, на извозчика. Слыхал, что старатели сдают намытое золото в банк, в какие-то государственные конторы или по вольной цене городским торговцам. Но идти в контору нельзя: спросят паспорт (я при бегстве из деревни забыл взять его с собой), начнут допытывать: «Где достал?» Самое подходящее дело — продать находку без канители, хотя бы за полцены. Но где они, скупщики? Расспрашивать на улице прохожих или пристанских грузчиков боязно. Смекнут, в чем дело, заташат в глухой двор, придушат и ограбят.

«Зайду на острог, с дедом посоветуюсь, с Николаем Павловичем поговорю».

Пестря трусцою бежит за мной. В остроге день свиданий и передач. Я становлюсь в черед.

— Спиридон Соломин? Зинаида Филева? Всеволод Никольский? — спрашивает надзиратель. — Каторгу отбывать пошли. Куда? А кто их знает. Жди письма. Придут на место — отпишут.

— А нельзя ли повидать Николая Павловича Яхонтова?

— Яхонтова? Нет такого. Тоже в Сибирь угнали. Отойди прочь. Давай следующий.

Растерянный выхожу из острога.

Больше недели питался я сырой рыбой, совсем ослабел. Ноги почти не слушаются. Бреду наугад, не зная, куда. В голове — сумятица.

По главной улице катятся пролетки, развозя полетному разодетых мужчин и женщин, тачки звонкоголосых зеленщиков, громяют телеги ломовиков. Пешеходы запрудили обе стороны улицы. Они движутся

медленно, останавливаются у окон магазинов, ларьков и киосков.

Город ничуть не изменился. Те же музыканты играют на бульваре. Помню каждый дом этой улицы. Сотни раз провозил седоков.

«Встретится какой-нибудь ивановский мужик, случайно приехавший в город...

— Этот парень старосту убил!»

Вздрагиваю. Улица меркнет. Сворачиваю в глухой переулок. Долго брожу, успокаиваю себя: «Не может быть этого».

Натыкаюсь на франтоватую вывеску: «Золотых дел мастер Иван Яковлевич Шатров».

В окне, за стеклом, сверкают часы, золотые коробочки, портсигары. Ясное дело — скупщик! Наконец-то можно избавиться от золота. Распахиваю дверь в мастерскую. Пестря проворно шмыгнул за мной, первым подбегает к хозяину. Толстенный лысый человек в очках на птичьем носу удивленно смотрит в упор.

— Чего тебе, малый? Да прогони эту страшную собаку!..

— Собака смиренная, не пугайтесь. Золотишко не купите ли?

Кажется, Иван Яковлевич ждал мое золото всю жизнь. Вертится волчком, запирает дверь на крючок, занавешивает окно шторами.

— Не шутишь, парень?

— Смотрите!

Вытряхиваю самородки на пол. И правда, они хороши, можно засмотреться!

Иван Яковлевич снимает очки, берет один кусок, разглядывает сквозь какое-то стекло в оправе. Щеки мастера вспыхивают. Потом он кладет кусок на круглый, обшитый бархатом столик.

— Колдун или старатель? Да откуда ты взялся? Ах, черт!

И опять наклоняется к самородкам, смеется счастливым смехом.

— Ах, черт! Цена какова?

— Три тысячи за все.

— Чудак! — улыбается Шатров. — Золото на глазок не продают. Взвесить надо. Золотник — три целковых. Больше не дам.

Он достает из шкафчика весы, гири.

— Ого! Двенадцать фунтов двадцать четыре золотника.

Иван Яковлевич бойко щелкает на счетах.

— Имеешь получить три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей.

— Давайте, — шепчу я, как вор, сбывающий награбленное.

— Не имею таких денег в наличности. Ты посиди тут с моей женой, я схожу и займу. Один момент!

Это пугает. Может, золотых дел мастер хитрит, что-то задумал недоброе?

— Нет, ждать не могу.

Шатров огорченно разводит руками.

— Что ж делать? Экой ты... Впрочем, понимаю. В городе всякий народ встречается.

Он крутит ручку телефона, снимает трубку.

— Дом Ваганова? Авдея Макарыча. Что? Будите немедля. Иван Шатров беспокоит. Нельзя! Человек из тайги прибыл, самородки привез. Ну-ну! Жду...

Бросает на рычаг трубку, облегченно вздыхает, усаживает меня в кресло.

— Сейчас деньги привезут. Где столько золотишка добыл?

— Далеко, отсюда не видно: в Ледяном ручье.

Мастер не может сидеть на стуле. Его словно ветром подбрасывает и носит по комнате. Он то снимает, то снова надевает очки, трогает золото носком ботинка, закатывает глаза.

— Чудовищное счастье! Что ты стоишь, верзила? Садись. Весь ручей в золотом песке? Сколько шурфов выбил? Что? А если копать? Берега копать? Бож-же мой! Замолчи — сойду с ума. Это ж Клондайк!

Шатров хлопает в ладоши.

— Гаша, Гаша!

Маленькая дверь в задней стене открывается. Входит пожилая толстая женщина.

— Гаша! Гляди на молодого человека. Клад нашел. Да, да. Ах, черт! Дай ему позавтракать. Неси чаю, кофе, вина, фруктов. Угощай, как на свадьбе.

Женщина скрылась за дверью. Шатров поворачивается ко мне.

— Как звать-то? Матвей? Продай россыпь.

Это смешно. Что ж: могу продать.

— Да ведь у вас денег нет: зачем торговаться понапрасну?

— Найдем. Не беспокойся. Называй цену.

«Сколько же просить за несобранное золото?»

Шутя говорю:

— Пятьдесят тысяч.

Шатров чмокает языком, на щеках его — капельки пота.

— Окончательно?

— Да меньше некуда.

— Одному не поднять, — вздыхает Шатров. — Сведу тебя с Авдеем Макарычем Вагановым. Сию минуту он будет здесь. Знаешь такого? Золотопромышленник, туз, деляга. Дед его крепостным был, отец дегтем торговал на конном рынке, а вот Авдей Макарыч горрами ворочает. Он купит заявку на Ледяной ручей, начнется правильная разработка. Авдей Макарыч — это, брат, голова: с камня лыки дерет, из песку веревки вьет, из дерма пряники стряпает. А может, создадим товарищество на паях: Авдей Ваганов, Иван Шатров и Матвей Соломин. Ротшильду нос утрем.

Я улыбаюсь. Страх прошел.

Через минуту опять гремит голос Шатрова:

— Маришка! Клавочка! Где вы? Ухаживайте за молодым человеком. Это же знаменитый юноша! Завтра о нем напишут в газете, назовут счастливецом! Захочет — женится на племяннице губернатора. Понимаете ли, что это такое? Пусть он чувствует себя у нас, как в гостях у господина бога.

Хозяйка и дочери-гимназистки в коричневых платьях, черненькие, как галки, похожие на мать, суетятся, гремят посудой. Пестря ложится на ковер, поводит носом, смотрит на меня голодными глазами.

Я кидаю маленькую булку. Он глотает ее на лету, виляет хвостом — давай еще.

— Милая собачка, — говорит мастер. Лицо его улыбается, руки описывают круги. — Как звать? Пестря? Хорошо. Мы ему колбаски поджарим. Мариша, займись собачкой.

Девушка берет Пестрю за ошейник. Собака рычит, щелкает клыками.

Я сам веду Пестрю на кухню.

Вспоминаю дядю Лариона. Вот кто помог бы справиться с находкой! А как бы он обрадовался! Неожиданная мысль приходит в голову: «А если всерьез продать Ледяной ручей? Получу много. Мастерские Горькой слободы, наверно, знают, куда выслан Николай Павлович. Может, вместе с Яхонтовым дед, Зинаида Сирота, Всеволод Евгеньевич? Поеду к ним или переведу деньги. Если не удастся подкупить тюремщиков и бежать, с деньгами заживут вольготно. Страшная ведь сила деньги!..»

— Ах, черт! Какой день! — петушится Иван Яковлевич, и глаза его молодо сияют. — Да где Авдей Макарыч, толстопузый черт?

Он снова подбегает к телефону, но в дверь стучат, и Авдей Макарыч Ваганов шагает через порог. Это высокий, кряжистый мужчина с черной бородой, одетый в коричневый сюртук. Волосы подстрижены по-кержацки в кружок. Глаза из-под густых нависших бровей смотрят пытливо, и кажется, видят все навсквозь.

Мастер жмет ему руку.

— Гляди, гляди! Видал что-нибудь подобное? Без промывки добыто, без шурфов, на поверхности лежало. А стоит немножечко копнуть... Ой! Иван Шатров зря с постели не поднимет. Вон он, молодой человек. Бог привел его в мой дом. Будьте знакомы, господа.

Золотопромышленник кивает.

— Приятно встретиться.

— Ты только послушай, Авдей Макарыч, что он рассказывает, — лебезит Шатров. — Обалдеть. И он хочет за Ледяной ручей пятьдесят наличными.

Ваганов насупил, молчит.

Мастер бегаёт вокруг него, ежится, потирает ладони одна о другую.

— Давай послушаем, — спокойно говорит Ваганов. — Ещё не мой ломоть, когда в руке держу. Мой — когда в брюхо положу.

Я рассказываю о Ледяном ручье.

Авдей Макарыч переспрашивает, гмыкает.

— Так. Так. Занятно, если не врешь.

Потом поднимается, щелкает пальцами, быстро и решительно говорит:

— Забирай свое добро, едем ко мне.

Шатров стоит между мной и Вагановым, на губах его горькая улыбка.

— Авдей Макарыч, почему такое? Молодому человеку и в моем доме найдется угол. А это, — он кивает на самородки, — я купил. Одолжи расплатиться... На днях отдам до копеечки.

— Что тобой куплено, твое и будет, — морщится Ваганов. — Не кипятись, Иван. Денег, конечно, дам.

— Кипятиться нечего, — отвечает мастер. — Но учти: парень открыл россыпь, а парня открыл Иван Шатров: как хочешь, третья доля моя.

— Иван, ты меня знаешь не первый год. Беру в дело. И, пожалуйста, не мешай. Об чем разговор?

Шатров опускает голову.

Я укладываю самородки в котомку, Ваганов берет меня под руку, тащит за собой на улицу. Шатров бойко семенит за нами. Садимся в пролетку.

— Домой! — весело командует Авдей Макарыч.

Кучер хлопает вожжою. Рысак с места летит крупной рысью.

Пестря скачет за нами, лает. Я ошалел в суতোлке, забыл про него.

— Твоя собака? — спрашивает Ваганов.

— Моя.

— Так чего ж ты? Давай сюда!

Он тычет в спину кучера.

— Стой, Вавила, седока одного забыли.

Пестря прыгает к моим ногам, повизгивает от радости.

Я сжимаю котомку с золотом. В голове — неразбериха, мысли давят друг друга, как бревна в большом заторе.

«За сорок не продам, — думаю я, следя за машистым ходом рысака. — Пятьдесят, и ни копейки меньше. Раз они вцепились, стало быть, Ледяной ручей — не шутка.

Ваганов глядит исподлобья.

— Пятьдесят тысяч дать не могу. Я словам не верю. Надо россыпь обследовать. Может случиться: там и осталось всего ничего. Да и тебе не расчет продавать. Ежели не пустышку открыл, больше получишь. Будь моим компаньоном. Раз оно, золото, идет на тебя, отстраняться от добычи не следует. Примета такая есть.

Говорит он легко, просто, будто мы старые знакомые. Иван Яковлевич качает головой, лицо у него красное, потное, в глазах оторопь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

И вот вагановские хоромы.

Авдей Макарыч ведет нас в кабинет. Мы садимся. На стене — большая карта Урала. Входит пожилой узкогрудый человек в очках. Ваганов почтительно именуется его «господином инженером», знакомит со мной.

— Можешь показать место, где нашел золото? — спрашивает инженер.

Напрягаю память. В кочетовской школе Всеволод Евгеньевич показывал нам глобус и карту, объяснял географию. Но теперь я ничего не могу вспомнить, не знаю, как подступиться: карты такого мелкого масштаба я никогда не видел.

— Не таись, Матвей Алексеевич, выкладывай все, — ободряет Ваганов. — Не обижу, при свидетелях говорю, и бог над нами.

Я разглядываю карту.

Шатров беспокойно вертится.

— Гляди получше, — советует он, взмахивая ру-

ками. — Не ошибись. Дело важное. Может быть, тут?

Его палец прыгает по карте с угла на угол.

Авдей Макарыч берет Шатрова за полы пиджака, сажает в кресло.

— Не верещи, Иван. Без тебя обойдемся. Ты купил самородки Матвея Алексеевича — и помалкивай.

— Что куплено, то куплено, — обижается Шатров. — У нас речь идет о золоте, что в земле осталось. И нечего цыкать. Дело общее. Паренька открыл я...

От множества названий, черточек, линий рябит в глазах. Провожу пальцем сверху вниз, тычу в середине, веду влево и, совсем сконфузившись, сознаюсь:

— Не могу. Я так объясню. Вот ежели из города выехать вверх по реке...

И рассказываю, как ехали с Пестрей в лодке, как пересели на плот, добрались до города.

Инженер записывает мои слова, иногда подбегает к карте для сверки. Иван Яковлевич догоняет инженера, смотрит через плечо. Инженер прикалывает в правом углу красный флажок.

— Здесь! — говорит он.

Авдей Макарыч глядит на зеленое пятно.

— А, вот где. Я давно подумывал тут разведать.

— Это не считается, — обидчиво говорит Шатров. — Я, может быть, подумывал на царской дочери жениться? Думать никому не запрещено.

Инженер нанизывает булавками цветные флажки. Золотая россыпь на Ледяном ручье обложена со всех сторон. Так по белой тропе в таежных просторах обкладывают охотники лису, и уж если обложили — каюк, не уйдет.

Кончив с флажками, инженер объявляет:

— Оформляйте заявку, господа.

И он пожимает всем руки.

— Желаю новому предприятию успеха и процветания.

Авдей Макарыч выпроваживает инженера и Шатрова. У двери он что-то шепчет на ухо инженеру. Тот понимающе кивает.

— Ну, молодой компаньон, рассказывай: кто ты,

откуда родом, как попал к Ледяному ручью? — спрашивает Ваганов. — Нам нужно знать друг друга.

Рассказываю половину правды. Живу там-то, был на охоте, наткнулся на золото.

— Тэк, тэк, — задумчиво произносит Ваганов. — Что-то не то! Далеко от Кочетов забрел. Да и лето — какая же охота? Говори правду!

Я молчу.

— Постой-ка, постой! — хмурится Авдей Макарыч. — Матвей Соломин? Да ведь ты старосту сельского убил! Про тебя заметка в «Губернских ведомостях» была... Как сейчас, помню заглавие: «Охотник-убийца», и убийство политическое. И дед твой за бунт осужден... Так?

— Так...

— Вот оно что! Значит, в бегах находишься?

Любезная улыбка исчезает с его лица, глаза становятся жесткие, злые. Он вытряхивает из моей котомки самородки, прячет в стол, достает пачку денег.

— Бери тысячу целковых и сгинь! — голос твердый, властный. — Чтоб духу твоего в городе не было. Понял?

Ошеломленный, я молчу: «Все пропало! Крышка!»

— Ты слышал, что сказано?

— Самородки проданы Шатрову за три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей.

— Тебе тысячи за глаза хватит.

— Все-таки — грабеж!

Ваганов стучит кулаком по столу.

— Ты — убийца и бродяга! Не уйдешь, позвоню в полицию... В порошок сотру!

Больше я не могу владеть собою: хватаю чернильницу, чтоб запустить ее в голову этому наглому и грубому человеку. Он быстро вскидывает руку, и вороненый браунинг направлен мне в лоб.

Ваганов смеется ядовитым смешком.

— Потихе, любезный! Я не таких обламывал. Не со старостой дело имеешь... Честью прошу: выметывайся, пока цел. Ну!

Молча укладываю деньги в карман, выхожу в переднюю, где осталось мое ружье. Фузеи в углу нет.

«Значит, бояться, спрятали. Не об этом ли шептался Авдей Макарыч с инженером?»

На дворе гавкает Пестря. Отвязываю собаку, шагаю по улице, как в тумане. Ловко же обработали! Куда идти? Что делать?

Прохожу мимо дома присяжного поверенного Валерьяна Семеновича Жукова: здесь я служил дворником, и так нелепо кончилась моя служба.

«Не заглянуть ли к Жукову? Может, что-нибудь посоветует? Может, еще не поздно поправить дело? Золото не нужно мне — бог с ним. Оно необходимо для освобождения деда, друзей моих и учителей...»

Звоню в парадную дверь. Горничной Паньки, видимо, нет дома, открывает молодая женщина с пышной прической на крупной голове. Я догадываюсь: жена, та самая генеральская дочка...

— Что угодно?

— К Валерьяну Семенычу дело есть.

Женщина оглядывает меня с ног до головы. Должно быть, одежда моя не внушает доверия: бедняк!

— Он занят, не принимает.

Я ласково говорю:

— Валентина Георгиевна, пустите...

Она делает большие глаза, ямочки вздрагивают на пухлых щеках.

— Откуда вы знаете мое имя-отчество?

— Я тот, благодаря коему вы очутились в этом доме. Я Ирину Филипповну о тумбу стукнул. Звать — Матвей Соломин. Доложите, пожалуйста.

Лицо женщины вспыхивает румянцем, она молча поворачивается и уходит, захлопнув передо мной дверь. Я стою в раздумье: «Уходить или ждать?»

Дверь бесшумно открывается. Валентина Георгиевна негромко произносит:

— Прощу!

В кабинете Валерьян Семеныч лениво поднимается с кресла, приглашает сесть.

— Каким ветром вас занесло? — смеясь, говорит он. — Действительно по делу? В дворники я вас больше не возьму: чего доброго, вторую мою жену укокошите.

Рассказываю суть «дела».

— Чертовски занятно! — вздыхает он. — История достойна пера Джека Лондона или Брет-Гарта... Но вы представляете, что такое Авдей Макарыч? Это даже не акула, настоящий кашалот! Он вас, говоря коммерческим языком, заглотнул. С точки зрения морали, конечно, безобразие. Да ведь еще Гаврила Державин отметил: «Злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса!» Можно ли начать с Вагановым тяжбу? Это затянется на годы, влетит в копеечку. Вас, положим, охотно авансируют его конкуренты, Фома Лаптев или Ефим Бахарев. Но какой смысл? Они хватят почище Ваганова, тоже оберут.

— Значит, дело безнадежное?

— По-моему, да, — отвечает Жуков. — Чем вы докажете, что Ледяной ручей открыт именно вами? Авдей Макарыч сегодня же пошлет туда своих людей, начнет оформлять заявку в Горном управлении... Если вы даже остолбили этот золотой ручей, так через неделю на месте ваших столбиков будут зеленеть столетние сосны! Ваганов это может оборудовать. Беда еще в том, что вы государственный преступник, скрывшийся от суда. Легализоваться вам никак невозможно. Я даже поражен, что вы рискнули приехать в город.

— Я не знал, что была заметка в газете...

— Да? Хотите на нее взглянуть?

Он снял с этажерки подшивку «Губернских ведомостей», полистал, развернул передо мной на столе. На четвертой полосе газеты под крупным заголовком «Охотник-убийца» было сказано:

«На днях в деревне Кочеты Н-ского уезда молодой охотник Матвей Соломин выстрелом из ружья убил старосту Семена Потаповича Бородулина при исполнении последним служебных обязанностей. С. П. Бородулин был всеми уважаемый человек, служил образцом добродетели, христианского смирения. Трагическая гибель старосты от руки злодея потрясла умы крестьян. Вместо того чтобы раскаяться и отдать себя в руки правосудия, убийца сбежал в тайгу, захватив с собою ружье и собаку.

Как же мог пойти на такое злодейство юный охот-

ник? Кто подготовил его, воспитал в нем злую, преступную волю? Бывший кочетовский учитель Всеволод Евгеньевич Никольский. Это он занимался растлением душ деревенских ребят, преподавал им «политические» уроки, настраивал их против графа С. А. Строганова и против властей предрержащих. И вот вредные семена политиканства дают страшные плоды. Надо еще добавить, что дед Матвея Соломина участвовал в бунтах и осужден на каторгу: воистину яблоко падает недалеко от яблони».

И под этим стояла подпись: «Деревенский учитель Ф. П. Гладышев». Вот он каков, этот божий старичок, сменивший Всеволода Евгеньевича!

— Ну как? — спросил Жуков. — Все правда?

Я рассказал ему про убийство Семена Потапыча.

— Понятно, — кивнул он. — Что же остается? Покориться злой судьбе. Рад бы помочь, но не могу, не в силах.

Валентина Георгиевна подала на стол два стакана кофе, вазочку с печеньем. Помешивая кофе серебряной ложечкой, Жуков улыбался и говорил:

— Вообще вы человек загадочной и странной судьбы. Старосту не хотели убивать, а убили. Мою супругу тем более не хотели отправить на тот свет, а отправили. Золото не искали, а нашли. Вы открыли, видимо, сказочную россыпь для... других! Вам чертовски не везет!

Я решил снова уйти в глухие места, потратил почти все деньги, полученные от Ваганова: купил в магазине двустволку, тысячу патронов, кое-какую одежду, охотничье снаряжение, на пристани — подержанный, но прочный ботник.

Надо плыть...

На реке ветер. Усаживаю Пестрю, налегаю на весла. Значит, не суждено мне освободить деда и друзей моих из тюрьмы...

Закрываю глаза, слышу трубные крики пролетающих птиц, гулкие выстрелы молодых, неутомимых, как я, охотников.

Вечером второго дня сворачиваю в глухой приток, в сторону от Ледяного. Ели и пихты подступают к берегам. Суровый край, и такая тишина, что далеко-далеко слышен крик желны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приток обмелел. Показались зеленые шиханы и мутнобурые скаты горного хребта. Вытягиваю ботник на поляну, заросшую желтыми цветами, и долго сижу, согретый солнцем. Пестря гоняет глухарей, призывно взлаивая, когда они садятся на дерево. Хочется взглянуть на окрестности, а главное — посмотреть, не вьется ли где дымок, признак жилья. Одиночество не пугает. Проживу до зимы, а там пойду разыскивать станове остяков. Поднимаюсь на гребень горы, смотрю по сторонам. Необозримое зеленое море на десятки верст!

Хорошие места. Свинцу и пороху со мной — на два года. Разве пропадет человек с ружьем и собакой? Сажусь на черный валун и слушаю, как булькает среди камней вода. Валуны и гальки загораются неожиданными цветами. Солнце горячими пятнами ложится на мою обнаженную грудь. Вдыхаю свежий, пропитанный лесными запахами воздух, и так хорошо, что не хочется двигаться.

На перекате ныряет белозобая, с аспидно-серой спинкой оляпка. Садится на мшистый валун, отряхивается, щебечет и снова идет по отмели, опускается в воду, сначала по грудь, потом до головки, все ниже и ниже, пока вода не покрывает ее совсем. Птица ходит по дну ручья, как по открытому месту. Завидев водяных жучков или рыбную молодь, оляпка хватает их, взмахивая короткими крыльями, как веслами.

В омуте, под невысоким обрывом, плещутся хариусы. Голубовато-серый, с крапчатым подкрыльем мартын падает с высоты в омут, лениво поднимается вверх, унося в клюве трепещущую рыбку. Высоко в небе пухленьким облачком проплывают лебеди. Из

камышей с криканьем вылетают утки. Оглядываю птиц. Улыбаюсь их разговорам. Знаю, о чем они говорят. Помахиваю им шапкой. Это мои будущие друзья и соседи.

Листья молодых берез щебечут под ветром птичьими голосами. Кланяюсь березам, елкам и соснам. С ними тоже придется дружить. Здесь не ступала человеческая нога. Лес, горы, озера и омуты, наполненные рыбой, — ничьи. Один буду стрелять непуганых гусей, краснобровых косачей. Спокойствие леса наполняет радостью. Чувствую себя как бы вновь рожденным. Замутив у переката воду, ловлю сачком хариусов, выхожу на берег. Подбегает собака и сербистую скользкую рыбу, кинутую ей, подхватывает на лету. День ласковый, тихий. Перекликаются сойки, дятлы, кедровки, верещит желна, и насвистывают поползни.

Варю уху и, позавтракав, начинаю строить шалаш. Таскаю ветки, булыжник, мох, траву. К вечеру домик мой готов.

У входа складываю из голубого гранита камелек с печуркой для сушки грибов и ягод. И как хорошо отдыхать в лесной тишине после удачной охоты! Собака стережет мой сон.

Если хочется поговорить, разговариваю с Пестрей. Он садится на задние лапы, слушает, поблескивая глазами. Я говорю:

— У меня славная собака, хорошая собака, с крепкими ногами, острыми зубами, не расстанусь с такой собакой.

Пестря виляет хвостом, соглашается.

Но стоит сказать:

— У меня худая собака, не умеет искать дичь моя собака, продам вогулам собаку, — он гавкает от обиды, убегает в кусты.

Бывают и другие разговоры. Я спрашиваю, какая будет погода, на кого завтра охотиться, где лучше жить, в городе или в тайге. И на все вопросы отвечает по-своему собака.

Лето проходит как праздник.

Месяц ягод. Клюква, морошка и брусника поспе-

вают в этих краях почти в одно время, и так их много, что без труда могу заготовить на целую зиму.

Ночи холодны. Утром по-осеннему дымятся горы и туман катится пеленой над певучими потоками воды. Воздух прозрачен и неподвижен. Осень бродит по тайге, раскрашивая деревья в золотисто-оранжевые цвета. Падает лист, опаленные инеем травы клонятся к земле. Водоплавающие птицы собираются на юг. Яркой желтой полоской камышей, как густой мазок масляной краски, огибают темную воду реки. На кедрах и соснах слюдяным блеском играет паутина.

Лоси кончают свадебные игры. На заре просыпаюсь, сбрасываю одеяло, иду купаться. Как обжигает осенняя вода! После купанья легко-легко, и кажется — вот-вот оторвешься от земли, полетишь за гусями в голубизну неба, где тают слоистые облака.

Каждый день мы охотимся, и нельзя пожаловаться на еду. В котелке всегда свежее мясо. Сухари берегу. Нужно приучать себя обходиться без хлеба.

Лось-великан с тупыми корнями обломанных рогов выбегает на водопой к шалашу. Пестря урчит. Я поднимаю руку. Пес прижимается к земле, вздрагивая всем телом. Вскидываю ружье. Лось выгибает спину для прыжка. Пуля сражает его в воздухе. Бык падает, подминая кусты ивняка. Освежив тушу, принимаюсь коптить окорока. До наступления холодов построю избушку. И не страшно встречать зиму. Хватит мяса. Из шкуры сделаю легкие, удобные поршни и рукавицы. Чего еще нужно?

По откосу пробегает старая волчица с облезлыми боками. Слышу, как она ловит молодых тетеревов. Они попискивают в ее когтях, а рыжеватая самочка испуганно квохчет, перелетает с дерева на дерево, собирает уцелевших детей.

Пестря гоняется за волчицей. Я отзываю его.

— Что ты с прощельгой связываешься? На такую дичь не будем тратить заряды.

Но трудно удержать собаку. Она, рыча, подползает ко мне, и я вижу усмешку на собачьих губах: «Как хочешь, хозяин, а я буду делать свое дело».

Ночью волчица поднимается на гребень взлобка и, уставив морду в звездное небо, протяжно воет. Откликаются молодые. Я не стреляю волков, и они совсем перестали бояться. Часто, собирая на полянах бруснику, вижу в траве седую спину зверя, настороженные глаза.

Хожу по склонам хребта, взбираюсь на гладкие отвесные кручи, осматриваю озера. Ноги мои не устают, руки просят работы. Сбрасываю голыши с обрыва. Десятипудовый камень с гулом летит, увлекает за собой мелкие камешки, землю, ломает кусты. В реке поднимается водяной столб. Грохот звенит в моей груди, вызывает короткие удары сердца.

И нет желаний, кроме желания двигаться по лесным полянам и горным кряжам. Я не тороплюсь: все равно, куда идти. Порой ухожу далеко, и не хочется возвращаться к хижине. Разведу огонь, засыпаю у костра.

От моих следов обозначились тропы. Они разбегаются от шалаша во все стороны, как ручейки с холма.

Настреляв дичи, сажусь отдыхать. Рев лося в долинах — как песня леса. Он уносится под облака, потом падает на землю и замирает тихо звенящей музыкой. Свистит ветер, подгоняет темные тучи. Деревья под ветром скрипят, задевая друг друга ветками. В морозные утра ели и кедры покрываются звонким хрусталем.

В полдень солнце обогрывает тайгу, мох меняет краски, сучья берез трещат, папоротник сбрасывает ледяные сосульки и вновь поднимается, зеленеет стрельчатым узором. Расстегиваю ворот, чтобы ветерок обдувал грудь, и смотрю на солнечные жилки в бурой земле: они, сливаясь, передвигаются, как живые. Мой глаз видит все перемены в лесу. Рябина розовеет с каждым днем. Дрозды с криком усаживаются на ветки, клюют спелые ягоды. Наевшись, птицы улетают к реке, и снова все затихает.

Надо мной цокает белка, шелушит орехи, еловые шишки. У белок еще недостаточно пышные хвосты, спинки совсем рыжие; я не стреляю, хотя Пестря облаивает каждого зверька.

Из твердого корня березы я сделал трубочку. Табаку нет. Но разве мало пахучих трав? Сушу головки дикого клевера, легонько растираю на ладонях, набиваю трубку, высекаю кремнем огонь, и синий дымок щекочет ноздри. Каждая травка имеет свой запах, то резкий, то острый, то нежный и кисловатый, как почка вербы.

Хороши ночи после осенних ливней и запоздалых гроз. Синее небо, прочищенное северным ветром, луна покрывает серебром воду и горы, а звезды, как золотые жуки, передвигаются на запад, шевеля мохнатыми лапками. В такие ночи приходит чувство покоя и радости. Из памяти выпадает все виденное раньше, и кажется, что живешь здесь, в этой тишине и лунном свете, давно-давно.

Однажды послышался выстрел. Я нюхаю воздух: не пахнет ли порохом? Ветер дует с той стороны, но ничего не наносит. Кто может стрелять? Я думал, что треснуло дерево, и успокоился. Потом видел на утренней заре дымок — верстах в пяти от моего жилья. Но это могла дымиться муравьиная куча, разрытая медведем.

Прохожу по тропкам, киваю головой деревьям, под которыми случалось спасаться от дождя. Это мои знакомые. Они качают вершинами, радуясь тому, что снова пришел к ним охотник.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Просыпаюсь от звона в ушах.

Пестря лает. Вскидываю на плечо ружье, иду в лес. Лай ближе и ближе. На вершине кедра сидит рысь. С земли она кажется не больше домашней кошки, но глазом охотника вижу, что это матерый хищник, какие попадаются не часто. Рысь вытягивает тупую морду, легонько пошевеливает хвостом. Ружье заряжено дробью, и не хочется идти в шалаш за пулями.

Не уйдет от дробы. А уйдет — не больно дорога. Рысь прыгает наискось вниз, рассчитывая попасть

на ветки другого дерева, и, оборвавшись, падает в траву. Не успеваю добить ее вторым выстрелом: собака опередила. Они свились в злобно урчащий клубок, рвут друг друга, невозможно подступиться.

Отстегиваю с бедра нож, готовясь кинуться на помощь Пестре, и выжидаю, когда можно будет схватить зверя за ногу, распороть брюхо.

Из чащи выскакивает крутобокая белая лайка, с визгом хватая рысь. Зверь, испуганный этим падением, неловко перевернулся, и тотчас клыки Пестри, щелкнув, сомкнулись; бой затих. Я прячу нож за голенище. Рысь издыхает. Задние лапы ее дергаются.

Откуда взялась белая собака?

Пестря отходит в сторону, облизывает раны. Белая собака обнюхивает его, виляет хвостом. Потом собаки лижут друг друга. Рысь оскалила морду, и кисточки на ее ушах шевельнулись. Показалось, она готовится к прыжку. Я посылаю ей в спину заряд левого ствола. Собаки снова рвутся к зверю.

— Зачем шкуру портишь? — раздался негромкий голос за моей спиной.

Я повернулся. У опушки, опираясь на длинноствольную берданку, стоит высокий старик с коричневым от загара лицом, одетый в синюю холщовую рубаху и широкие пестрядинные штаны с заплатами на коленках. Шапки на нем нет. Лысая голова, круглая, как арбуз, сияет под солнцем. Ресницы и брови почти скрывают глубоко запавшие глаза.

— Здорово живешь, земляк!

Приветствую его, подняв руку.

— Который день чую, собачонка твякает, кто-то постреливает, — говорит старик, подойдя ближе. — Что, думаю, за охотник припожаловал? Вот и встретились.

Я вспоминаю про услышанный выстрел, про дымок, замеченный мною с горы. Теперь все понятно: сосед! Придется откочевать на другую сторону хребта.

— Кто такой будешь?

- Человек, — строго отвечает старик.
- Какой губернии, села, волости?
- Никакой. Где живу, там и губерния моя.
- Звать как?
- Человек.

Меня сердит это упрямство. Чего он прикидывается шутом гороховым?

— Толком спрашиваю.

— Толком и отвечаю. Я свой паспорт и метрики давно в печке сжег, имя забыл, фамиль потерял. А как дело вышло, — долга песня.

— Мудрено плетешь, дед.

— Не любо — не верь. Я тебя не пытаю. Кабы ведал, где ты ныне обедал, знал бы, чью ты песню поешь. А не знаю — бог с тобою, и так проживу.

Он поднимает рысь за ноги.

— Ладная добыча.

Старик похож на кержацкого начетчика, которого выжили из деревни православные попы. Но берданка и хорошая промысловая собака сбивают с этой мысли. Уставщики и начетчики не занимаются охотою.

— Ты откуда взялся? — спрашивает он.

— Городской, дедушка.

Он понимающе мигает.

— От селения далеконоько, и время для охоты неподходящее. Тут зимой на лыжах проходят, да и то в год один человек забредет. Еще металл рыли.

— Золото ищут?

— Искали, — поправляет старик. — В речке песок мыли, шурфы били. Меня тормозили: «Не видал, говорят, золотой песок?» Нет, говорю, не видал, да и видеть не хочу.

— Нашли?

Старик мотает головою.

— Зря маялись. Ты с Полуденной, что ли?

Я не знаю, что ответить.

— Не хочешь отвечать — не надо, — говорит он. — Я не поп и не стражник. Мы, видать, с тобой одного поля ягоды. Так али нет? Идем в гости, чай-

ком напою. Недалече живу. Мою усадьбу все зверюшки знают: одна труба, четыре избы, восемь улиц.

«Придется уходить вверх по реке, — думаю я. — А жаль, места хороши».

Он повторяет приглашение.

— Идем, — отзываюсь я, понимая, что теперь неудобно отказываться.

— Тютька, домой! — зовет старик.

Белая собака бежит впереди по наброду. Старик ловко двигает обутыми в новые лапы ногами, с завидной легкостью прыгает через валежник. Мы идем берегом реки.

«Что за человек? — думаю я, шагая вслед за стариком. — Почему живет в глухомани? Один или с семьей? Что делает?»

...Сидим в маленькой избушке, прилепившейся на склоне горы. Окидываю взглядом жильё. На полке посуда: эмалированные миски, две кружки, чугунок, медный солдатский котелок; под самым потолком, на деревянных гвоздях, вбитых в стену, беличьи и горностаевые шкурки. Лавки, самодельный табурет, широкая, удобная лежанка — все сделано из добротного дерева, выстрогано, пригнано заботливой рукой. В углу висит поношенный чекмень, над ним — деревенская войлочная шляпа. Над лежанкой растянута в пяле шкура медведя-пестуна. Сладковатый запах мездры щекочет в носу.

— Топтыгина заполевал?

— Было дело, — неохотно отвечает дед. — На утре случилось. Пчелы тут, а он пришел, давай зорить. Бортъ одну поломал: любит медок, косолапый бес. Тютька взлаяла. Выхожу с берданкой, машу на него: «Кыш, дурак! Пошел прочь! Не смей сюда ходить!» Он будто не чует. Бить не хотелось, молодой еще, мало пожил на свете, да я медвежатину и не люблю. Я опять: «Кыш, поганец!» Он хоть бы что: урчит, хрюкает бортъ. Я думал его шугнуть, выстрелил в зад. Берданка дробью была заряжена. Ему бы в лес без огляду бежать, а он ко мне. Тютька верещит, рвет за гачи. Он прет, глаза дурные, с кровью, пасть разинул и уж, вижу, норовит лапой меня по

загровку. Ну, пришлось по башке топором кокнуть. Умирай, коль жить не умеешь.

Ярко вспыхнул костер из сосновых лапок, и пузатый чайник затянул песню. Вижу, старик рад встрече со мною.

Всю ночь разговариваем. Рядом в густом ельнике ухает филин. Меня с детства пугают дикие вздохи этой непонятной птицы. Бабушка внушала: «Филин да ворона — зловещие птицы, крик филина — к несчастью».

Старик смеется залихватным смехом.

— Эк соседушка-то мой зевает. Дружно живем. Каждую ночь перекликаемся. Он аукнет, а я вот эдак.

Он надувает щеки, из груди его вырывается протяжный щемящий вопль. Эхо гудит на отрогах. Филин еще раз мяукнул и смолк.

— Ладно кричу?

— Ладно, да больно страшно.

— Я на всяки лады умею, — хвастается старик. — Хошь — лося подманю, хошь — рябка. Меня и мураши понимают. Сяду возле мурашиной тропы, разговариваю: что, мол, варнаки, робите? Они остановятся, глядят, лапками потряхивают. Я им хлебных крошек подкину, мясца кусок.

...Утром расстаемся. Отдаю старику рысь. Он принимает подарок молча.

— Ты того... — говорит он. — Ненароком зайдут бродяги або старатели — не промолвись. Мне, видишь, оказывать себя нельзя. Я чертом помеченный. И сам остерегайся. На заре из ружья не пали, выстрел далеко слыхать. Вот зимой дело другое. И костра днем не разводи. Заходи почаще.

Ухожу в раздумье: «Что за человек сосед?»

Через день я снова у старика. Недалеко от избышки, на дне оврага, любовно уделанный огород. На еловых чурбанах стоят самодельные ульи. Старик обосновался тут прочно и надолго.

«Вот и мне бы такое жильё», — думаю я, оглядывая стариковы владенья.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сидим на поваленной ветром пихте. Меж деревьев сверкает солнце, шелестит ветер, падает желто-красная хвоя сушняка.

— Гневить бога не хочу, — рассказывает старик неторопливо. — Жил справно. Была лошадь, две коровы, овечки, свиньи, гусей да курей полный двор. Пчельник был, медок со стола не выводился. Пчелок уважаю, и пчела меня любит, божья тварь. Баба досталась безотлыжная, сыновья и дочери подросли, помогают в хозяйстве. Живем дружно, как мураши. Соседи завидовали!

Подоспело время — сына-большака, Тимоху, в солдаты забрали. Обучили военному делу, угнали в Азию, границу русской земли сторожить. Писал Тимоха, что там скука, пески желты кругом и жара нестерпимая. Потом месяц, другой — нет писем. Мы в Азию через волостное правление запрос шлем. Вскорости ответ получаем. Извещает командир батальона, где служил Тимоха: так и так, дескать, сын ваш любезный погиб в бою с врагами, за веру, царя и отечество, молитесь, старички, богу. Да-да... А сын был — обойди весь белый свет, не найдешь такого. Ростом высок, в плечах — аршин, волосы на голове — как лен, и лицом бел да румян, а сердце имел золотое: мухи не обидит. Первый гармонист на деревне. Бывало разведет голубы меха — господи боже мой... сам себя забудешь, ноги ходуном ходят. Подумаю, что нет его в живых, — дыханье стынет, ровно черный камень на сердце лег.

Ну, отслужили панихиду. Старуха и брякни в окаянный тот час: «Через год, Евлан (меня Евланом звать), Ванятку в царскую армию ладить станем».

Меня будто в кипяток ширнули. «Как, говорю, Ивана? Да неужто второго сына убьют?» Да-а. Я с той поры вроде с ума спятил, да на разум набрел. Лежу зимой на полатах (ночи-то долги, делать нечего, бока пролежишь), и такое накатит — беда! «Для чего, — думаю, — на белом свете урядники, старшина,

земский начальник, губернатор, генералы, цари?» И до того замстилась эта чертовщина — сна лишился. И так и сяк прикидываю умишком — непонятно. Стал читать священно писанье, чтобы там докопаться до корня. Читал, читал — еще боле запутался. Иду к писарю, учителю, к дьяку, попу, ловлю странников, прохожих, бродячих торговцев, разный бывалый народ. «Объясните, баю, что к чему». Все охотно объясняют, но у каждого свой царь в голове, каждый свою ложь сеет, а правды клещами не вытянешь.

Ну, все-таки одолел правду-матку, своим умом дошел — заявил: «Не признаю властей. Сам себе я господин и земский начальник».

С того и покатилося. Волостное правление бумажки присылает, подати-налоги платить велит. Я бумажки рву в клочья, ото всего отпираюсь. Начальство, понятно дело, ерепенится. Меня в кутузку, меня пытаются. Бьют-увечат. Я стою на своем. Ну, пошли тут разные штрафы, пени, недоимки, протори да убытки. Самовар с торгов продают, корову со двора гонят, лошадей везут. Жалко: добро пропадает, кровью да потом нажито. Баба ропщет, сыновья косятся стали. Я стою на своем.

Подкатила осень. Время Ивану в солдаты идти. Я повестку порвал, сына не даю. Приезжают брать силой. «Эх, — думаю, — была не была, катай с плеча!» Схватил топор, отсек Ивану большой палец на руке: знаю — без пальца не возьмут. Сына в больницу — меня под арест. Баба ревмя ревет. Соседи: «Ах, ах, что натворил, такой-сякой!» А ты думаешь, сладко топор подымать на сына? Да-а. Моя кровь была в нем.

Привезли под конвоем в город, к набольшему начальнику, в окружной суд. Начальник вытарачил глаза, губы надул. «Что, Евлан Чернухин, бунтовать задумал?» — «Бунтовать не бунтую, а законов ваших не признаю, властям не подчиняюсь».

Он — орать, ногами топтать; страсть кипятился.

Я молчу. «Нет, — думаю, — слов супротив моей правды, криком взять ладишь. Ничего, ори, авось легче будет. На то и начальник, чтобы орать».

Он маленько остыл и опять: «Ты жулик или умом рехнулся?»

Я молчу. Страху в душе нет. Даже весело стало, что большой начальник такую горячку порет.

«Позвать сюда самолучших докторов-лекарей: пусть обследуют, чем болел, какую хворь подхватил».

Повели в больницу. Доктора в белом, и такие ласковые, в глазах собачья умильность. Стукали молоточками, слушали трубками, ногу на ногу клали, ребром ладони по ногам моим ударяли и глупыми вопросами изводили.

— Какими?

— А такими, — весело сказал старик, тряхнув бородой. — «Какой сегодня день?», «Какой будет завтра?», «Сколь стоит пуд муки на базаре?», «В каком месяце рождество бывает?»

Отвечать им не стал. Сердце горело. Я сам спрашивал: «Сколь вы, говорю, антихристы, за мученье народа от царя сребреников получаете? По какой цене совете продаете? Мы, мужики, вас кормим-поим, а вы над нами насмехаетесь».

Они сразу отступились. А начальству объявили: «Евлан Чернухин здоров».

Ну, меня в острог. Тюрьма что могила — всякому место есть. Держали в одиночке месяц. Камера — глухая, темная, как гроб. Духота, смрад, грязь. Хуже собачьего кутка. Подпустил бес и блошку и вошку. Дело было зимой. Сторожа дровишки продавали на сторону, печь не топили. Окна заледенели, с потолка течет. Измерз — спасу нет. Озлел, очерствел душой. На стену лезть готов. Вижу одно: свет бел, да люди черны.

Вызывают в судилище. Коли богатого судить ведут, он в суд ногой, в карман рукой, и все по его дуде пляшут. А наше дело погибельное. Хоть и кривой ты судит суд, будешь худ, и жалиться некому. Да-а... Повели при конвое. На суде болтали, мололи невесть что. Языки чиновничьи — как ботало у коров на шее. Прокуроришка, черный, вертлявый, как вьюн, все допытывался, подъезжал:

«Скажи, кто научил? Сознаешься — облегчим наказание». — «Своим нутром правду почуял».

Он серчает: «Врешь, плешивый дьявол! Как это нутро толкнуло супротив царя идти, ежели царь самодержец всея Руси, помазанник божий на земле?»

И почал вертеть, путать. Известно: судья да прокурор в суде — что рыба в пруде.

Я ударил себя кулаком в грудь. «Коли бог с царями заодно, против мужичка, бога не признаю! И судить не можете!»

Прокуроришка аж затрясся. «Несудима, говорит, только воля царская, а тебя засудим, чтобы другим неповадно было».

Я опять ответ даю. В народе шепот побежал. Председатель звонком над головой трясет. Судьи со стульев повскакали. Посадил я им занозу в печенки. На этом спор кончился. Судьи посовещались, решение объявили. Получил я, раб божий, двадцать годов каторги. Разбередили шибко: в тяжбе не дорога ладога, дорога обида.

С партией кандалников погнали на Дальний Восток, на реку Амур. Там колесная дорога строилась. Шла та дорога-колесуха, будь она трижды проклята, от города Хабаровска до города Благовещенска, длиною восемьсот верст — через горы, болота, непроходимую сибирскую тайгу. Да-а... В тюрьму широка дорога, да из тюрьмы узка. Претерпели всего. Много там людей полегло от болестей, гнуса, глада и побоев. Убегал я с колесухи дважды. В первый раз поймали. Второй — заплутал в тайге, мышей, кротов ел, сапоги кожаные съел — отощал, вернулся с повинной. Били-увечили до полусмерти: ребро сломали, два зуба выворотили. Пробыл на колесухе десять лет. Ежели описать, что испытано, видно в каторжных бараках на постройке колесухи, толще библии книга получится. Да-а... Вскорости колесуха была кончена. Погнали на мученье в другие места. По дороге я сбежал.

— Как удалось?

Евлан усмехнулся.

— Ловко это вышло, парень. Шли под сильным

конвоем берегом Зеи-реки. Дело к ночи, темнота подваливает. Кандалов в те поры уже не было. «Ну, — думаю, — двум смертям не бывать, а одной не миновать». Выбрал бережок покруче — и бултых в реку. Плавать я мастак, на воде вырос, как щука, ныряю. Конвойцы пальбу открыли. Пули по воде — жик, жик. Ну, в темноте да второпях али попадешь? Я плыву да плыву. Конвойцы в воду лезть побоялись: время осеннее, шуга по реке пошла, ветерок низовой гудел, волна плескалась. А тут еще, на меня глядя, другие каторжане почали в реку сигать. Измучен был народ, готовый на все. На берегу крик, стрельба. А я плыву да плыву. Прожгло насквозь, руки-ноги сводит. А я губы до крови прокусил, плыву. Дальше что?

Добрался до дому, а меня там ищут. Зиму прожил в голбце, в бане, на свет божий не показывался. Иной раз лежу под полом. Чую, заходит урядник, спрашивает бабу: «Мужик домой не объявлялся?» — «Не видали», — отвечает баба. «Если явится, обязана докладать немедленно. Укроешь — самое посадим».

Весна пришла. Народ землю пашет, сеет, а я, как запечный таракан, по щелям прячусь. Сердце болит. Руки чешутся — робить хочу. Но нет ходу из-под полу! Сенокос начали в деревне. Узорил кто, надо быть. Нагрянул как-то под утро урядник с десятскими, чуть не сгребли. Нет житья в деревне! Подался в чужие места, в кыргызскую степь. Там приволье. Земля не пахана и не меряна — конца-краю не видно. Помещики кыргызские прозываются ханами. Скота у ханов — тысячи голов. Нанялся к хану Батырбеку коней пасти. Батырбек был постарше меня, но ловок в езде, красив. Имел шесть жен, много верблюдов. Конь у кыргыза дикой — спасу нет. Табуны стеречь — мука-мученицкая. Жеребят волки рвут. Хан за потерянного жеребенка кнутом порет без милости. Ну, ничего. Стал привыкать. Кыргызы по-русски маленько лопочут, я кыргызские слова вытвердил. Все повадки ордынские перенял. Кони слушаются. Гикну бывало, арапником щелкну — табун за мной вихрем. Харчи в орде были ладные. Хлеба кыргызы не уважают, все больше мясом кормятся. Мяса вдо-

сталь. С жеребятины спервоначалу мутило, потом обошлось. Трескал за обе щеки.

Кыргызы народ приветливый, даром что нехристь. Обиды от них зря не имел. Да не привелось жить в орде. Осенью налетел буран с дождем. Степь оледенела. Это называется джут. Кормов нет. На тыщи верст лед, хоть в бабки играй. Скот начал падать. В неделю хан Батырбек потерял свои стада.

Вижу, дело худо. Распрощался с ордой — и на родину. Петлял, петлял, да и угодил в тайгу. И вот — живу. Тайга-матушка поит, кормит, укрывает от беднапастей, ни царям, ни земским начальникам я не подвластен. Что зверя, что птицы здесь — сам видишь. Летом положу в лодчонку звериные шкуры, спущусь по реке до селенья, наменяю муки, провианту охотничьего, соли, табаку, возвращусь и живу до следующего года.

Он усмехается.

— А теперь сказывай о себе. Коли, вроде меня, от людей отшибся — давай вместе жить станем.

— Давай, — говорю я и протягиваю руку.

Он отвечает крепким пожатьем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Всю ночь валит снег. Ветру нет. Лес молчит, будто слушает песню. Евлан в легком овчинном полушубке выходит во двор. Снег скрипит под ногами. Он вытягивает руку, и ладонь покрывается снегом. Евлан растирает снежинки пальцами.

— На мерзлую землю падает: значит — шабаш. Милости просим, матушка зима!

В избушке горит камелек. Похрапывая, взвизгивают во сне собаки. Выхожу вслед за Евланом встречать зиму. Разве уснешь в такую ночь? Невозможно стоять на месте: ноги сами идут по тропе, и снег засыпает следы. Тишина. Не воют волки. Звери, наверное, тоже смотрят, как падает снег, и молчат. Зима идет по горам и низинам бесшумными шагами.

Утром стужа сковала тайгу. Сосны потрескивают.

Ветки берез синеют, как сталь, и ветер не может пошевелить их. Кедровые деревья стоят притихшие, будто боятся уронить свои белые шапки. Из-за гор выглядывает солнце, и под его лучами так хорошо, молодо сверкает снежок. Заговорили дятлы, снегири. Лиса крадучись бредет по мягкому, останавливается, поводит носом и, почуяв мышинный писк, разгребает передними лапками снег. Косачи вылетают на березник, сидят по опушкам поляны, пощипывают мерзлые почки. Радостно идти по белой тропе.

Стреляю нижнего петуха. Птица падает, разбрызгивая кровь на снег, бьет крылом, поднимает искры. А верхние глядят вниз, не понимают, что такое стряслось. Снова щелкает выстрел, и второй петух, роняя перья, кувyrкается в снеговой пыли.

Евлан ставит капканы и кулемы. Возвращается утомленный ходьбою, но довольный. Щеки его розовеют.

— Медведишка залег верстах в двух от нашей избенки, — говорит он, отдирая пальцами сосульки с бороды. — Чуть не наскочил на него. Шкура с проседью. В одних годах со мною, подика.

— Что ж, завтра возьмем.

— Завтра нельзя.

— Почему?

— Он лег недавно, не разоспался как следует. Тяжело брать.

Запасаем рыбу. Река хорошо замерзла. На заводах и протоках лед гладкий, как зеркало, и такой прозрачный, что сквозь него видны камни, отмели, водоросли, медленное движение рыб. Просекаю топором узкие проруби. Вечером Евлан спускает двойную сеть. В темноте зажигаем смоляную лучину, бьем по льду деревянными колотушками. Напуганная ярким светом и грохотом, рыба кидается, запутывается в сетях. В солнечные дни ставим на реке палатку. В середине палатки у проруби Евлан сидит с острогой. Я захожу вверх шагов на сто и гоню рыбу. Старик ловко поддевает сазанов и налимов. Рыбачим также на мелких озерах, где вода промерзла почти до дна. Там караси и щуки задыхаются. Мы делаем неболь-

шую лунку, и рыба сама лезет в подставленный сачок. Наша кладовая доверху завалена мороженой рыбой.

Снег падает ночью и днем. Ветер наметал в низинах саженные сугробы. Тетерева на вечерней заре, сложив крылья, падают с вершин вниз головой, зарываются на спанье в снежную мякоть. Волки выгребают лапами сонных птиц и, рыча, пожирают. Зверя много. Евлан часто приносит горностаев, лисиц. Двух соболей поймали в ловушки, и одного удалось убить из ружья.

Напоминаю про медведя.

— Засыплет его — не найдем.

— Понимаешь, как-то неловко идти, — сознается Евлан. — Вот ставлю ловушку на лису. Тут — кто кого перехитрит. Попалась — пеняй на себя. Догадалась — ее счастье. А медведь? Спит, как дите малое. Подойдешь, да и стукнешь. Совестно брать в берлоге: все равно, что в чужой дом ночью забираешься.

Долго упрашиваю старика. Он сдается.

— Ну, ии ладно. Завтра пойдем.

Ночью, при свете камелька, снаряжаем патроны. Евлан точит бруском рогатину. Утром, чуть свет, движемся. Собак ведем на сворках.

Евлан на широких лыжах, подбитых лосиной кожей, идет впереди. Я спешу за ним и думаю о том, что нет ничего на свете лучше этого бега по морозу под низко нависшим зимним небом. Снег розовеет на солнце и мягко синее в тени. Огибаем крутики, заросшие молодым пихтачом, густым, как рожь. Бурелом загораживает дорогу. Собакам трудно идти на привязи. Они царапают бока о валежник, взвизгивают. В редколесье, на взлобке, Евлан останавливается.

— Тут, — он вытягивает руку.

Ничего не видно за корневищем ели, вывороченной ветром, но кажется, я слышу затрудненное сном дыхание зверя. Над берлогой чуть приметно вьется парок. Желтоватый куржак заметал кусты, валежины.

Собаки поднимают щетину на хребтах, рвутся к берлоге.

Евлан отаптывает против чела место в снегу.

— Стой здесь, — шепчет он. — Я шугану. На тебя должен выскочить. Не робей, Тютька ходу не даст, не первого ставит. Да и твоя собака, видать, хороша. Возьми-ка на всяк случай рогатину.

Отодвигаю лыжи.

Морозно. Солнце искрами рассыпалось по сугробам, и ледяные сосульки на кедрах горят, как свечи.

На снег невозможно смотреть — так он сверкает. И в этой студеной тишине все куда-то исчезло, отодвинулось, утонуло в блеске снега. Вижу перед собой только заиндевелую корягу, жду. В чутком, тревожном ожидании стоят деревья.

Евлан пускает собак. Они рвутся к коряге. Хрустит валежник, и над ним в брызгах снега, как в поэмке, взметнулся зверь. Мушка ружья остановилась на рыжем, но я не спускаю курка. Позади берлоги мелькнула заячья шапка Евлана. Как тут стрелять?

Ослепленный солнцем, зверь остановился на короткий миг, свирепо, раскатисто рывкнул, поднялся на дыбы. Собаки рвут его за гачи. Отмахиваясь лапой, он прыжками бежит по снегу, подставляет буроватый, покрытый инеем бок.

Мушка сама ловит то, что нужно. От выстрела зверь садится на задние лапы. Снег под ним алеет от крови. Вот-вот медведь повалится набок. Но как он быстро оправился, повернулся ко мне! Вижу колючую остистую шерсть, посеребренные ворсинки прижатых к башке ушей, разинутую пасть с желтыми клыками. Всаживаю рогатину в брюхо зверя и упираю черенок в мерзлую под снегом землю.

Как страшны маленькие глаза на огромной голове! Когтистая лапа перестригает рогатину. Я отскакиваю, заряжаю ружье. Тут подбегает Евлан, стреляет из берданки в голову зверя.

...На нартах, сделанных из сушняка, везем добычу к становой. Без конца кружим по тайге, обходим бурелом. Делаем передышку и снова тянем, зады-

хаясь от натуги. Темнеет. Над тайгой взошел месяц, и его сияние расцветило безмолвный лес. Идем без единого слова. Когда убиваешь после утомительного гона зайца-беляка, становится немного стыдно, а эта бурая громадина страшна даже мертвая.

Кажется, зверь притворился, хитрит. Вот он повернется, встанет на дыбы и опять, как там, у чела берлоги, оскалит клыки, распустит когти: «Ну-ко, поборемся, охотнички!»

У избушки сидим в лунном свете.

— Ух, напугался я, сынок, — говорит Евлан. — Думал, подомнет он тебя, покалечит. Здоровущий какой! Ты ему обе пули в убойное место всадил, а он все рывкает да прет, и собаки сдержать не могут. Ну, ничего, одолели. Шкуру продавать не будем. Одеяло изладишь: под ним стужа не проберет. Зима ведь долга да люта. Не пропадем: видали цыгане морозу!

В день отъезда из города я купил одну книгу. В ненастные дни сидим в избушке. Вечерами, при свете камелька, я прочитываю две-три страницы этой книги — всю сразу читать жалко, хочется продлить удовольствие. Евлан налаживает свои капканы и кулежки, обминает звериные шкуры.

— Это что за книга? Ну-ка, читай погромче, послушаю.

Я читаю про охотника из Норвегии. У него была собака — Езоп. Охотник любил девушку, и девушка любила охотника. Но они почему-то не ладили между собою: любили и терзали друг друга. Охотник уезжал. Девушка попросила его подарить ей собаку. Охотник застрелил Езопу и послал труп собаки девушке.

— Дрянь книжонка! — угрюмо бурчит Евлан.

— Дрянь?

— А как же? За что он убил Езопу? На девку сердится — на собаке злобу вымещает. Пустое сердце. Худой человек. Не люблю таких. Ладно сделал тот охотник, что его самого убил, Глана. Там еще осталось, в книжке-то? Про другое? Все едино — дрянь. Больше не читай.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Шумят весенние ручьи, вспенились горные потоки. Над озерами звенят крылом лебеди, кагакают гуси, перекликаются чибисы. На утренней заре глухарь, взлетев на сосну, вытягивает толстую шею, заводит песню, и крапчато-рыжая подруга отзывается ему на талой земле. Над мочажинами, как барашки, блеют бекасы.

Евлан выделявает в протоке шкурки, ловит рыбу, копается в огороде. Ночи стали теплее, и только слегка подмораживает к утру.

Непонятное беспокойство охватывает меня. Не могу ничего делать. Ленивая слабость разливается по телу. Приснился дурной сон. За мной гналась женщина, одетая в зеленое с желтыми цветами платье. Ее волосы развевались на ветру, как конская грива. Она вытягивала руки: «Остановись, охотник!»

Я убежал по тропе, прятался за кустами орешника. Женщина догоняла, грозила кулаками: «Поймаю!»

Просыпаюсь, — в голове тяжесть, в ушах звон. Сердце бьется толчками, будто в самом деле я пробежал несметное число верст.

«Что за чертовщина?»

Встаю с лежанки, подхожу к ведру, пью холодную воду. Окатываю из ковша голову, грудь, лицо. В окно льется холодный воздух. Бледный луч зари падает на лицо Евлана. Старик спит, всхрапывая. Голая, в черном волосе, грудь мерно поднимается и опускается. Он, должно быть, не видит снов, счастливец!

Выхожу на поляну. Стволы берез белеют кругом, как девушки в светлых платьях. Лопаются почки, пробивается первый лист. Над горами — солнце, а месяц все еще не уходит с неба, заглядевшись на весну. Земля местами подсохла. Над зеленой щетиной травы поднимаются такие свежие и пахучие ландыши, что страшно задеть их ногой. Дрозды, красношейки разговаривают на ветках. Тайга дышит утренним светом, теплом, медовыми запахами. Птичий гам нарастает, становится громче, отчетливее. Весе-

дые шибетуны, пропадавшие где-то зимою, ожили, стараются перекричать одна другую.

«Как хорошо, как хорошо! — пищат звонкие голоса. — Скоро у нас будут милые дети. Сколько забот, сколько веселья!»

Слушаю птиц, и почему-то грустно. День разгорается. Отблески солнца играют на соснах. На опушке мохового болота все еще токуют глухари. Зарядов много, но впервые за все годы не могу снять со стены ружье, пойти скрадывать петухов. Возвращаюсь в избушку. Сижу и слушаю свое сердце.

— Эй, сынок! — кричит Евлан, потягиваясь на лежанке. — Сегодня твой черед. Разведи-ка, давай, костер, чай пить будем.

Принимаюсь за работу. Все валится из рук. Я даже порезал палец ножом, чего никогда не бывало.

Завтракаем на земле, у порога домика. Старик весел. Я молчу. Меня, как птиц, потянуло на юг, к людским поселениям. Евлан перестал жевать, задумывается.

— Ты болен, сынок?

— Нет.

— Чего хочешь? Все у нас есть: сухари, свежее мясо, рыба. Наши ружья справны, собаки не потеряли чутья, не ослепли. Чего ты хочешь?

— Не знаю.

Евлан отодвигает чашку с мясом. Лицо его напряглось. Он смотрит мне в глаза.

— Ну, так Евлан знает.

Я повернулся к старику боком, стал разглядывать муравьев, ползавших по протоптанной поляне.

— Молчи, — говорю я. — Не надо об этом.

— Не могу молчать. Я старик, и слова мои справедливы. Я должен тебе помогать в черную минуту. Давай-ка песню затянем. — И он глухим, но еще сильным голосом поет:

Не для меня, молодца, тюрьма строена,
Одному-то мне, добру молодцу, пригодилась.

Я подпеваю.

Сижу-то я в ней, добрый молодец, тридцать лет,
И тридцать лет и три года.

Старик взмахивает руками.
— Нажимай крепче, парень. Не сбивайся с ладу.
Начали!

Появилась сединушка во русых кудрях,
А бородушка у молодца, как белый лен.
На резвых-то ногах железо-медь перержавели.

Песня напоминает деда Спиридона. Вижу его в кандалах, прикованного к тачке. Вот он умирает, тело укладывают в яму, хоронят вместе с цепями на ногах. В песне оживают рассказы Евлана про колесуху, про угрюмые сибирские остроги.

Все дверюшки-веревочки развалились,
Пошел-то добрый молодец из тюрьмы-то вон.
Ты прости, прости, вор-злодеюшка, земляная тюрьма,
А ты ли меня, молодца, состарила.

И захватывает песня сердце. Хочется петь еще и еще, чтобы заслушалась, заплакала тайга от человеческого горя.

— Добра песня, — говорит Евлан. — Мы ее, парень, на каторге певали. Совсем невмоготу станет, подопрет тоска лихая — хоть в петлю головой. А соберемся в круг, сыграем песню — вроде как дома побывали. Человек без песни, что рыба без воды, жить не может.

Мы перепели знакомые песни. И когда охрипли голоса и петь нечего, сидим до сумерек на скамейке. По ветру еле-еле доносится бормотанье тетеревов.

По земле низко стелются клочья тумана, окутывают сыростью пригорок. Погасла последняя узенькая, как щель, полоска над лесом. Не видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только в черной темноте над избушкой — крупные звезды.

Зажигаем костер. Евлан вспоминает прошлую жизнь. Я слушаю, удивляюсь:

«Сколько вынес человек и сохранил свою душу, не озлобился!»

Этот день связал нас в тугой, неразрывный узел. Евлан водит меня по тайге, как хозяин, которому хорошо знакомы все уголки своих владений. Из берданки он, как и я, без промаху стреляет навскидку по

любой дичи. Убив двух-трех птиц, вешает ружье на ремень.

— Шабаш!

Если я спорю, он сердится.

— Алчба пределов не знает, а ты, парень, воздержись, взнуздай себя. Надо и другим людям оставить.

То же говорил когда-то дед Спиридон.

И так радуется это родство Евлана с дедом: одного потерял, другого нашел.

Купаюсь в роднике, обжигаю тело льдисто-прозрачной волной. Евлан посмеивается:

— Так ее, так! Шпарь хорошенько плоть. Вот баню к зиме оборудуем. Попариться тоже не худо.

Он по-детски любит землю, зверей, птиц, насекомых.

Кругом много ястребов и коршунов. По утрам они охотятся на рябчиков, тетеревов и белых куропаток. Потом, опьяневшие от еды, садятся на деревья. Не желая тратить зарядов, снимаю их стрелой из лука. Евлан говорит, что не стоит убивать хищников. Я не понимаю.

— А сколько они дичи пожрут!

— Не дело затеял, парень, — ворчит он. — В лесу ни одна тварь зря не живет. Без ястреба дичь выведется. Он хватает хворых, которые не могут летать проворно. А хищников перебьешь, хворым и калекам вольготно будет. Они гнилой приплод пустят по тайге, всю породу болезнью заразят и почнут умирать. Вот и смекни, что получится.

Он доказывает свою мудрость на каждом шагу. Мой слух точен. Я с детства научился понимать голоса тайги. Однако в сравнении с Евланом чувствую себя городским человеком. Иногда ходим без собак. Он вдруг останавливается.

— Слышишь, крадется зверь?

Или:

— В траве бежит глухарь.

Я ничего не слышу. Идем, куда он показывает, и поднимаем дичь, спугиваем зверя.

— Как узнал?

— Сердцем чую, — говорит старик.

Но почему мое сердце не чувствует?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Собаки погнажи лосиху. Она прыгнула с крутика под обрыв, сломала ногу. Евлан освежевал ее.

— Соль почти что кончилась, — говорит он. — Мясо пропадет. Порублю тушу на куски, посолю малосолом в кадках, а ты садись-ка в лодку, съезди. Я бы сам поехал, да ты обернешься скорее: руки по сильнее моих. Доедешь до полесовщика у Кривой излучины. Он меня знает. Соль у него всегда есть. Поторгуйся как следует. Он жадный, за пустяк вымогает незнамо что.

Помолчав, добавляет:

— Уток на воде прорва, почнешь стрелять-пуделять. Поворачивайся живее.

Иду к лодке. Пестря, привязанный под навесом, взвизгивает. Евлан кричит:

— Забирай кобеля с собой. Спокою не даст. Ну, до чего прилипчив к хозяину пес!

Я беру собаку.

Лодка несет нас по течению. Пестря сидит на корме. В карих глазах его лукавство: «Что, хозяин, не удалось одному уехать?»

По берегам стеной стоят кусты черемухи в белой пене. Терпкий, дурмящий запах струится от них над рекою.

Солнце упало в тайгу. Останавливаюсь у тихой заводи. Жарю на костре селезня, грею чайник. Наевшись, ложусь под кустом вереска. Спать не хочется, и я слушаю, как садится роса на траву, трещат кузнечики. В траве бегают зайцы. Собака потягивает носом воздух, кидается в темноту. Дует ветерок. Звездная ночь уходит на запад. И так лежу я, не смыкая глаз, до утра.

В полдень захотелось искупаться. Подвернув к берегу, раздеваюсь, прижимаю руки к бедрам, прыгаю в омут. Вода холодная и плотная. Под корягою, в желтых водорослях, затаился усатый налим. Протягиваю руку, пытаюсь схватить его за жабры. Налим вильнул хвостом, замутил воду, скрылся в береговой норе. Стрелюю несется за стайкой плотвы белобрюхая щука. На самом дне копошатся водяные козьявки, жуже-

лицы и мальки. Вынырнув, жмурюсь от солнца, сверкающего над лесом.

Мое ухо ловит песню. Женский голос, звонкий и сильный, звенит, приближаясь к реке:

Ты, заря ль, да ты, моя зоренька!
Заря моя, да ты все холодная...

Нет, это не сон. Воздух трепещет от песни, такой близкой и манящей.

Одеваюсь бегу на голос.

Мы столкнулись на узкой поляне лицом к лицу. Пестря гавкнул, но тотчас отлетел в сторону от удара моей ноги.

Собака поджимает хвост: в первый раз ей не дают облаивать незнакомого человека.

Девушка вскрикивает. Голубое ведро падает из рук.

— Что тут делаешь? — спрашиваю я.

— Уголь жжем с тятькой. Угольщики мы. Тятьку моего Ермолай Плетнев звать. Может, слышал? Летом наготовим, осенью на плотках к заводам продавать везем.

— Далеко забрались.

— Там, в низовьях, лес рубить не дают, а здесь можно. Вот и приходится забираться. Пашни у нас нет, углем кормимся.

Волосы у нее совсем рыжие.

Она дышит глубоко.

Я смотрю на лицо, на пышные волосы, на ласковые, задорные губы. Удивительные глаза: совсем не такие, как у всех. Тусклые скаты гор и дымчато-зеленые холмы сливаются в скользящее пятно.

Она хочет пройти. Я загораживаю дорогу.

— Испугалась?

— А то как же, — отвечает она, тряхнув волосами. — Четвертую неделю живем, никого не видала, и вдруг тебя нанесло. Я подумала — оборотень. Только оборотни без собак ходят...

Спрашиваю, как ее звать.

— Марфа.

— А меня — Матвей.

Сорвав былинку, она жует ее зубами.

— Ну, идем до реки: посиблю.

Поднимаю ведро, и она доверчиво шагает со мною рядом, улыбаясь, покачивая бедрами. Страх у нее прошел, и она уже прихорашивается, поправляет кофту на груди. Спотыкаюсь о муравьиные кочки. Девушка плотная и гибкая, совсем как та, что снилась по ночам, только волосы рыжие.

На ходу задеваем бедрами друг друга. Марфа что-то говорит. В моих ушах отдается смех, слова тают. Я кладу ей на плечо руку.

— Не балуй. Думаешь, в лесу — так и можно охальничать?

Но глаза улыбаются. Садимся на траву, разговариваем. И такое нежное, радостное солнце над нами, и так тихо кругом, что от счастья останавливается сердце. Опять трогаю плечо девушки, заглядываю в глаза. Она не отталкивает, но сжимается и сидит, присмирившая. Чувствую ее запах — радостный, пьяный запах распускающихся черемуховых почек.

— Обед готовить пора, — вспоминает она и протягивает руку за ведром.

Спускаемся к реке.

Я зачерпнул воды, и мы опять идем рядом. На поляне, у свежепорубленных елей, Марфа берет из моей руки ведро.

— Больше не ходи: тятка увидит — осерчает.

— Боишься?

— Боюсь не боюсь, а отец.

Молчим, слушая щebetанье коноплянок и щеглов.

— Завтра вечером поеду обратно — выходи встречать.

И она сказала:

— Приду.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Каждую неделю спускаюсь в челноке к стану Ермолая Плетнева. Марфа встречается у заводи.

— У, противный, опять опоздал!

Она спрашивает о чем-нибудь. Слежу за ее

губами, вижу улыбку, настороженно сдвинутые брови и, когда она склоняется, слышу гулкие удары ее сердца.

Она мало говорит, но я догадываюсь о не сказанных ею словах, по глазам читаю мысли.

Я подружился с Ермолаем. Привожу ему дичь, рыбу. Помогаю сводить лес, заваливать землей длинные, набитые чурками печи, укладывая в рогожные мешки уголь.

Евлан замечает мои отлучки.

— Лебедку завел? Вижу: в полет за нею тянет. Покинешь, наверно, меня? Ну, что ж: всякому свое. Думай, как лучше. Не осуждаю. Молодой ты, сок из тебя брызжет, как смола из дерева, — вот беда. Недаром песня сложена: «С бабой худо, с бабой худо, и без бабы не того: повернешься с боку на бок, кругом нету никого». Женился бы, коли так подперло, да и вез ее сюда. Заживем семейкой. Внуков нянчить буду. Давай, право, а? Места хватит. Можем еще избу построить.

Весь день толкуем о будущей жизни. Он так загорелся мыслью о моей женитьбе, что готов ехать сам к Ермолаю. Но не довелось ему быть сватом.

С гор налетел ветер. Тайга шумит, падают деревья. Евлан кинулся убирать ульи, вынесенные на огород, и там захлестнула старика опрокинутая ветром пихта. Я на руках принес его в домик. Ветки поцарапали ему лицо, шею. Обмываю его водой, перевязываю раны.

— Крышка, сынок, — кротко шепчет он. — Не хлопочи, умру. Думаешь — то сделаю, это сделаю, а смерть ходит по пятам. Не уберегся, готов. Ждал, что Николку-царя народ сковырнет и тогда поеду в деревню, со старухой увижусь, на внуков порадуюсь. У Ванюхи-то, коему палец отрубил, ребятенки с тебя ростом, наверно. Не сказывал об этом, крепилси. А ты что думал, каменный? Не тосковал по семье? Ну, не пришло. Напиши когда-нибудь моей старушенице письмо, расскажи, как дни коротали. Ты, сынок, еще увидишь свет. Помяни, когда вольготно жить станешь.

— Помяну!

— Не плачь, — просит он. — Али слезою смерть отгонишь? Всему бывает конец. Глянь на кедры. Какая сила в дереве — страшно подумать. А придет час — рухнет на землю, сгниет, ветер прах развеет, но... на том самом месте молодь зеленая подыметя. Да, да, подыметя!

Я сижу возле него и надеюсь, что, может быть, старик осилит боль, встанет, улыбнется, как раньше, доброй, согревающей улыбкой.

Евлан подымает веки. Ясные, живые глаза смотрят пристально, сурово.

— Дай руку, — чуть слышно говорит он. — Ко-нец, сынок. Закопай в сухом месте и поглубже, чтоб волки не отрыли. Собаку мою, Тютюку, не бросай. Тебе завещаю ее...

Я сжимаю его ладонь руками.

Он вытягивается, цепенеет весь.

Я осмотрел дерево, которое убило старика. Ничего особенного в нем нет. Так себе, кривая с гнильцой пихточка, совсем не толстая. И ударила она его вершиной. Как он оплошал, не уберется? Неужели подвело сердце-вещун? По осенней воде Зею переплыл, под солдатскими пулями жив остался, а вот не мог отскочить на аршин от пихты, и нет человека!

Я похоронил Евлана хорошо. В яме сделал сосновый сруб, на дно постелил пихтовые лапки и под голову — мягкую подушку из папоротника. На могильном холме вкопал кедровый столбик и на нем вырезал ножом имя старика. Утоптал могилу, выстрелил в небо из обоих стволов. У моих ног стояли притихшие собаки.

Друзья мои охотники, если вам случится проходить по этим местам, сделайте привал у могилы Евлана, разведите большой костер и помяните старика добрым словом. Старик думал о вас, своих наследниках, о счастье для всех людей, которые будут ходить с ружьем по свободной земле, отдыхать и радоваться у жаркого костра после удачной охоты.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Неделю не выхожу из домика. Собаки тоже понимают горе человека. Пестря и Тютка не надоедают в эти дни скорби ни лаем, ни визгом. Они вдвоем охотятся на молодых зайцев, возвращаются к вечеру с вздувшимися боками.

Время стирает все. Боль проходит. Дни отодвинули смерть Евлана. Могильный холмик покрывается травой. На кедровый столб садятся щеглы, зеленушки и синицы, весело щебечут. Спокойное и чистое небо над лесом. А ночи такие светлые и теплые, что невозможно спать. На полянах в лунном свете копошатся светляки, словно маленькие звезды, упавшие с неба. Земля цветет, дышит. Старые звери обучают прибывших выслеживать добычу, молодые гуси, пробуя крылья, с гоготом пролетают над рекою.

Жизнь в тайге не прекращается. И мне надо жить, думать о живом. Иду к лодке, и река несет меня к моей любви...

Уходим с Марфой на крутой берег. Сидим, слушаем шелест ветра в листве. Под обрывом — голубая река. Над водою свистят крыльями утки. Марфа кладет голову на мои колени. Солнечный луч играет в рыжих ее волосах. Огромное солнце катится с гор в долину.

«Кончится лето, — думаю я, поглаживая золотистые волосы девушки. — Ермолай повезет уголь в низовья. Как буду жить один в этой тишине?»

— Оставайся зимовать, — говорю я, притягивая девушку.

— Тятенька не дозволит.

Ее лицо темнеет. Растрепанная коса распустилась по груди.

— Чего тятенька? Сама взрослая: думай, решай.

— Не торопи. Не пустяк это — замуж выйти!

Я настаиваю, сержусь. И когда она уступила наконец, опрометью бежим к Ермолаю, как молодые звери, почувавшие весну.

Как-то неловко и страшно говорить отцу, что дочь его мила, что жить без нее не могу.

Марфа стоит поодаль, не спускает с отца пристального взгляда, и я вижу, как вспыхнули ее щеки под желтым загаром.

Она любит! Я это знаю. Но и отец ей дорог.

— Ну-к что ж, — говорит Ермолай, — я тобой не брезгаю. Люб ты, прямо скажу, да и дочь, видать, по тебе сохнет. Только без венца негоже сходитья, де-тушки.

Я говорю Марфе, почему не могу ехать в село венчаться.

— Ничего, проживем без попа, только люби меня. Тятенька поспорит, но смирится: он добрый.

...Марфа переехала ко мне. Как изменился мой домик! Все прибрано, вычищено, лежит на своих местах, блестит. Даже собаки вымыты и расчесаны деревянным гребнем.

Марфа снимает со стены берданку Евлана.

— Это будет мое. Научишь стрелять?

— Да, да!

— Вот хорошо, — она улыбается одной из своих неожиданных и запоминающихся улыбок. — Вместе станем охотиться. Глухарей и рябков я силками ловила, а стрелять не довелось. Тятенька все смеялся надо мною. «Нехорошо, говорит, девке с ружьем ходить». Не засмеешься?

Она выучилась бить навскидку. И как я радуюсь, когда ей удастся свалить летящего косача!

Потом она убила росомаху.

— Ты теперь настоящий охотник, — говорю я.

— Это совсем не трудно, — отвечает она, довольная собою и ружьем.

Когда-то в городе я прочел поразившие меня слова о счастье: «Человек обязан быть счастливым. Если он несчастлив, то он виноват; и обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов: и зачем я на свете? и зачем весь мир? и т. п. А если счастлив, то покорно благодарю и вам того желаю».

Ну, конечно, это так и есть. У меня две собаки,

два ружья, в хижине много всяких запасов. Могу жить спокойно. Приду с охоты, Марфа ласково встретит, накормит горячим ужином. Сядем у камелька, будем разговаривать о прожитом дне. Если это не счастье, что же называется счастьем?

Вздумалось добыть дичи на ужин. Я пускаю собак, иду. Выводков много. Пестря и Тютька, вспугнув на ягодниках глухарей, гонятся за ними, «сажают» на деревья. К полудню в моей сумке два петуха. Больше не нужно стрелять. Я отдохну и пойду домой. Развожу костер, чтобы отогнать дымом комаров. Думаю о счастье, которое пришло и которого никто не отнимет. Марфа — верный друг и помощник. Мы оба молоды, здоровы. Впереди годы спокойной, сытой жизни. Собаки скоро дадут приплод, и я буду беречь эту стойкую породу зверогонов.

...Вблизи домика собаки, забежавшие вперед, наскочили на медведицу с медвежатами. Я услышал неистовый лай, кинулся на голос, но опоздал: зверица, защищая детей, разорвала обеих собак.

Какой это ужасный был для нас день!

Я решаю ехать в Кочеты. Подкрадусь ночью к деревне, подманю, уведу чью-нибудь лайку, и дело с концом.

— Поезжай, — говорит Марфа, — конечно, без собаки пропадем. Кстати, бабушку попроведаешь. Вези ее сюда, если захочет.

Я целую Марфу, прыгаю в лодку. Даль пламенеет под солнцем, в небе — желтые облака.

Когда над рекою поет ветер и лодка покачивается на сердитой волне, в голову приходят неожиданные мысли. Я думаю о жизни с Марфой, о детях, которые появятся у нас, о постройке нового домика. Потом встают перед глазами дед, Всеволод Евгеньевич, Николай Яхонтов, Агафон, Авдей Макарыч, ограбленный старшинами паул Яргунь, Госман, избитый солдатами. Много вспоминается. Как ни хорош мой домик в лесу, это не настоящее. Вот потерял собак — и беда. А если заболēju? Сломаю на охоте руку или ногу? Нет, одинокое счастье не хорошо. Но где оно, настоящее? Кто научит, как надо прожить, чтобы пе-

ред смертью мог сказать детям: «Будьте такими, как ваш отец?»

Я умею ловить рыбу, отслеживать зверя, подманивать птиц, зимою в жгучий мороз пробегу без отдыха сто верст на лыжах, летом на спине переплыву широкую реку. И только!

Эти мысли до того придавили, что я всю ночь сижу у костра, не могу заснуть. Хорошо живется, когда прикроешь глаза и на все лады уговариваешь себя, что все хорошо. А заглянул на минуту в лицо правде—сбит с толку. Может, прочитанные в городе книги смутили меня? Или слова Яхонтова, которые невозможно забыть, хоть сто годов живи?

Курю трубку, слушаю ночь и самого себя.

К утру от навязчивых дум болит голова: на одном пороге я пустил лодку в перекосяк и чуть-чуть не разбилась о камни. Подъезжая к Кочетам, решаю: бабушку не возьму. К чему тащить старуху, если сам готов сняться с якоря и плыть неизвестно куда в поисках утраченного счастья?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Оставляю лодку в ивняке, ночью иду к деревне. У выгона прислушиваюсь: на улице тихо. Пробираюсь во двор, вхожу в избу. Дверь скрипит на ржавых петлях. Бабушка, спавшая на лавке, вскрикивает:

— Ой, кто здесь?

— Принимай гостя, Наталья Денисовна,— говорю я, протягивая к ней руки.

У божницы теплится лампадка. На стенах тусклые блики света.

Мы обнимаемся.

— Уж так-то я рада, Матвейко, так-то рада,— шепчет бабушка. — Не ждала вовсе. Мать в скитах схоронилась. И про тебя думала: где-то парень пропал, свидеться не придется. Напугалась, как услышала, дверью хлопнул. Не за Спиридоном ли, подумала, идут.

— Дедушка дома?

— Дома, слава богу, дома. С каторги убежал. Многие тысячи верст пешком прошел. Стала разувать его — батюшки! Ноги опухли, мозоль на мозоли, глядеть страшно. «Измучился, говорю, старик?» — «Ничего, отвечает, отлежусь, плясать буду». Это в его-то годы! В подполе живет, недавно поужинать вылезал. Тебя завсе поминает.

— Пойдем к нему!

Она зажигает ночник.

— Осторожно иди за мной. Испугаем его: он спит. Спускаемся в подпол. Бабушка зовет:

— Спиридон!

Молчание.

— Спиридон, проснись!

— Чего тебе?

— Вставай-ко... Матвей приехал.

Я прыгаю в яму. Бабушка подает ночник. С соломой, улыбаясь, поднимается дед.

— Пойду самовар ставить, — говорит бабушка. — Беседуйте.

В тайнике сухо и чисто. На полочках разложены для просушки листья махорки. Старик похудел, осунулся, но все так же молоды его веселые глаза. Прошли минуты замешательства, кончились объятия, поцелуи. Дед берет меня рукой за подбородок.

— А ты где пропадал? Выкладывай.

Идем в избу. На столе шумит самовар. Бабушка растопила печь, готовит яичницу, жарит рыбу. Садимся за стол. Я рассказываю о жизни у манси, про старика Евлана.

Деревня проснулась. Бабы выгоняют коров.

Бабушка беспокойно поглядывает в окно. Мы опять перебираемся в тайник. Дед зажигает лампу, раскуривает трубку.

— Как дальше намерен жить? — спрашивает он. — Так и будешь киснуть в трущобе? Одичаешь совсем один-то.

Я молчу.

Дед рассказывает, что их погнали на восток. Всеволод Евгеньевич умер в дороге. Деду, Зинаиде Си-

роте и Николаю Павловичу удалось бежать. Яхонтов и Зинаида устроились в низовьях на заводе.

— И меня приглашают туда, — говорит дед. — Николай Павлович обещал паспорт на чужое имя выправить. Завод-то новый, построен у самой реки. Всех берут на работу. Я надумал ехать. Здесь оставаться нельзя. Еще схватят. Вот бы и тебе с нами, Матюха!

Завод! Сколько дней я толкался в городе у заводских ворот. Не взяли. А теперь — «устроят». Я войду в освещенный электрическими огнями цех, буду резать, точить, сверлить железо. Стальные стружки запылют под моими руками. Я сшибаю быстро летящую птицу, так неужели мои руки не научатся управлять станком?

Думаю о Марфе. Может, с нею нельзя на завод? Как же тогда? Разве могу бросить ее в тайге? Рассказываю все деду.

— Да-а! — говорит он, сдвинув на лбу морщины. — Рановато обзаводиться семьею, но уж коли так случилось, делать нечего: поезжай за нею.

Ночью прощаюсь с бабушкой. Дед выходит провожать. Туман поредел. Синее звездное небо. Шумит под обрывом вода. У изгороди обнимаемся. Тени сливаются в лунном свете.

— Помнишь, Матвейко, мы жар-птицу в тайге искали? — спрашивает дед. — Нету в лесах такой птицы. И еще запомни: во всякой охоте прицел верный должен быть. О тебе никто не позаботится, только ты сам. Но ежели станешь думать только о себе, незаметно на ногу соседу наступишь. О других думай, кому худо живется. Когда умру, держись за Николая Павловича. Он правильный человек. Иди, пострел.

Я шагаю по росистой траве.

Дед стоит у плетня, и я слышу за спиною горячий, взволнованный шепот:

— Вырос, бесенок...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	137
Часть третья	255

Редактор А. Семенов

*

Художник И. Николаевцев
Худож. редактор В. Морозов
Технич. редактор С. Симонов
Корректор Е. Краснюк

*

A01246. Сдано в набор 6/IV 1954 г.
Подписано в печать 8/VI 1954 г.
Бум. л. 5,19=печ. л. 17,01. Автор.
л. 15,73. Учетно-издат. л. 15,96.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Тираж
30 000 экз. Заказ 839. Цена 5 р. 80 к.
Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.



Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б, Гнездииковский пер., 10, издательство «Советский писатель».

5 p. 80 н.